А. В. ДЕСНИЦКАЯ

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДСТВА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. В. ДЕСНИЦКАЯ

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДСТВА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ





ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД
1955

Ответственный редактор
проф. *П. С. Кузнецов*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Успехи языкознания в изучении истории языков неразрывно связаны с исследованием вопросов языкового родства. Выявление и сопоставление сходных черт грамматического строя и словаря, присущих языкам, объединяемым общностью происхождения, и учет хронологических различий между ними дают возможность восстановить более древние этапы истории этих языков и тем самым углубить понимание закономерностей их развития. Это и составляет основу сравнительно-исторического метода в языкознании, который на протяжении полутораста лет своего более или менее последовательного применения помог накопить огромное количество фактов, освещающих исторические пути развития целого ряда языковых групп.

Успехи сравнительно-исторического языкознания получили признание классиков марксизма. Энгельс, высмеивая педагогические проекты Дюринга, изгонявшего из „своего учебного плана“ всю современную историческую грамматику и оставлявшего „для обучения языкам в своей школе только старомодную, выкроенную в стиле древней классической филологии, техническую грамматику, со всей ее казуистикой и произвольностью“,[1] указывает на достижения исторического языкознания, сильно и плодотворно развившегося в XIX в. И тут же Энгельс подчеркивает важность историко-сравнительного подхода при научном изучении языковых фактов. „Материя и форма родного языка, — пишет он, — только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять

[1] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 327.

без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки".[1]

И. В. Сталин указал на положительное значение сравнительно-исторического метода, который „толкает к работе, к изучению языков",[2] и подчеркнул важную роль, которую может сыграть изучение вопросов языкового родства в деле исследования законов языкового развития.

Особенно большие успехи достигнуты в изучении фактов родства индоевропейских языков — обширной лингвистической группы или „семьи", в состав которой входят такие современные языки, как славянские, балтийские, романские, германские, индийские, иранские, кельтские, армянский, албанский, греческий, а также входил целый ряд исчезнувших языков древности.

Так называемая „сравнительная грамматика индоевропейских языков", разработанная трудами многих поколений языковедов-историков, составляет необходимое подспорье при изучении фактов и закономерностей развития каждого отдельного языка, помогая осветить более отдаленные этапы этого развития.

Дальнейшая исследовательская работа в этой области составляет одну из весьма важных задач исторического языкознания.

Изучение родства индоевропейских языков представляет интерес не только для языковедов, но также и для историков. Восходящая к глубокой древности генетическая общность основных элементов грамматики и словаря, объединяющая языки целого ряда народов Европы и Азии, свидетельствует о родстве и единстве происхождения племен, которые являлись предками этих народов. Исследование древнейших периодов их истории, опирающееся в основном на данные археологии, а также на прямые и косвенные свидетельства античных авторов, может получить серьезную опору и в лингвистических фактах при условии правильного, марксистского их освещения.

Поэтому вполне понятен и научно оправдан тот интерес, который всегда проявляли и проявляют к „индоевропейской проблеме" историки и археологи.

---

[1] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 327.

[2] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 33.

К сожалению, в период увлечения значительной части советских языковедов взглядами Н. Я. Марра, отрицавшего самую возможность существования генетического родства между языками, научно-исследовательская работа в области изучения родства индоевропейских языков очень ослабела. Между тем, важность стоящих перед этой отраслью исторического языкознания задач настоятельно требует не только восполнения образовавшегося пробела, но и решительного движения вперед в разработке вопросов родства индоевропейских языков, существенно важных для изучения законов развития любого из языков, входящих в состав индоевропейской лингвистической группы.

Марксистское языкознание должно противопоставить подлинно научную, историческую трактовку этой проблемы теориям зарубежных структуралистов, неолингвистов и т. д., провозглашающих отказ от традиций классического сравнительного языкознания, отказ от историзма.

Данная работа представляет собой введение в изучение вопросов родства индоевропейских языков. Она не ставит задачей изложение фактов индоевропейской сравнительной грамматики. В отдельных очерках, входящих в состав книги, предлагаемой вниманию читателей, автор пытался дать представление о некоторых основных проблемах теоретического порядка, встающих в связи с изучением индоевропейской лингвистической общности.

Индоевропеистика сложилась и получила особенно плодотворное развитие в трудах языковедов XIX в. Поэтому в нашей книге большое место отведено изложению основных этапов изучения вопросов родства индоевропейских языков именно за этот период.

Проблема сущности сравнительно-исторического метода специально не рассматривается. Однако в порядке последовательного изложения того, как складывались, развивались и изменялись взгляды по важнейшим вопросам исторического языкознания, читатели смогут составить себе представление о том, что этот метод не есть некая однажды сложившаяся и неизменная догма, но что он слагается из принципов исторического подхода к анализу языковых фактов, развивавшихся и углублявшихся с каждым новым успехом языковедной науки. В то же время, рассматривая особенности применения этих принципов в связи с общими установками той или иной лингвистической школы, мы старались уяснить характер недостатков, присущих не сравнительно-историческому

методу вообще, но работам конкретных исследователей, которые в пользовании им стояли на уровне науки своего времени.

Так как изучение индоевропейских языков находилось в центре исследовательских интересов языковедов XIX в., в нашем изложении затрагивается целый ряд лингвистических направлений этого периода. Однако необходимо подчеркнуть, что предлагаемая работа ни в какой мере не ставит задачей дать последовательное и полное описание истории языковедения XIX в. Наше изложение ориентируется прежде всего на то, как ставились и решались вопросы развития структуры индоевропейских языков на основе применения метода сравнительно-исторического анализа языковых фактов. Такие проблемы, как вопрос о сущности языка и основных закономерностях его развития, затрагиваются лишь в связи с главной темой предлагаемой работы. Поэтому некоторые лингвистические направления, не представляющие специального интереса в связи с этой темой, не вошли в изложение.

Вопрос о борьбе материалистических и идеалистических взглядов в истории языкознания перенесен нами в плоскость конкретного исследовательского подхода к анализу языковых фактов. В трудах языковедов, тщательно изучавших эти факты и пытавшихся установить закономерности их исторического развития, в той или иной мере проявлялся стихийно-материалистический подход к объекту научного исследования, несмотря на то, что в общетеоретических построениях те же ученые нередко высказывали идеалистические воззрения на сущность языка, характерные для всех без исключения направлений в буржуазной лингвистической науке.

Если строить историю языкознания только на изложении взглядов языковедов по самым общим теоретическим вопросам, история эта предстанет как бесконечное пересказывание по существу одних и тех же или очень сходных вариантов идеалистической трактовки проблемы сущности языка и непосредственно связанных с ней тем. Вопрос же о действительных успехах языковедной науки за истекший период, вопрос о действительной борьбе материалистического объективного подхода к языковым фактам против разного рода отлетов фантазии и идеалистических извращений, проявляющихся в субъективной трактовке языковой истории, останется при таком построении изложения нераскрытым. Между тем, нам кажется, что именно этот вопрос заслуживает особенного внимания при попытке нарисовать картину того, как происходило развитие языковедной науки.

Острота этого вопроса особенно обнаруживается при рассмотрении теорий, выдвигаемых современными зарубежными языковедами. Неслучайно такие направления, как структурализм и неолингвистика, объявили поход против принципов классического сравнительного языкознания XIX в., обвиняя представителей его в „материализме“ и пытаясь обосновать последовательно идеалистический подход к анализу языковых фактов.

В то же время необходимо указать, что и сейчас ряд виднейших зарубежных языковедов продолжает исследовательскую работу в духе принципов сравнительно-исторического языкознания, сохраняя научную объективность в трактовке конкретного языкового материала.

Критическое рассмотрение основных направлений современного зарубежного языкознания в изучении вопросов индоевропейского языкового родства также составляет специальный очерк в предлагаемой читателям работе. Ознакомление с проблематикой этих исследований и критика некоторых „модных“ концепций, противоречащих научному пониманию исторических закономерностей языкового развития, окажут, как нам кажется, пользу при дальнейшей разработке вопросов сравнительно-исторического языкознания на основе марксистской теории.

Последняя глава книги содержит предварительную попытку постановки вопроса о характере индоевропейской лингвистической общности и об исторических условиях ее возникновения. Проблема эта может быть окончательно разрешена лишь в процессе дружных усилий целого коллектива языковедов, при участии представителей таких отраслей науки, как история и археология. История языков получает настоящее свое освещение лишь в связи с историей говорящих на этих языках народов.

Глава I

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ

О том, какое большое значение для языкознания имеет сравнительно-историческое изучение родства индоевропейских языков,[1] можно судить хотя бы по беглому перечню языков — древних и современных, — входящих в состав индоевропейской группы (семьи).

Народы носители этих языков уже с древних пор были расселены по обширным пространствам Азии и Европы. Время и пути их расселения, так же как и вопрос о той первоначальной территории, откуда племена, говорившие на родственных по происхождению языках, распространились и заняли территории, на которых они засвидетельствованы историческими источниками, составляют одну из сложных и до сих пор еще не решенных проблем. Эта проблема одинаково важна как для изучения истории самих индоевропейских языков, так и для истории говорящих на них народов.

---

[1] Термин втот был введен в научное обращение уже в начале XIX в. Им пользовался однн из основателей сравинтельно-исторического языкозиания Фр. Бопп. Несколько позднее немецкими учеными в том же зиачении стал употребляться термнн „индогермаиские языкн". Эта замеиа была без сомнения связана с национаалистическими настроениями иекоторых представнтелей немецкой иаукн. В трудах языковедов XIX в. можно иногда встретить также термины „арийские языкн" (например в трудах А. А. Потебни) и „арноевропейские языки" (в трудах И. А. Бодуэна-де-Куртенэ н В. А. Богородицкого). В настоящее время термин „арийские языки" употребляется в другом значении (в применеиии к индоиранским языкам), а термин „арноевропейские языки" ие употребляется.

В современном языкозиании (в частностн в работах русских, французских, польских, болгарских, американских, итальянскнх языковедов) общеупотребительным является термин „индоевропейскне языки". Немецкне ученые, а также некоторые аиглийские н амернкаискне продолжают пользоваться термином „индогерманские языкн". Мы употребляем термин „индоевропейскне языкн". В прнводнмых цнтатах мы сохраняем, однако, те термины, которыми пользуются авторы соответствующих работ.

В состав индоевропейской лингвистической семьи входят следующие группы близко родственных языков, а также отдельные языки.

Индийская группа. Древнеиндийский язык, дошедший до нас в точно не датируемых, но очень архаических (приблизительно II тысячелетие до н. э.) ведийских текстах, а также в литературно обработанной и нормализованной форме сравнительно более позднего санскрита. Кроме хронологических различий, при изучении языка Вед и санскрита учитывается также и разная диалектная основа, к которой каждая из этих разновидностей древнеиндийской речи восходит. Среднеиндийское языковое состояние засвидетельствовано целым рядом диалектов (так называемые пракриты), древнейшие датированные тексты на которых восходят еще к III в. до н. э. (надписи царя Ашоки). Характерно, что памятники среднеиндийской речи письменно зафиксированы ранее древнеиндийских, которые на протяжении многих столетий передавались на основе устной традиции. В настоящее время индийская группа представлена целым рядом языков: хинди, бенгали, урья, гуджарати, пенджаби, синдхи, маратхи, сингалезский и др.

Иранская группа. От древнеиранского состояния до наших дней дошли памятники древнеперсидского языка VI—V вв. до н. э. (клинописные надписи ахеменидских царей) и точно не датируемый, но несомненно еще более древний сборник гимнов зороастрийской религии, с последующими дополнениями к ним (Авеста), отражающий архаическое состояние иранской речи народов Средней Азии. К числу древнеиранских языков относился также язык причерноморских скифов, как об этом позволяет судить анализ отдельных скифских слов, записанных греческими историками, а также скифских имен собственных, сохранившихся в надгробных надписях северного Причерноморья.[1]

От среднеиранского периода, датируемого с III в. до н. э. по VII—XIII вв. н. э., дошли памятники на языках среднеперсидском, парфянском, согдийском, хорезмийском и сакском, бо́льшая часть которых принадлежала народам Средней Азии. Языки эти углубленно изучаются советскими иранистами.[2]

---

[1] См.: В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. Скифский язык, I. М., 1949.

[2] См.: А. А. Фрейман. Хорезмийский язык. М.—Л., 1951, и другие исследования.

К числу новоиранских языков принадлежат таджикский, новоперсидский, курдский, белуджский, талышский, татский (западноиранская группа), афганский (пашту) и ряд памирских языков — ягнобский, шугнанский, рушанский и др. (восточноиранская группа), а также осетинский язык на Кавказе (северовосточная группа).

Тохарский язык. Этим названием условно и неточно принято обозначать два родственных между собой языка текстов, найденных в начале XX в. в Синьцзяне и относящихся, повидимому, к VII в. н. э. По месту нахождения текстов языки эти различают обычно как турфанский (или тохарский **А**) и кучанский (или тохарский **Б**). Открытие и дешифровка памятников тохарского языка, не принадлежащего ни к одной из прежде известных групп в составе индоевропейской лингвистической семьи, явились крупным событием для сравнительно-исторического языкознания. Тохарские материалы уже включены в изучение вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Однако тохарская проблема до сих пор еще представляет ряд загадок как для языковедов, так и, в особенности, для историков.

Славянская группа. О древнеславянском состоянии лучше всего свидетельствуют памятники старославянского, или „церковнославянского“, языка, на который в IX в. Кириллом и Мефодием были переведены Евангелие и другие богослужебные тексты. Хотя в основу перевода был положен один из южнославянских диалектов (диалект города Солунь в Македонии), старославянский язык этих текстов был понятен по всей области расселения славянских племен и народностей, различия в речи которых были в ту эпоху еще незначительны.[1] Современные славянские языки представлены восточной группой — русский, белорусский, украинский, — южной — болгарский, македонский, сербо-хорватский, словинский — и западной — чешский, словацкий, польский, кашубский, лужицкий. К числу западнославянских относился также исчезнувший в конце XVIII в. в результате германизации древних славянских земель язык полабских славян, живших по нижнему течению р. Эльбы (Лабы).

Балтийская группа. В состав ее входят современные литовский (памятники с XVI в.) и латышский (памятники также с XVI в.) языки. Сохранились также тексты XV—XVII вв.

---

[1] См.: А. М. Селищев. Старославянский язык. М., 1951, стр. 34—35.

на древнепрусском языке, который в конце XVII в. подвергся окончательной ассимиляции в условиях немецкого господства.

Германская группа. Древнейшее состояние германской речи засвидетельствовано памятниками готского языка (перевод Евангелия, сделанный в IV в. н. э.) и древнескандинавскими руническими надписями (начиная с III в. н. э.). Несколькими веками позднее датируются памятники на древневерхненемецком (с VIII в.), англосаксонском (с VII в.) и древнесаксонском (с VIII в.) языках.

Еще более поздними являются рукописные памятники древнеисландского, древнешведского и древнедатского языков, хотя языковое состояние, засвидетельствованное в песнях Эдды и некоторых других древнеисландских текстах, сохраняет весьма архаические черты и восходит к более ранней эпохе. К числу современных германских языков принадлежат немецкий, английский, голландский (сложившийся на основе нижнефранкских диалектов), шведский, норвежский, датский и исландский языки.

Кельтская группа. Древняя речь кельтских племен, игравших большую историческую роль в I тысячелетии до н. э., дошла до нас в скудных остатках галльского языка (в основном краткие надписи на надгробных памятниках), а также в ирландских огамических надписях IV—VI вв. н. э.

В настоящее время существуют следующие кельтские языки: ирландский с очень близким к нему шотландским, сохранившимся в некоторых горных районах Шотландии, валлийский, на котором говорит около 1 миллиона человек в Уэльсе (Англия), бретонский — язык населения области Бретань во Франции (был принесен кельтскими переселенцами бриттами из Британии, бежавшими со своей родины в V—VI вв. н. э. в результате вторжения англосаксов). Остатки кельтской речи сохраняются еще на острове Мэн (мэнкский язык). В XVIII в. подвергся окончательной ассимиляции корнский язык (в английской области Корнуэльс).

Италийская группа. Языки древнеиталийских племен, в числе их латинский, а также оскский и умбрский. Древнейший памятник латинского языка (Пренестинская фибула) датируется 600 г. до н. э. Бóльшая часть памятников архаической латыни относится уже к III—II вв. до н. э. Немногочисленные надписи на оскском и умбрском языках не все точно датируются (в большинстве они относятся к периоду до начала нашей эры, хотя в Помпеях найдены и оскские надписи I в. н. э.).

На основе распространившегося по территории Римской империи разговорного латинского языка в дальнейшем образовались близко родственные между собой романские языки: французский, итальянский, румынский, молдавский, испанский, португальский, каталанский, рэтороманский и др. Испанский, а частично и португальский языки получили широкое распространение в странах Латинской Америки.

Древнегреческий язык, с его многочисленными диалектами, засвидетельствован памятниками письменности, начиная с VII в. до н. э. Новогреческий по своему происхождению восходит к общему греческому языку (койнэ) эллинистической эпохи, сложившемуся с IV в. до н. э.

Албанский язык. Древнейшие албанские письменные памятники восходят к XV в. Албанский язык, повидимому, является единственным сохранившимся до наших дней представителем обширной в древности группы иллирийских языков, сведения о которой очень скудны. Согласно другой существующей точке зрения, албанский язык возводится к древнефракийской речи, о которой также до нас дошло очень мало сведений.

Армянский язык, древнейшие памятники которого восходят к V в. н. э.

Хеттский (несийский) язык. Этим термином принято обозначать индоевропейский язык господствовавшей народности Хеттского царства, существовавшего во II тысячелетии до н. э. в Малой Азии. Его необходимо отличать от неиндоевропейского хаттского, или протохеттского, языка исконных насельников Малой Азии — хаттов, сохранившегося в довольно скудных записях. Памятники хеттской клинописи очень многочисленны и разнообразны по содержанию. Изучение их, ведущее начало от работы чешского ученого Б. Грозного, давшего в 1915 г. дешифровку и лингвистическое определение материалов этого неизвестного прежде языка, сыграло огромную роль в разработке вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков за последние 30 лет.

Кроме вышеперечисленных, хорошо документированных индоевропейских языков, сохранились отрывочные данные относительно целого ряда языков племен и народностей, населявших в древности области юго-восточной Европы и Средиземноморья, анализ которых позволяет с уверенностью отнести их также к индоевропейской группе: это иллирийские языки (к числу которых относились возможно венетский и мессапский), лигурский, македонский (повидимому, близкий древнегрече-

скому), фракийский и фригийский (возможно, родственный армянскому) языки. Однако крайняя скудость данных (отдельные глоссы, топонимика, очень краткие надписи) все еще не дает возможности уточнить и расширить сведения по этим языкам.

Согласно результатам новейших исследований, к индоевропейской группе следует относить также языки западной части Малой Азии — ликийский и лидийский, памятники которых принадлежат I тысячелетию до н. э. Определен индоевропейский характер лувийского и палайского языков (отрывочные тексты на этих языках вкраплены в хеттскую клинопись II тысячелетия до н. э.). Наконец, результаты длительного процесса дешифровки памятников так называемого „иероглифического хеттского“, большинство которых найдено на территории северной Сирии и относится к I тысячелетию до н. э., приводят к установлению принадлежности и этого языка к числу индоевропейских. Следует упомянуть также о том, что в процессе напряженной работы ряда ученых над дешифровкой критской письменности все чаще выдвигается мысль о возможности отнести загадочный минойский язык к той же широко распространенной в древности индоевропейской лингвистической группе.[1]

Целью нашего краткого обзора являлось показать, какое разнообразие языков древнего и нового времени объединяется на основе генетического родства в составе индоевропейской языковой группы. Нет сомнения в том, что в древности существовали, помимо вышеназванных, многочисленные неизвестные нам индоевропейские языки, бесследно исчезнувшие вместе с говорившими на них племенами. В то же время мы видим, как на протяжении более близких к нам периодов истории на основе некоторых древних индоевропейских языков образовались целые группы (семьи) новых языков, близко родственных между собой, развившихся далее в языки народностей, затем национальные. Наряду с этим в ряде случаев сохраняются и более мелкие языки, восходящие к древней племенной речи, например, ряд мелких языков в составе иранской и индийской групп, существующих рядом с языками сложившихся народностей и наций.

[1] См.: Вл. Георгиев. Проблемы минойского языка. Изд. Болг. Акад. Наук, София, 1953. Согласно последним исследованиям, памятники линеарного критского письма определяются как составленные на одном из диалектов древнегреческого языка; см.: Вл. Георгиев. Нынешнее состояние толкования крито-микенских надписей. София, 1954.

Дальнейшие углубленные исследования истории индоевропейской языковой группы (семьи), засвидетельствованной письменными памятниками на протяжении четырех тысяч лет, должны показать, как протекало развитие от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным.

В задачи нашего обзора не входила характеристика истории становления отдельных национальных языков и их современного состояния и значения. Не был затронут также важный вопрос о соотношении между собой различных языковых групп в составе индоевропейского единства. О сложности этой проблемы свидетельствует обилие выдвигавшихся в сравнительном языкознании схем генеалогической классификации индоевропейских языков. В ряде случаев существуют некоторые положительные данные для частичных решений связанных с ней вопросов. Так, например, не вызывает сомнения ближайшее генетическое родство индийской и иранской групп. Есть основания предполагать, что особо тесные отношения родства объединяли некогда италийскую группу с кельтской и славянскую с балтийской. Однако вопросы эти далеко не могут считаться решенными. В частности, господствовавшая ранее в сравнительно-историческом языкознании точка зрения о славяно-балтийском единстве встретила существенные возражения со стороны А. Мейе, который утверждал, что многочисленные черты сходства между славянскими и балтийскими языками вызваны не столько поздним отделением их от общеиндоевропейского языка, сколько параллелизмом дальнейшего развития, ибо наблюдаемые в них новшества скорее сходного, чем тождественного характера.[1]

Выдающийся исследователь балтийских языков Я. М. Эндзелин показал тесные генетические связи балтийских языков со славянскими, отметив, однако, наличие некоторых исконных различий в фонетике, грамматическом строе и основном словарном фонде, которые заставляют предполагать, что предки балтийских и славянских народов представляли собой самостоятельные группы племен, говоривших на очень близких диалектах. При этом отмечается, что латышский и древнепрусский ближе к славянским языкам, чем литовский язык. В древности могли существовать и еще более близкие к сла-

---

[1] См.: А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938, стр. 101, а также: A. Meillet. Les dialectes indo-européens. Paris, 1950, стр. 40—48.

вянским языкам „переходные диалекты", позднее исчезнувшие.[1]

В настоящее время известный польский языковед Я. С. Отрембский считает необходимым вернуться к старой гипотезе о славянско-балтийском единстве и предлагает анализ фонетических, грамматических и лексических соответствий между славянской и балтийской языковыми группами, свидетельствующий в пользу этой гипотезы.[2]

Поставленные вопросы о ближайшем родстве армянского с фригийским, греческого с македонским, албанского с древними иллирийскими и фракийскими языками представляют комплекс до сих пор еще не разрешенных проблем. Во всяком случае можно с уверенностью предполагать, что занимающие в настоящее время изолированное положение греческий, албанский и армянский языки в древности были связаны отношениями ближайшего родства с рядом исчезнувших индоевропейских племенных языков. Только конкретные исторические исследования смогут, с накоплением новых научных данных, объяснить, почему соответствующие племена не послужили основой для образования народностей, которые донесли бы до нас исчезнувшую фракийскую, фригийскую, древнемакедонскую (не славянскую) и т. д. речь.

За последнее время в сравнительно-историческом языкознании делалось немало попыток определить на основе анализа частичных совпадений и расхождений отдельных лингвистических признаков (в области фонетики, грамматики, словаря) древнейшее соотношение между собой различных индоевропейских языковых групп (ряд схем классификаций „индоевропейских диалектов", теория „центральных" и „периферийных" языков и т. д.). Не отрицая интереса подобных изысканий, следует отметить их гипотетичность. Отсутствие положительных результатов в исследовании проблемы исторической классификации индоевропейских языков в целом связано прежде всего с недостатком конкретных фактов. Между тем, история развития языков представляет собой очень сложный процесс, определяемый конкретными условиями исторического развития говорящих на этих языках народов.

---

[1] См.: Я. М. Эндзелин. Древнейшие славяно-балтийские языковые связи. Труды Инст. яз. и лит. Акад. наук Латв. ССР, т. II, Рига, 1953.

[2] Я. С. Отрембский. Славяно-балтийское языковое единство. Вопр. языкозн., 1954, № 5 и 6.

Известно, что, начиная с глубокой древности, племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались. Все это должно было найти отражение в исторических судьбах дошедших до нас языков. Вот почему таким сложным представляется историческое соотношение родственных языков, в особенности когда дело касается такой обширной и разнообразной по своему составу лингвистической группы, как индоевропейская, многочисленные древние звенья которой бесследно изчезли, а существующие далеко разошлись между собой в исторические эпохи.

В недооценке этой существенной стороны проблемы состоит один из недостатков старого сравнительного языкознания, часто заменявшего поиски конкретно-исторического ее разрешения выдвижением слишком прямолинейных и упрощенных схем.

Для сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков одну из существенных трудностей составляют резкие хронологические контрасты эпох, от которых дошли древнейшие памятники отдельных языков и языковых групп. В то время как датированные тексты на хеттском языке и, хотя и не датированные, но не менее древние, индийские ведические относятся ко II тысячелетию до н. э., древнеперсидские и греческие — к середине, а латинские — к концу I тысячелетия до н. э., готские — к IV, в. н. э. армянские — к V, старославянские, древненемецкие и древнеанглийские — к эпохе раннего средневековья и т. д., старейшие албанские письменные памятники относятся уже к XV—XVI вв., а литовские и латышские — к XVI в. Этим обстоятельством очень усложняется сравнительный анализ языковых материалов, так как совершенно ясно, что старославянские памятники IX в. свидетельствуют состояние языка, сильно измененное в сравнении с тем, которое должно было существовать хотя бы в ту эпоху, когда слагались гомеровские поэмы, донесшие до наших дней архаическое состояние греческого языка. В особенности труден сравнительно-исторический анализ такого языка, как албанский, который обнаруживает результаты довольно сильных изменений древней индоевропейской морфологической структуры, при отсутствии возможности детально проследить конкретные этапы процесса развития его грамматического строя.

С другой стороны, при сравнительно-историческом изучении индоевропейской лингвистической группы большое внимание должно быть уделено факту неравномерности развития

структур отдельных языков, характерным для них различиям устойчивости в сохранении древних элементов грамматического строя. В этом отношении наиболее резкий контраст обнаруживают балтийская и индийская группы. Среднеиндийские языки уже в конце I тысячелетия до н. э. обнаруживают довольно сильные изменения фонетической, а в связи с этим и морфологической структуры слова. Это отчетливо видно при сравнении с древнеиндийским состоянием, например, санскр. abhūt — пракр. abbū 'он был', санскр. paçcāt — пракр. pacchā 'сзади', санскр. vṛka — пали vaka 'волк', санскр. kḷpta — пали kutta 'бритый', санскр. jayati — пали jeti 'побеждает', санскр. pibati — пракр. (махараштри) piai 'пьет',[1] санскр. bhavati 'бывает' — пракр. haai и hoi 'есть', 'бывает',[2] и т. д.

Процессы утери ряда характерных для древнеиндийского состояния грамматических форм, фонетические изменения и редукция флексий далее все усиливаются, в результате чего уже к X—XII вв. новоиндийские языки имеют структуру, очень сильно отличающуюся от древнего индоевропейского структурного типа.

Балтийские же языки, в особенности литовский, очень устойчиво сохранили древний фонетический и морфологический облик слова, благодаря чему, как указывает А. Мейе, и в настоящее время „мы находим в литовском формы, совершенно совпадающие с ведийскими или гомеровскими, например, ẽsti 'есть' = санскр. ásti, греч. ἔστι, или gývas 'живой' = санскр. jīváḥ, лат. uīuos".[3]

Для процесса исторического развития славянских языков также характерна значительная устойчивость в сохранении исконного типа структуры слова, в сохранении унаследованных от древности флексий. Об этом свидетельствует богатое формами именное склонение, вся система личных окончаний в настоящем времени глагола, структура суффиксального словообразования и т. д. Эта устойчивость в сохранении основных элементов древней морфологической структуры

---

[1] См.: J. Mansion. Esquisse d'une histoire de la langue sanscrite. Paris, 1931, стр. 95—104.

[2] См.: А. П. Баранников. Элементы сравнительно-исторического метода в индологической лингвистической традиции. Вопр. языкозн., 1952, № 2, стр. 57.

[3] См.: А. Мейе. Введение..., стр. 102. Указание Мейе следует несколько уточнить. Формы esmì, ẽsti представлены только в более старых литовских текстах. В современном литовском языке эти формы отсутствуют.

сочетается с рядом существенных новообразований, видоизменением и переосмыслением старых форм, в чем выражается непрерывный процесс развертывания и совершенствования, составляющий сущность развития грамматического строя языка.

Характеризуя древнее общеславянское состояние в сравнении с древнейшим общеиндоевропейским, А. Мейе подчеркивает характерную для славянских языков непрерывность и устойчивость в развитии основных элементов унаследованной индоевропейской структуры: „В целом, общеславянский язык ввел много нового, многое упорядочил, многое упростил. Но даже представляя мало таких форм, которые могут быть отождествлены с общеиндоевропейскими, он продолжает, тем не менее, без какого-либо перерыва развитие общеиндоевропейского языка; в нем нельзя заметить тех внезапных изменений, которые придают столь характерный вид языкам греческому, италийским (особенно латинскому), кельтским, германским. Славянский язык — это индоевропейский язык, сформировавшийся в результате длительного употребления, глубоко измененный многими влияниями, но в целом сохранивший архаический тип".[1]

Как уже было указано, славянские языки особенно устойчиво сохранили древний индоевропейский тип именного склонения, древнюю флексию личных форм настоящего времени глагола. Однако архаическая система видо-временных основ, ярко выступавшая в древнегреческом и древнеиндийском языках, уже в доисторическом состоянии славянских языков оказалась нарушенной. В старославянском обнаружена лишь одна изолированная форма **вѣдѣ**, являющаяся остатком форм древнего индоевропейского перфекта (1-е л. ед. ч. медиального залога). На протяжении истории русского языка исчезли формы простого прошедшего, в том числе и остатки сигматического и корневого аористов.

Если мы обратимся для сравнения к истории греческого и германских языков, мы увидим в известной мере обратную картину. Уже в древнейшем состоянии этих языков формы падежей оказались сильно редуцированными. Восьми падежам (считая и звательный) древнеиндийского и семи падежам старославянского противостоят пять падежей греческого и готского языков (в древневерхненемецком сохранялся еще и творительный). В последующей истории греческого и от-

[1] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 14.

дельных германских языков продолжался процесс формальной и семантической редукции падежей. Однако что касается древней общеиндоевропейской системы видо-временных основ, то древнегреческий наряду с древнеиндийским дает о ней наиболее полное представление. В последующей истории греческого языка, для которой характерна утеря исконных семантических различий между этими категориями, формальные пережитки их продолжают существовать в переосмысленном виде в системе глагольных форм прошедшего времени (ср. остаток древней перфектной формы в новогреч. βρῆκα 'я нашел' из др.-греч. εὕρηκα, включенный в систему аористных форм). Категория аориста в новогреческом языке сохранилась. Наряду с наиболее распространенным типом образования аориста — сигматическим (например φύλαξα) — продолжают существовать остатки и других типов, например ἔφυγα, ср. др.-греч. ἔφυγον, ἔβαλα, ср. др.-греч. ἔβαλον и т. д.

Германские языки уже с самого начала письменной традиции обнаруживают утерю перфекта и аориста как самостоятельных видо-временных категорий. Однако в основе образования простого прошедшего у глаголов древнего слоя (так называемые сильные глаголы) лежат формы древнего индоевропейского перфекта, частично смешанные с аористными. При почти полной (если не считать так называемых претерито-презентных глаголов) утрате прежнего грамматического значения, архаические формы индоевропейского перфекта с характерной для них особой огласовкой продолжают в германских языках устойчиво сохраняться вплоть до настоящего времени. При этом не только немецкий, в структуре которого закрепился целый ряд других особенностей древней индоевропейской флексии (хотя бы в системе личных глагольных окончаний), но также и английский — один из языков, наиболее отошедших от древнеиндоевропейского типа морфологической структуры, продолжает, однако, сохранять остатки исконного для индоевропейских языков различия между глагольными основами настоящего времени и перфекта (bind—bound 'связывать', write—wrote 'писать', begin—began 'начинать', drink—drank 'пить', и т. д.; ср. др.-греч. λείπω—λέλοιπα 'оставлять', τρέφω—τέτροφα 'питать', и др.).

Подобного рода неравномерность в развитии отдельных элементов древнего грамматического строя характеризует соотношение не только между различными группами индоевропейских языков, но даже и между ближайше родственными языками. Так, например, в современном русском языке

сохранилось унаследованное от древности богатство форм именного склонения, но исчезли существовавшие еще в древнерусском простые формы прошедших времен (имперфект и аорист). В противоположность этому болгарский язык при редукции падежной флексии и развитии аналитических средств выражения соответствующих грамматических отношений сохранил древнеславянские формы имперфекта (**пи́шех**) и аориста (**писа́х**).

Можно привести множество аналогичных фактов из истории самых различных индоевропейских языков и языковых групп. Не приходится сомневаться в том, что неравномерность развертывания элементов древнейшей общеиндоевропейской грамматической структуры была характерна для развития этих языков во все эпохи их истории, начиная с глубочайшей древности. В этой неравномерности, в различии степеней устойчивости при сохранении тех или иных сторон унаследованного от эпохи языковой общности морфологического строения, в бесконечном многообразии путей развертывания и преобразования отдельных элементов грамматического строя выявляются внутренние законы развития языков, изучение которых составляет главную задачу языкознания.

Для изучения родства языков реконструкция исходной структуры языка-предка не может являться самоцелью. Она необходима для выявления тех древнейших исходно общих для данной языковой группы элементов, конкретное многообразие развития которых составляет непосредственное содержание истории отдельных языков.

Результаты сравнительно-исторических исследований морфологической структуры индоевропейских языков и реконструкция древнейших общих форм показывают, что исторически засвидетельствованные структуры отдельных языков, даже в их наиболее древнем состоянии, никогда не тождественны предполагаемой структуре общеиндоевропейского языка. Речь может идти лишь о большей или меньшей степени удаления от нее, причем единые критерии хронологического порядка установить невозможно (так, например, хеттский язык II тысячелетия до н. э. в отношении утери архаических видо-временных различий между перфектом и аористом и формальной их унификации, а также в отношении развития аналитических глагольных форм в структурном отношении скорее напоминает некоторые новые языки, чем хронологически более близкие к нему древнеиндийский и древнегреческий).

Существенная особенность исторического развития каждого языка заключается в развертывании и совершенствовании основных элементов структуры, заложенных еще в глубокой древности. В каком бы преобразованном виде не выступали эти элементы, как бы ни были велики утраты тех или иных сторон древней структуры, какой бы характер не приняло развертывание, изменение и обогащение сохранившихся сторон, основа языка, унаследованная от отдаленнейших эпох его истории, остается как исходная точка, как твердый фундамент, на котором на протяжении веков и тысячелетий строилось здание современного языка.

Структура языка, развивавшегося на протяжении длительных периодов времени, принципиально не может быть тождественной структуре языка, легшего в основу образования группы родственных языков, ибо, как замечает И. В. Сталин, „структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох".[1] Но для того чтобы определить конкретные этапы развития структуры языка, чтобы изучить внутренние законы этого развития, необходимо установить те элементы, которые были заложены еще в глубокой древности и которые развертывались и совершенствовались на всем протяжении истории данного языка.

Метод сравнительно-исторических реконструкций структуры языка-предка отвечает насущной потребности историко-лингвистического исследования в выявлении древнейшего наследия, по-разному развиваемого языками, имеющими в далеком прошлом общее происхождение.

Исходная близость элементов грамматической структуры индоевропейских языков наглядно выступает при сопоставлении парадигм глагольного спряжения, именного и местоименного склонения, типов основообразования и т. п., особенно если соответствующие материалы привлекаются в их наиболее древнем засвидетельствованном состоянии. Подробное изложение такого рода фактов составляет содержание сравнительной грамматики индоевропейских языков и не входит в задачи данного очерка. Ограничимся лишь несколькими примерами.

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 26.

Парадигма спряжения настоящего времени действительного залога тематических глаголов

	Др.-инд.	Греч.	Ст.-слав.	Гот.	Др.-ирл.
Ед. ч.	1. bhárāmi 'несу'	φέρω 'несу'	**бер ж** 'беру'	baira 'несу'	berim (в сочетании с приставкой -biur 'несу')
	2. bhárasi	φέρεις	**береши**	bairis	beri (-bir)
	3. bhárati	φέρει	**беретъ** (др.-русск. **береть**)	bairiþ	berid (-beir)
Мн. ч.	1. bhárāmas(i)	φέρομεν (дор. φέρομες)	**беремъ**	bairam (др.-в.-нем. berames)	bermi (-beram)
	2. bháratha	φέρετε	**берете**	bairiþ	berthe (-berid)
	3. bháranti	φέρουσι (дор. φέροντι)	**бержтъ** (др.-русск. **беруть**)	bairand	berit (-berat)

	Лат.		Хетт.	
Ед. ч.	1. agō	'двигаю', 'действую'	ii̯ami	'делаю'
	2. agis		ii̯aši	
	3. agit		ii̯az(z)i	(лув. anniti 'выполняет')
Мн. ч.	1. agimus		ii̯au̯eni	
	2. agitis		ii̯atteni	
	3. agunt		ii̯anzi	(лув. u̯aššanti 'одевают')

Наблюдаемые различия связаны, с одной стороны, с разного рода фонетическими изменениями, нарушившими первоначальную форму флексий. С другой стороны, существовавшие еще в эпоху индоевропейской общности два типа первичных глагольных окончаний настоящего времени — для атематических образований тип *-mi*, для тематических тип *-ō* (ср. греч. δίδωμι 'даю' и φέρω 'несу') — подверглись в структуре отдельных индоевропейских языков разного рода смешениям и обобщениям. Так, например, в древнеиндийском языке тип глаголов на *-mi* совершенно вытеснил образования на *-ō* и распространился на все группы глаголов; в хеттском спряжение глаголов на *-mi*, существующее рядом с другим спряжением (на *-ḫi*), также охватывает не только атематические (например *kuenzi* 'убивает'), но и тематические глаголы; в древнеирландском различные типы окончаний (со включением сюда же так называемых вторичных окончаний) распределялись между простой и „конъюнктной" (глаголы с приставками) флексией и т. п.

Сравнительно-исторический анализ личных глагольных окончаний в индоевропейских языках до сих пор еще оставляет целый ряд нерешенных, спорных вопросов (так, например, происхождение окончания *-ǫ* 1-го лица единственного числа настоящего времени тематических глаголов в старославянском языке и др.). Отдельные формы и целые парадигмы в различных языках имеют свою собственную, подчас очень сложную историю. Однако сравнительная грамматика вскрывает, пользуясь приемом реконструкций, основные элементы древней структуры, общей для всей группы родственных между собой индоевропейских языков. История же отдельных языков показывает, как в каждом конкретном случае многообразно и подчас причудливо происходило дальнейшее развитие этих унаследованных от древности элементов.

Сопоставление парадигм спряжения настоящего времени действительного залога отчетливо выявляет общий для всех индоевропейских языков в древности тип структуры глагольного слова, членимого на основу (тематическую или атематическую) и личное флективное окончание, а также выявляет материальное тождество используемых во всех этих языках флексий.

Остатки атематического спряжения на *-mi* в своем архаическом виде устойчиво сохранились во многих современных индоевропейских языках. Наиболее характерно в этом отношении спряжение настоящего времени глагола „быть": русск.

1-е л. ед. ч. — **есмь** (устар.), 3-е л. ед. ч. — **есть**, 3-е л. мн. ч. — **суть** (устар.); нем. 1-е л. ед. ч. — ich bin (образование от другого корня, но с тем же окончанием), 3-е л. ед. ч. — er ist, 3-е л. мн. ч. — sie sind (ср. англ. 1-е л. ед. ч. — I am 'я есмь', 3 л. ед. ч. — he is); алб. 1-е л. ед. ч. — jam, 3-е л. ед. ч. —është; франц. 3-е л. ед. ч. — il est, 3-е л. мн. ч. — ils sont; тадж. 1-е л. ед. ч. — am, 3-е л. ед. ч. — ast и т. д.

Ср. в древних индоевропейских языках: др.-инд. 1-е л. ед. ч. — ásmi, 3-е л. ед. ч. — ásti, 3-е л. мн. ч. — sánti; хетт. 1-е л. ед. ч. — ešmi, 3-е л. ед. ч. — ešzi, 3-е л. мн. ч. — ašanzi; ст.-лит. 1-е л. ед. ч. — esmì, 3-е л. ед. ч. — ẽsti; ст.-слав. 1-е л. ед. ч. — **есмь**, 3-е л. ед. ч. — **есть** (др.-русск. **есть**); др.-греч. 1-е л. ед. ч. — εἰμί, 3-е л. ед. ч. ἐστί; гот. 1-е л. ед. ч. — im (др.-в.-нем. bim), 3-е л. ед. ч. — ist, 3-е л. мн. ч. — sind и т. д. •

Этот же архаический тип спряжения сохраняют в современном русском языке глаголы **дам** (ст.-слав. **дамь**, ср. др.-инд. dádāmi, греч. δίδωμι 'даю') и **ем** (ст.-слав. **ѣмь**, ср. •• хетт. etmi, др.-инд. ádmi, лит. ẽmi 'я ем').

Наличие общих для всех индоевропейских языков древних элементов ясно прослеживается в развитии флективных форм прошедших времен (система вторичных окончаний), в образовании различных причастных форм, а также в пережитках архаической системы образования видо-временных основ. Так, например, формы сигматического аориста представлены в большинстве древних индоевропейских языков: ср. др.-инд. ávākṣam 'я вез', лат. uēxi 'я вез' (форма, включенная в состав форм перфекта), греч. ἔγραψα 'я написал', ст.-слав. **рѣхъ** 'я сказал' (и более позднее рекохъ), др.-ирл. претерит ro gabus 'я взял' (gabim 'я беру'), алб. pashë 'я увидел', dhashë 'я дал', и т. д.

Архаические перфектные образования также несомненно составляли один из специфических элементов древней индоевропейской глагольной системы. Ср. др.-инд. riréca 'я оставил', dadárça 'я увидел', véda, авест. vaēdā 'знаю', др.-греч. ••• λέλοιπα 'я оставил', δέδορκα 'я увидел', Ϝοῖδα 'знаю', ст.-слав. изолированная медиальная форма **вѣдѣ** 'знаю', лат. tutudī 'я ударил', meminī 'помню', гот. haihait 'я звал', 'назывался', saiso 'я посеял', wait 'знаю', др.-ирл. gegon 'я ударил' (gonim 'ударяю'), cechan 'я спел' (canim 'пою'), и т. д.

Историческая общность ряда падежных окончаний в системе именного склонения ярко бросается в глаза даже при беглом сопоставлении некоторых форм. Так, например, без труда устанавливается общее древнее окончание именительного

• есть
•• юмь,
••• dadarça

падежа единственного числа *-s, для значительной части именных основ. Ср. лат. oui-s, лит. avì-s, др.-греч. ὄ(F)ι-ς, др.-инд. ávi-ḥ ʻовцаʼ, лат. hosti-s ʻчужеземецʼ, ʻврагʼ, гот. gast-s, др.-сканд. gasti-R ʻгостьʼ, лит. sūnù-s, гот. sunu-s ʻсынʼ, хетт. neu̯a-š, др.-греч. νέο-ς (< *νεFo-ς), лат. nouu-s, др.-инд. náva-ḥ, с другим суффиксом лит. naũja-s, гот. niuji-s ʻновыйʼ, и т. д. Отсутствие окончания *-s* уже в древнейших славянских языковых памятниках объясняется явлениями редукции конечных согласных, характерными для исторического развития большинства индоевропейских языков; ср. отсутствие окончания именительного падежа единственного числа *-s* также в древнейших западногерманских памятниках — др.-в.-нем. gast, англо-сакс. ʒiest, но гот. gast-s ʻгостьʼ.

В окончаниях *-m/-n* винительного падежа единственного числа и *-ns* множествеиного числа мужского и женского рода также обнаруживается поразительное единообразие. В большинстве случаев эти окончания или непосредственно сохранялись еще в древних индоевропейских языках (например, вин. п. мн. ч. др.-прусск. deiwa-ns ʻбоговʼ, гот. wulfa-ns ʻволковʼ, и т. д.), или к ним без особого труда возводятся исторически засвидетельствованные измененные формы.

Происхождение остальных падежных окончаний в большинстве случаев вызывает много спорных вопросов; в этом отношении сравнительно-грамматические реконструкции не имеют своим результатом установление единой исходной системы форм. Однако несмотря на все многообразие форм именной флексии, на все различия, ярко выступающие при сравнении парадигм именного склонения в отдельных индоевропейских языках, основная масса падежных формантов получает этимологическое объяснение на основе исходно общего для всей индоевропейской группы морфологического материала.

Об исходном единстве морфологической структуры особенно ярко свидетельствует образование именных основ. Одни и те же типы именного основообразования четко проходят по всем индоевропейским языкам, особенно в их древнем состоянии. Наличие особых именных основ с суффиксами *-o-*, *-ā*, *-i-*, *-u-*, *-r-*, *-n-*, *-s-* и т. д. является одним из определяющих признаков древней морфологической структуры любого из языков данной группы, что не исключает, конечно, в каждом из них, своеобразия в развитии отдельных типов.

Так, например, в большинстве древних индоевропейских языков имело значительное распространение образование

тематических (с суффиксом *-е/-о*) именных основ со значением действия и деятеля, связанных с соответствующими основами глагольными: др.-инд. bháraḥ 'ношение' наряду с bhárāmi 'несу', греч. φόρος 'подать', 'дань', 'приношение', -φορός 'несущий' при φέρω 'несу', βρόμος 'шум' при βρέμω 'шумлю', ст.-слав. **возъ** при глаголе **везѫ** (ср. лат. uehō 'везу', греч. (F)έχω, (F)όχος 'повозка'), **гонъ** (ср. греч. φόνος 'убийство'), **громъ, звонъ** и т. п. В латинском языке, хотя этот морфологический тип и представлен несколькими образованиями (например, foedus 'договор' при глаголе fīdō 'доверяю'), значение его очень невелико. В хеттском языке этот тип именных основ не представлен совсем.

По всем индоевропейским языкам распространены в той или иной мере именной суффикс **-mo-* (др.-инд. dhūmáḥ, ст.-слав. **дымъ**, лит. мн. ч. dúmai, лат. fūmus 'дым'), суффикс абстрактных существительных **-tei-* (др.-инд. g̑átiḥ 'приход', др.-греч. βάσις 'ход', гот. g̑a-qumþs 'сходка', ст.-слав. **съмрьть**, лат. mors, mortis 'смерть', ст.-слав. **па-мѧть**, лат. mens, mentis 'ум', др.-инд. mátiḥ 'мысль') и множество других.

Генетическое родство индоевропейских языков ярко выражается также в общности значительной части корнеслова, образующего ядро их основных словарных фондов. Нет надобности приводить здесь примеры из тех важнейших лексических разделов, которые нагляднее всего свидетельствуют об историческом единстве происхождения этих языков (глаголы, выражающие наиболее обычные для человека, элементарные действия, качественные прилагательные, местоимения, наречия локального характера, предлоги, термины родства, обозначения некоторых природных явлений, названия частей тела, названия диких и домашних животных и т. д. и т. д.).

Остановимся кратко на судьбе одного из древнейших индоевропейских корневых элементов, играющего вплоть до сего времени важную роль в словарном составе ряда языков.

В ряду других глагольных образований, выражавших действие зрения в различных его аспектах, образования от корня *weid-/*wid- указывали на процесс созерцания, ведущий непосредственно к познанию предмета или явления. Архаические перфекты др.-инд. véda—vidmá, гомер. греч. (F)οἶδα—(F)ίδμεν, гот. wait—witum 'знаю—знаем' выражали знание как результат наблюдения, созерцания. Это значение имела и архаическая старославянская форма **вѣдѣ** 'знаю', причастная форма **вѣстъ** 'известен', ср. также инфинитив **вѣдѣти**.

Атематические образования с нулевой ступенью огласовки корня *wid- давали аористные формы со значением „увидеть" (мгновенное и завершенное действие): др.-инд. ávidat 'он увидел', а также др.-греч. аорист εἶδον (< *e-widon) 'я увидел', в грамматиках обычно включаемый в супплетивный ряд глагола ὁράω 'видеть'. Ср. также связанные с εἶδον формы конъюнктива и оптатива ἴδω и ἴδοιμι. В общеславянском атематическое образование *wid- сохранилось только в старославянской форме 2-го лица повелительного наклонения — **виждь** (ср. вед. viddhí 'узнай'), а также в страдательном причастии — **видомъ**. Со значением „видеть" закрепилась расширенная основа — **вижд̑ж, видѣти**. Таким образом, в славянских языках мы имеем (от общего корня *weid-/*wid-) два особых глагола с различными значениями — русск. „видеть" и „ведать" (ст.-слав. **видѣти** и **вѣдѣти**).

В латинском языке представлены (за исключением перфектной формы uīdī и глагольного прилагательного uīsus) преимущественно образования от формы *wid-: глагол uideō, uīdī, uīsum, uidēre со значением исключительно „видеть". Многочисленные производные образования также ориентированы на это основное значение.

В германских языках уже с древнейшей поры за глаголом гот. wait—witum, инф. witan (соврем. нем. weiß—wissen) закрепилось только значение „знать", значение же „видеть" не засвидетельствовано.

Однако в древнейшем состоянии индоевропейских языков значения „видеть" и „знать", повидимому, тесно переплетались. Кроме вышеприведенных, ср. такие образования, как др.-инд. védaḥ 'знание', греч. (Ϝ)εἶδος, лит. véidas 'вид', ст.-слав. **видъ** и др.

Огромное количество производных от слов основного словарного фонда, восходящих к корню *weid-/*wid-, во всех индоевропейских языках свидетельствует о роли этого унаследованного от древности лексического гнезда. Современные языки показывают непрерывность словообразовательной традиции на базе элементов основного словарного фонда, к числу которых бесспорно принадлежат русск. **видеть** и **ведать**, нем. wissen 'знать', франц. voir, исп. ver 'видеть' и т. д., восходящие к общему древнему корню.

О разнообразии возможностей обогащения словарного состава языка на базе восходящих к глубокой древности корневых слов свидетельствуют следующие образования.

Русские: вид, видимость, ввиду, видимо, видно, видово́й, видоизменение, видать, видывать, предвидеть, телевидение,

• *weid-/*woid/*wid-

весть, вестник, совесть, ведение, заведовать, известие, известный, уведомить, без ведома, предвестие, предвещать, возвещать, радиовещание, всеведущий, языковед и т. д.

Немецкие: Wissen 'знание', Wissenschaft 'наука', Wißbegierde 'любознательность', wissentlich 'сознательный', 'преднамеренный', Gewissen 'совесть', gewissenhaft 'добросовестный', gewissenlos 'бессовестный', Gewißheit 'уверенность', gewiß 'наверно', 'конечно', gewissermaßen 'до некоторой степени', и т. д.

Французские: voir 'видеть', vue 'вид', 'взгляд', 'зрение', 'намерение', prevoir 'предвидеть', prévoyance 'предвидение', 'предусмотрительность', imprévu 'непредвиденный', 'неожиданный', viser (лат. uīsō) 'иметь в виду', 'наметить', vision 'видение', visible 'видимый', 'очевидный', visée 'прицел, наводка', visière 'забрало' (у шлема), 'козырек', 'смотровая щель', и т. д.

Испанские: ver 'зрение', 'вид', 'видеть', vista 'зрение', 'видение', 'вид', 'встреча', 'свидание', prever 'предвидение', и т. д.

История этих слов прослеживается по памятникам письменности самих русского, немецкого, французского и испанского языков. Сразу обращает на себя внимание характерная для русского бо́льшая (особенно по сравнению с романскими языками) широта возможностей для разного рода суффиксальных образований, в чем проявляются специфические законы развития словарного состава русского языка.

Но когда встает необходимость проникнуть в предисторию приведенных лексических гнезд, углубить анализ морфологического строения отдельных форм, установить их древнюю семантику, выступает насущная необходимость сравнительно-исторического исследования этих фактов на материалах всей группы родственных языков.

Современные русский, немецкий, французский и испанский языки донесли до сегодняшних дней унаследованные от глубокой древности общеиндоевропейские корневые элементы, развернув на их основе широкую сеть разного рода лексических новообразований, обогативших словарный состав этих языков.

Задачей сравнительно-исторического исследования является не только показать древнейшие этапы истории изучаемых явлений, установив для них общую основу в виде общеиндоевропейского корня *weid-/*wid- и исходные структурные типы производных образований, но и проследить, как унаследованный от древности общий словарный материал поразному развертывался и обогащался в отдельных языках, в зависимости от конкретно-исторических условий их развития. Иными словами, главная задача исследования состоит

не в реконструкции древнейшей структуры, составляющей исходную точку развития группы родственных языков, а в изучении внутренних законов этого развития. Реконструкция же древнего состояния необходима для того, чтобы лучше, полнее понять все этапы развития языков, приведшие их к современному состоянию. Нельзя, однако, недооценивать значение работы по восстановлению документально незасвидетельствованных языковых форм, так как она представляет собой необходимую основу сравнительно-исторического исследования в области языкознания.

Изучение сравнительной грамматики индоевропейских языков составляет необходимый момент при исследовании истории грамматического строя и словарного состава каждого из них, ибо оно создает возможность более далекой исторической перспективы, позволяет заглянуть в древнейшие периоды их развития. Этим самым создаются существенные предпосылки для изучения законов развития языка, действие которых измеряется не десятками, а сотнями и тысячами лет.

Глава II

ИЗ ИСТОРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Первый период развития сравнительно-исторического языкознания

Сравнительно-историческое изучение родства индоевропейских языков развернулось в особый раздел языкознания лишь в XIX в. Исследование относительной полноты фактов этого родства и разработка специального метода сравнительно-исторического анализа материала родственных языков составляют результаты, достигнутые языковедной наукой к концу прошлого столетия.

Однако было бы ошибочно полагать, что сравнительное языкознание возникло на пустом месте, исключительно благодаря „гениальности" нескольких языковедов начала XIX в., внезапно ставших на историческую точку зрения и творчески овладевших колоссальным лингвистическим материалом. Нельзя оспаривать заслуги перед наукой таких языковедов-новаторов, как Фр. Бопп, А. Х. Востоков, Я. Гримм, Р. Раск, а также умалять значение той огромной и плодотворной работы в области конкретных филологий — индийской, иранской, славянской, германской, кельтской и др., — которая развернулась во всей полноте только в XIX в., основанная на историческом подходе к языковым фактам. Но нельзя также забывать о том, что блестящие достижения первых компаративистов были подготовлены длительным трудом языковедов предшествующих периодов, создававших описательные грамматики отдельных языков и в ряде случаев вплотную подходивших к открытию и изучению фактов родства языков.

Многовековая традиция тщательного филологического изучения греческой и латинской грамматик несомненно являлась

одной из существенных предпосылок для научного исследования и сравнения языковых структур. Только упорным трудом ряда поколений русских и других славянских ученых над описанием грамматического строя отдельных славянских языков были подготовлены возможности для создания таких обобщающих обширный материал и основополагающих работ, как „Рассуждение о славянском языке" А. Х. Востокова (1820), и „Основы древнего наречия славянского языка" И. Добровского (Institutiones linguae slavicae veteris dialecti, 1822). Путь к созданию „Немецкой грамматики" Я. Гримма был проложен длительными усилиями языковедов предшествующих столетий, которые, преодолевая шаблоны традиционной латинской грамматики, стремились описать специфические черты отдельных германских языков. Следует вспомнить о несправедливо забытом сочинении голландского языковеда начала XVIII в. Ламберта Тен Кате, которое, за 100 лет до появления „Немецкой грамматики" Гримма, было построено на сравнении грамматических структур готского, немецкого, голландского, англосаксонского и исландского языков.[1] Сопоставление грамматической структуры санскрита со структурами ряда языков Европы, сыгравшее решающую роль в разработке проблемы родства индоевропейских языков и легшее в основу создания индоевропейской сравнительной грамматики, стало возможным лишь благодаря ознакомлению лингвистов Европы с замечательными трудами языковедов древней Индии. Содержащиеся в этих трудах детальные описания морфологического строения и фонетики древнеиндийского языка[2] оказали значительное влияние на сравнительно-грамматические изыскания, особенно в первый период развития индоевропеистики (например, теория корней, схема чередований гласных и др.).

Таким образом, систематическое сравнение грамматического строя родственных языков, положившее начало созданию индоевропейской сравнительной грамматики, а также сравнительных грамматик славянской, германской и других языковых групп, выросло на основе длительной предварительной работы, явилось результатом накопления и систематизации конкретного лингвистического материала, подготовленного трудами предшествующих поколений лингвистов.

---

[1] Lambert Ten Kate. 1) Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene Deel der Nederduitsche Spraeke. Amsterdam, 1723; 2) Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche. 1710.

[2] См.: А. П. Баранников, ук. соч.

Сама идея родства языков возникла задолго до исследований Боппа и Раска.[1] Исключительный интерес в этом отношении представляют исследования М. В. Ломоносова, в которых разработано положение о родстве и общности происхождения славянских языков, а также выдвигается и доказывается путем лексических сопоставлений мысль о родстве ряда языков индоевропейской семьи (славянских, балтийских, греческого, латинского, германских).[2] Характерно, что в объяснении фактов языкового родства Ломоносов четко формулировал положение о новообразовании родственных языков путем последовательных процессов разделения языка более древней эпохи.

Идеи историзма языкового развития и родства языков, рождаясь в трудах ряда прогрессивных ученых XVIII в., постепенно пробивали себе путь сквозь гущу догм унаследованной от европейского средневековья схоластической грамматики, универсального логицизма, внеисторических сопоставлений в области лексики и т. п.

К концу XVIII и началу XIX в. мысль о родстве индоевропейских языков стала приобретать все бо́льшую и бо́льшую актуальность, особенно в связи с изучением древнеиндийского языка и опубликованием первых его грамматик, составленных на основе древнеиндийской филологической традиции. Уже в 1786 г. основатель Азиатского общества в Калькутте В. Джонс, ознакомившись со структурой санскрита, четко сформулировал положение о том, что этот язык находится в близком родстве с греческим и латинским, а также готским, кельтским и древнеперсидским языками. Родство это должно предполагать происхождение всех упомянутых языков из одного общего источника.

Распространению идеи родства индоевропейских языков и пробуждению специального интереса к изучению древнеиндийского языка способствовало появление в 1808 г. известной книги Фр. Шлегеля „О языке и мудрости индий-

---

[1] Первую попытку классификации языков по принципу родства мы находим еще у знаменитого французского филолога эпохи Возрождения Ж. Ж. Скалигера (J. J. Scaliger. Diatriba de Europaeorum linguis. J. J. Scaligeri Opuscula varia antehac non edita, Paris, 1610), который делил все языки Европы на одиннадцать групп, восходящих к различным „языкам-матерям“ (matrices).

[2] См.: П. С. Кузнецов. О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. Уч. зап. МГУ, вып. 150, 1952.

цев".[1] Однако в этом произведении, написанном на основе идеалистических воззрений немецкого романтизма, на первый план оказались выдвинутыми вопросы морфологической классификации языков, которые получили ошибочную трактовку (противопоставление благородных „органических" по своей структуре языков языкам с „неорганическим" строением). Кроме того, идеалистически трактуя „язык и мудрость" древних индийцев как непосредственное выявление „божественного откровения", Шлегель объявил санскрит первоисточником развития всех остальных языков индоевропейской семьи. Взгляды Шлегеля не оказали, впрочем, какого-либо существенного влияния на развитие научных установок сравнительно-исторического языкознания.

Непосредственным предшественником Боппа в деле конкретного лингвистического сопоставления фактов древнеиндийского языка с фактами славянских, латинского, греческого и германских языков являлся не назвавший своего имени русский языковед, выступивший в 1811 г. с работой „О сходстве санскритского языка с русским".[2]

Первая четверть XIX в. ознаменовалась почти одновременным выходом ряда основополагающих исследований, в которых положение о родстве, объединяющем между собой в группы все славянские языки, все германские, а также индоевропейские, было обосновано путем анализа конкретного лингвистического материала. В 1816 г. появилось исследование Фр. Боппа „О системе спряжения санскрита в сравнении со спряжением греческого, латинского, персидского и германского языков";[3] в 1818 г. было опубликовано написанное несколько ранее сочинение датского лингвиста Р. Раска „Исследование происхождения древнесеверного или исландского языка";[4] в 1820 г. вышло из печати произведение русского языковеда А. Х. Востокова „Рассуждение о славянском языке";[5] в 1822 г. появился труд чешского слависта И. Добровского

[1] Fr. Schlegel. Über die Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg, 1808.

[2] См.: А. П. Баранников, ук. соч., стр. 46—47.

[3] Fr. Bopp. Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt a. M., 1816.

[4] R. Rask. Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. København, 1818.

[5] Напечатано в „Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете", т. XVII, 1820.

„Основы древнего наречия славянского языка";[1] с 1819 г. началась публикация „Немецкой грамматики"[2] Я. Гримма.

Все эти произведения разнятся между собой по установкам исследования, по охвату привлекаемых в них лингвистических фактов. Однако их объединяет не только признание, но и обоснование положения о родстве языков, составляющем один из существенных моментов языковой истории. Сравнение родственных языков впервые используется как средство глубже проникнуть в историю каждого из них. Иными словами, — в этих трудах сравнительно-исторический метод в языкознании одержал свои первые победы при систематическом анализе обширного лингвистического материала.

Следующие десятилетия были временем интенсивной, все нарастающей работы на различных участках индийской, иранской, греческой, латинской, славянской, балтийской, германской, романской, кельтской и т. д. филологий. Сравнительное изучение грамматической структуры и лексики отдельных языковых групп, составление грамматик и словарей, филологическая обработка и издание древних текстов — все это, помимо непосредственного значения для исследования истории соответствующих языков, создавало необходимую основу для разработки сравнительной грамматики всей обширной индоевропейской лингвистической группы как самостоятельного раздела исторического языкознания.

Заслуга первой последовательной систематизации огромного грамматического материала, с неоспоримой ясностью свидетельствовавшего об исконном родстве так называемых индоевропейских языков, принадлежала выдающемуся немецкому языковеду Фр. Боппу, который с 1833 по 1852 г. публиковал первое издание своей трехтомной „Сравнительной грамматики санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков".[3] Характерно, что круг привлекаемых фактов постепенно расширялся в процессе подготовки этого издания; так, например, материалы старославянского языка были использованы Боппом лишь начиная со второго тома, материалы армянского — лишь во втором издании „Сравнительной грамматики".

---

[1] I. Dobrovsky. Institutiones linguae slavicae veteris dialecti. Vindobonae (Вена), 1822.

[2] J. Grimm. Deutsche Grammatik, Bd. I. Göttingen, 1819 и послед.

[3] Fr. Bopp. Vergleichende Grammatik des Sanskrits, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen. Berlin, 1833—1852.

В 1855 г. Бопп посвятил специальное исследование вопросу о принадлежности албанского языка к индоевропейской лингвистической группе.[1]

Основным объектом сравнительных изысканий Боппа, обеспечившим им блестящий успех в разработке вопроса о родстве индоевропейских языков, являлось морфологическое строение этих языков, позволившее сделать решающие выводы относительно общности их происхождения. Следует заметить, что близость грамматической структуры большинства индоевропейских языков (особенно в их древнейшем засвидетельствованном состоянии) настолько велика, родство это настолько наглядно, что задачей первого составителя „Сравнительной грамматики" являлось, по существу говоря, только собирать воедино стекавшиеся с разных сторон в руки факты. Даже на том относительно невысоком уровне техники сравнительно-грамматического анализа, на котором еще стояли исследования Боппа, без должного учета установленных значительно позднее закономерных звуковых соответствий, простое сопоставление форм глагольной и именной флексий в различных индоевропейских языках давало уже убедительную картину генетической общности этих языков, обусловившей сохранившуюся общность основных элементов их структуры.

Увлеченный процессом открытия все новых и новых фактов языкового родства, Бопп постоянно стремился расширять горизонт своих сравнительных изысканий. Естественно, что на этом пути его иногда постигали и неудачи. Так его попытки установить родство между индоевропейскими и малайско-полинезийскими,[2] индоевропейскими и южнокавказскими[3] языками не могли достигнуть цели в силу отсутствия в этих случаях самого факта генетической связи сопоставленных языковых групп. Однако в преобладающем большинстве случаев исследования Боппа имели своим результатом открытие бесспорных материалов, с новых сторон подтверждавших уче-

---

[1] Fr. Bopp. Über das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen. Abhandl. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1854—1855. Факт родства албанского языка с индоевропейскими был впервые открыт еще в 30-е годы XIX в. И. Ксюландером (см.: J. Xylander. Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren. Frankfurt a. M., 1835).

[2] Fr. Bopp. Über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen. Abhandl. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1840.

[3] Fr. Bopp. Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes. Abhandl. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1842—1845.

ние о единстве происхождения индоевропейских языков и обогащавших науку конкретными сведениями о составе индоевропейской лингвистической группы и о характере установленного родства.

Одновременно с деятельностью Боппа протекала кропотливая и плодотворная работа А. Потта в области этимологии.[1] Подвергнув сравнительному анализу лексику индоевропейских языков, Потт сделал значительный шаг вперед в деле изучения закономерных звуковых соответствий между отдельными языками и языковыми группами. Тем самым он возмещал пробел, оставленный Боппом, не уделявшим достаточного внимания этой необходимой стороне сравнительно-грамматических исследований.

Оценивая труды Боппа в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, следует обратить внимание на определенную направленность его интересов, на основную установку его исследований, сущность которой резко подчеркивали индоевропеисты позднейших поколений,[2] отмежевываясь от некоторых несоответствующих требованиям строго научного метода исканий и гипотез ранней компаративистики.

В сравнении фактов родственных языков Бопп видел не путь к познанию истории данной языковой группы, а прежде всего средство проникнуть в тайну происхождения грамматических форм, сложившихся, по его мнению, в первобытный, „органический период“ образования языка. Характерной чертой „органического периода“ должно было быть идеальное соответствие грамматических форм логическим категориям. При этом личные формы глагола должны были в своем составе отражать все основные элементы логического суждения.

В анализе грамматических форм Бопп исходил — как в первом своем исследовании, так и в последующих — из традиционной формулы старой логической грамматики: субъект — связка — предикат. В любой глагольной форме он усматривал результат сочетания наделенного вещественным значением предикативного элемента с той или иной формой вспомогательного глагола (связки) „быть“. Глаголом в узком смысле

---

[1] A. Pott. Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Gotischen. 1-te Ausg., Lemgo, 1833—1836 (2-е издание этого труда выходило с 1859 по 1876 г.).

[2] См.: B. Delbrück. Einleitung in das Sprachstudium. Leipzig, 1880, стр. 2—26; А. Мейе. Введение. . ., стр. 448—451.

слова он и считал только связку (копулу) — лат. esse (санскр. глагольный корень as-).

Так, например, в сигматических аористных формах санскр. adiks^{e}am (adikṣam), греч. ἔδεικσα (ἔδειξα) 'я показал', лат. dicsi (dixi) 'я сказал' и др.[1] суффикс -s- представляет собой, по его мнению, не что иное, как утерявший свою самостоятельность вспомогательный глагол „быть“ (санскр. as-, лат. es-), присоединенный к обладающему самостоятельным предикативным значением глагольному корню dik- (греч. δεικ-) 'показывать'. Точно так же объяснялось им и происхождение сигматических форм будущего времени в греческом и древнеиндийском языках. Различные формы глагола „быть“ он находил в суффиксах латинского имперфекта и перфекта и т. д.

Личные окончания глагола Бопп рассматривал как выражающие субъект суффигированные личные местоимения.[2] Таким образом, каждая глагольная форма могла быть в конечном счете разложена на три основных элемента, которые должны были соответствовать основным элементам логического суждения. В этом и заключались, согласно теории Боппа, первоистоки „органического“ образования грамматических форм, которые мыслились им в полном соответствии с рационалистическими установками, унаследованными еще от господствовавшей в тот период старой логической грамматики.

В падежных формах имен Бопп находил сочетание „глагольных корней“ (собственно корней, наделенных самостоятельным лексическим значением) с „местоименными“.

Таким образом, все флективные грамматические формы оказывались в конечном счете образованными в некий „органический период“ развития языка в результате склеивания (агглютинации) первоначально независимых корней как основных элементов речи, непосредственно соответствовавших

---

[1] Fr. Bopp. Vergleichende Grammatik..., 4-te Abt., 1842, стр. 791—830.

[2] Эта точка зрения не являлась уже в то время в языкознании новой. Гипотеза о местоименном происхождении личных глагольных окончаний, впервые выдвинутая авторами трудов по еврейской грамматике (применительно к древнееврейскому языку), была еще в XVII в. заимствована известным немецким гебраистом и классиком Б. Шейдом для объяснения форм греческого глагола. В переработанном издании своего первого сравнительно-грамматического труда Бопп сам ссылался на мнение Шейда, развитое затем в трудах голландских филологов XVIII в. (см.: B. Delbrück. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. 6-te Ausg., Leipzig, 1919, стр. 28—29).

основным элементам логического суждения. Дальнейшая история этих форм сводилась к постепенному затемнению их некогда прозрачной „органической" структуры. Главный интерес лингвистического исследования заключался для Боппа в восстановлении первоначального значения составных элементов флективного слова.

Задачей раскрытия происхождения индоевропейских флективных форм, установления их „первоначального" состава определялось все построение „Сравнительной грамматики" Боппа. Непосредственно вслед за кратким описанием звуков и систем письма в отдельных языках шла глава „О корнях", представлявшая собой основу для дальнейшего изложения. В ней Бопп излагал свою теорию двух классов корней („глагольных" и „местоименных") как простейших языковых элементов, из которых сложились некогда путем агглютинации все существующие формы слов, причем „глагольные" корни являлись в словах носителями реального значения, а „местоименные" служили источником образования флексий. Все остальные разделы „Сравнительной грамматики" были построены на основе вышеизложенной теории происхождения грамматических форм. Первый том, кроме вышеупомянутых двух глав, включал в себя раздел „Образование падежей". Во втором томе были помещены разделы: „Прилагательные", „Числительные", „Местоимения", „Местоименные наречия" и первая половина раздела „Глагол"; в третьем томе — „Глагол" (окончание) и „Словообразование".

Характерной чертой изложения являлось стремление рационалистически объяснить первоначальный состав каждой индоевропейской формы.

Со своей теорией агглютинации Бопп несомненно вплотную подошел к раскрытию одного из важнейших процессов образования флективных форм. Однако его построения в сущности гипотетичны и в большинстве случаев имеют характер умозрительных заключений, выведенных на основе априорной теории „логического" состава слов, а также некоторых, часто поверхностных сопоставлений фонетического облика отдельных форм.

Многие из предложенных Боппом объяснений до сих пор сохраняют характер очень правдоподобных гипотез, хотя материала для фактического их обоснования и в настоящее время еще не найдено, как не удалось его найти и Боппу. Таково, например, объяснение происхождения общеиндоевропейского окончания именительного падежа единственного

числа мужского и женского рода -*s* при помощи сопоставления с формами указательного местоимения (ср. др.-инд. и гот. sa, греч. ὁ). Бопповская теория образования личных окончаний глагола из суффигированных личных местоимений также имеет все основания считаться наиболее вероятным разрешением этого несомненно очень существенного для истории развития грамматического строя индоевропейских языков вопроса, особенно если учесть аналогичные явления в других языковых семьях; однако проследить процесс образования личных глагольных форм в индоевропейских языках до сих пор не удается, так как засвидетельствованный языковый материал показывает категорию глагольного спряжения вполне сложившейся.

Точка зрения Боппа относительно образования характерного для латинского имперфекта (leg-ē-bam 'я читал') суффикса -*ba*- от одной из форм суплетивного глагола esse (корень *-bhewə/*bhū-, ср. русск. **быть**) получила признание в исторической грамматике латинского языка.[1] То же следует сказать о выдвинутом Боппом объяснении происхождения формы слабого прошедшего в германских языках из сочетания глагольной основы с формами прошедшего времени от глагола „делать“ (нем. tun, ср. гот. sokidēdun 'они искали' и др.-сакс. dēdun, др.-в-нем. tātun 'они делали'). Хотя существуют и другие точки зрения, бопповская теория представляется наиболее убедительной.

Однако значительная часть глоттогонических гипотез Боппа, стремившегося рационалистически объяснить все засвидетельствованные индоевропейские флективные формы, представляет собой ряд натяжек, длинный ряд совершенно неудачных объяснений, продиктованных наивной верой в возможность сразу разрешить все загадки происхождения индоевропейской флексии.

Историческое значение проделанного Боппом колоссального труда состоит не в решении той задачи, которую сам он полагал главной целью своего исследования, а в отборе и систематизации генетически общих элементов в грамматической структуре индоевропейских языков, в составлении первой схемы морфологических соответствий, легшей в основу дальнейшей разработки индоевропейской сравнительной грамматики.

---

[1] См.: А. Эрну. Историческая морфология латинского языка. М., 1950, стр. 188.

Применявшаяся Боппом методика сравнительно-исторического анализа языковых фактов была еще очень далека от высокого уровня, достигнутого компаративистикой лишь к концу XIX в. Понятие закономерности звуковых соответствий, составляющее один из необходимых критериев при изучении генетической общности слов и форм, не играло еще почти никакой роли в исследованиях Боппа, ориентированных на анализ составных элементов индоевропейской флексии.

Хотя Бопп и говорил о действии в языке „физических законов",[1] имея в виду наличие в языке определенных правил для звуковых переходов, он допускал в то же время широкие возможности для разного рода случайных, не подчиненных никаким закономерностям звуковых изменений. В своих морфологических изысканиях, реконструируя якобы первоначальное, „органическое" строение форм, он весьма свободно сопоставлял и отождествлял формы, казавшиеся ему почему-либо сходными, и не останавливался перед выведением для каждого конкретного случая особых „физических законов". При таком подходе, а также при отсутствии специального интереса к вопросам исторической фонетики, Боппу

---

[1] Говоря о действии „физических законов" в языке, Бопп прежде всего имел в виду свою теорию „тяжести окончаний". Отправляясь от схемы чередований гласных, разработанной индийскими грамматиками, он предлагал объяснить возникновение чередований в корневом слоге слова влиянием „тяжести окончаний". Все личные окончания глагольных форм он делил на „тяжелые" и „легкие". Единство слова основано на известном принципе равновесия; поэтому „легкое" окончание требует более „тяжелого" корня — отсюда повышение в guṇa корневого гласного и наоборот.

„Мы не сомневаемся, — писал он, — что окончания оказывают влияние на корневой гласный, удлиняя его, когда сами слабы, и возвращая к первоначальной простоте при собственном увеличении. Если мы сравним с этой точки зрения vedmi 'я знаю' с vidvas 'мы оба знаем', vidmas 'мы знаем', vétti 'он знает' с vittas 'они оба знают', vidanti 'они знают', то вряд ли еще остается какое-либо сомнение в действительности приведенной причины" (Fr. Bopp. Vocalismus oder sprachvergleichende Kritiken über J. Grimm's deutsche Grammatik und Graff's althochdeutschen Sprachschatz mit Begründung einer neuen Theorie des Ablautes. Berlin, 1836, стр. 13—14).

Попытка Боппа установить „механические" причины чередования гласных была наивна и не содержала серьезных доказательств в пользу предложенной им теории. Поэтому в компаративистике она была единогласно отвергнута как одно из характерных для сравнительного языкознания первого периода заблуждений.

Последующие исследования показали, что указанное чередование гласных было связано с различным положением ударения — на корневом или на суффиксальном элементе слова.

не удалось сделать каких-либо серьезных открытий в этой области. Раздел фонетики составляет наиболее слабую часть его „Сравнительной грамматики".

В этом отношении труды ряда бопповских современников более отвечали требованиям строгого сравнительно-исторического метода, чем часто продиктованные общей идеей, а не наблюдением над конкретными фактами истории языков, построения Боппа. Таковы, например, наблюдения и выводы в области исторической фонетики славянских языков, сделанные А. Х. Востоковым в его работе „Рассуждение о славянском языке" (1820), а также исследования Я. Гримма, в частности сделанное им одновременно с Р. Раском открытие закона германского передвижения согласных.

Заслуги Боппа как составителя первой сравнительной грамматики индоевропейских языков были очень велики. В работах его было впервые собрано воедино громадное количество фактов, свидетельствующих о бесспорности генетического родства, объединяющего между собой индоевропейские языки. Идея родства индоевропейских языков красной нитью проходит по всем исследованиям Боппа, хотя понятие общего языка-предка („праязыка") не получило еще в них того места, какое оно заняло в трудах последующих поколений индоевропеистов.

В окончательном доказательстве родства индоевропейских языков на основе собранного им колоссального фактического материала и фронтального сравнения грамматических структур отдельных языков и заключалось прежде всего историческое значение основополагающих трудов Боппа.

Однако при оценке значения научного наследия Боппа для нашей современной науки нельзя не учитывать того, что труды его составляли лишь первый этап в развитии сравнительно-исторического языкознания, носивший естественно еще в значительнной мере подготовительный характер.

Помимо того, что в произведениях Боппа неразработанными остались вопросы сравнительной фонетики, а также сравнительного синтаксиса, главное, что отличает бопповскую „Сравнительную грамматику" от последующих работ в области сравнительно-исторического языкознания, — это ее исключительная ориентация на гипотетическую реконструкцию первоначального, „органического" строения флективных форм и отсутствие интереса к реальной истории сравниваемых языков в более близкие к нам и подлежащие сравнительно-исто-

рическому анализу в собственном смысле этого термина периоды их развития.

„После Боппа, — пишет А. Мейе, — оставалось строго проследить развитие каждого языка, построить историческую фонетику, теорию употребления форм и теорию предложения, установить строгие законы и в особенности устранить умозрительные заключения о происхождении форм, в чем Бопп является приверженцем старых идей, а отнюдь не основоположником нового учения“.[1]

Признавая несостоятельность общетеоретической концепции Боппа, основанной на неправильном представлении о существовании особого „органического“ периода создания языковых форм, а также недостаточность его наблюдений и выводов в отношении реального исторического развития сравниваемых языков, мы должны, однако, отдать ему должное как автору основополагающих трудов, в которых факты родства индоевропейских языков впервые предстали в систематизированном виде. В этой связи следует вспомнить также оценку роли Боппа в истории языковедной науки, данную в 1883 г. Ф. Ф. Фортунатовым: „Труды Боппа навсегда сохранят за собою свое историческое значение в сравнительном языковедении, какие бы существенные результаты оно ни получило.

Многое в сочинениях Боппа представляется теперь уже устарелым, не соответствующим современным знаниям и требованиям лингвистики, но надо помнить, что Бопп создал сравнительное изучение индоевропейских языков и что успехи, сделанные в этом после Боппа, обязаны своим существованием прежде всего Боппу, так как он указал тот верный путь, идя по которому лингвистика может постепенно совершенствоваться“.[2]

Хотя в настоящее время работы Боппа в области сравнительной грамматики индоевропейских языков в целом устарели и уже не могут служить источником для почерпания фактов и наблюдений, за ними неизменно остается их выдающееся место в истории языковедной науки.

Непрерывно расширявшаяся и принимавшая все более и более широкие масштабы работа по изучению истории различных индоевропейских языков, по составлению сравнитель-

---

[1] А. Мейе. Введение. . ., стр. 450—451.

[2] Ф. Ф. Фортунатов. Лекции по сравнительному языковедению. М., 1883—1884 (литограф. изд.), стр. 39—40.

ных грамматик отдельных языковых групп создавала необходимые предпосылки для более углубленного исследования проблемы индоевропейской лингвистической общности, а также усовершенствования метода сравнительно-исторического анализа. К 1837 г. закончилась публикация первого издания „Немецкой грамматики“[1] Я. Гримма, содержавшей сравнительно-историческое описание фактов фонетики и грамматики германских языков. С 1836 по 1845 г. выходило первое издание капитальной „Грамматики романских языков“[2] Ф. Дица, положившее начало романской филологии. В середине XIX столетия выходят в свет обобщающие труды: по славянским языкам — „Сравнительная грамматика славянских языков“ Ф. Миклошича,[3] по кельтским — „Кельтская грамматика“ И. К. Цейса;[4] появляются созданные на исторической основе грамматики различных языков — „Историческая грамматика русского языка“ Ф. И. Буслаева,[5] „Руководство по изучению литовского языка“ А. Шлейхера[6] и др. С изданием памятников ведийской письменности и постепенным выходом в свет выпусков „Санскритского словаря“, публиковавшегося русской Академией Наук (1855—1875), углубляется историческое исследование древнеиндийского языка; больших успехов, благодаря использованию сравнительно-исторического метода, достигает к этому времени изучение древнеиранских языков и т. д.

Существовавший долгое время разрыв между сравнительным языкознанием и классической филологией, представители которой, опираясь на давние традиции детального изучения норм греческой и латинской грамматики, с недоверием относились к трудам Боппа и его последователей, также был в известной мере ликвидирован уже к 50-м годам XIX в. В сближении достижений индоевропеистики с выработанным вековыми трудами филологов-классиков методом тщательного описания единичных языковых фактов и в углублении исследования грамматического строя и лексики древнегреческого языка большую роль сыграли работы Г. Курциуса, особенно

[1] J. Grimm. Deutsche Grammatik. Göttingen, 1819—1837.

[2] Fr. Dietz. Grammatik der romanischen Sprachen. Bonn, 1836—1845.

[3] Fr. Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien, 1852—1874.

[4] K. Zeuss. Grammatica celtica. Leipzig, 1853.

[5] Ф. И. Буслаев. Опыт исторической грамматики русского языка, ч. 1—2. М., 1858.

[6] A. Schleicher. Handbuch der litauischen Sprache. Prag, 1856—1857.

его „Основы греческой этимологии“,[1] выдержавшие ряд изданий.

В процессе всей этой огромной работы постепенно накоплялся опыт в наблюдении над фактами исторического развития языков, уточнялись звуковые соответствия между родственными языками, совершенствовался метод сравнительно-исторического исследования. Появилась и новая попытка обобщения фактов индоевропейского лингвистического родства — составленный в качестве учебного пособия „Компендий сравнительной грамматики индогерманских языков“[2] А. Шлейхера.

Шлейхер был одним из наиболее выдающихся представителей языкознания XIX в. и отличался широтой и многообразием научных интересов. Помимо конкретных исследований в области сравнительной грамматики, а также по исторической грамматике отдельных индоевропейских языков, он много внимания посвящал общим вопросам языковедной теории, пытаясь определить исторические закономерности развития языков.

Однако в своих напряженных поисках материалистического решения вопроса о сущности языковых явлений и характере их исторического развития Шлейхер не нашел правильного пути и, став на позиции вульгарного материализма, отождествил развитие языка с развитием живых организмов.[3] Эта глубоко ошибочная концепция в соединении с идеалистическим учением о „двух периодах“ в жизни языка (см. ниже) не могла не отразиться в какой-то мере на его конкретно-лингвистических исследованиях, хотя в анализе фактического материала Шлейхер, отправляясь от реально наблюдаемых языковых явлений, во многих случаях успешно преодолевал ошибочные установки своей общей теории.

Результатом углубленных исследований Шлейхера в области различных индоевропейских языков, в особенности же в области литовского и славянских, явился ряд бесспорно

---

[1] G. Curtius. Grundzüge der griechischen Etymologie. Leipzig, 1858—1862. На русский язык часть этой работы была переведена К. Люгебилем под названием „Начала и главные вопросы греческой этимологии“ (СПб., 1882).

[2] A. Schleicher. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 1-te Ausg., Weimar, 1861—1862 и последующие издания.

[3] См.: A. Schleicher. 1) Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar, 1863; 2) Über die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen. Weimar, 1865.

ценных для своего времени трудов, посвященных систематической разработке грамматики отдельных языков на основе применения сравнительно-исторического метода.

В своих работах Шлейхер проявлял специальный интерес к вопросу о типах морфологической структуры. Правда, этот интерес иногда выходил за пределы сравнительно-исторических изысканий в собственном смысле слова;[1] разработанная Шлейхером схема стадий развития типов морфологической структуры (изолирующий тип > агглютинирующий > флективный) уводила от конкретно исторического изучения закономерностей развития грамматического строя языков в область оторванных от реальной исторической почвы построений. Однако эта линия теоретических исканий Шлейхера несомненно оказала положительное влияние на развитие научного понимания вопросов, связанных с проблемой грамматической формы слов, и способствовала более углубленной разработке проблем исторической морфологии.

От „Сравнительной грамматики" Боппа шлейхеровский „Компендий" отличает прежде всего значительное внимание, уделенное автором сравнению фонетического состава отдельных индоевропейских языков, притом с попыткой реконструкции общего исходного состояния (звуки индоевропейского „праязыка"). Хотя наблюдения над фонетическими изменениями носят еще весьма предварительный характер, непоследовательны и часто ошибочны, стремление установить закономерности в развитии звуковой стороны родственных языков знаменует собой несомненный прогресс в деле разработки принципов сравнительно-грамматического анализа.

Не являясь уже пионером в сопоставлении грамматического строя отдельных индоевропейских языков, но продолжая труд, начатый предшествующим поколением компаративистов, Шлейхер более точно и детально исследует морфологическую структуру индоевропейского слова, впервые широко применяя метод реконструкции праязыкового состояния.

Шлейхер несомненно значительно уточнил критерии определения родства языков, подчеркнув положение о том, что не внешнее структурно-типологическое сходство грамматических форм, но тождество „звукового материала" (Lautstoff), используемого для выражения „значений" (имеются в виду лексические значения) и „отношений" (иначе говоря, грамма-

---

[1] См.: A. Schleicher. Zur Morphologie der Sprache. Mém. de l'Acad. imperiale des sciences de St.-Pétersb., v. 1, № 7, 1859, и другие работы.

тических значений),[1] является опорой для изучения реальных связей между имеющими общее происхождение языками. Исходя из этого положения, подсказанного непосредственным изучением фактов грамматики индоевропейских языков, Шлейхер успешно развивал основы сравнительно-исторического метода в языкознании, несмотря на свое увлечение идеалистической теорией о различии ступеней формального (т. е. морфологического) „совершенства" существующих в мире языков.

Составленный Шлейхером „Компендий сравнительной грамматики" явился значительным для своего времени трудом, обобщившим достижения индоевропеистики за весь первый период ее развития. Будучи удобным для использования благодаря четкости и сжатости изложения, он выдержал несколько изданий и оказал большое влияние на учившееся по нему новое поколение языковедов.

Однако несмотря на свои для того времени бесспорные достоинства, этот труд отразил в себе также недостатки общетеоретической концепции автора, в целом устарел и имеет в наши дни интерес в основном с точки зрения истории сравнительного языкознания.

Остановимся теперь подробнее на недостатках построений Шлейхера в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, непосредственно отразившихся в „Компендии".

В основе подхода Шлейхера к языковой истории лежала ошибочная концепция двух периодов „жизни языка" — „доисторического" и „исторического".[2] К „доисторическому периоду" он относил собственно „развитие языка". В этот период „все высшие языковые формы возникли из низших, сочетающая форма (zusammenfügende Sprachform) из изолирующей, флектирующая из сочетающей".[3] „Исторический период" — это период „упадка языка" в отношении звуков и форм, „упадка", сопровождающегося значительными изменениями в функциях форм и в строении предложения. Реконструируемый Шлейхером индоевропейский „праязык" мыслился им как вершина языкового

---

[1] См.: A. Schleicher. Die deutsche Sprache. 3-te Ausg., Stuttgart, 1874, стр. 26—32.

[2] „Жизнь языка распадается прежде всего на два целиком отличных друг от друга периода: на историю развития языка — доисторический период — и на историю упадка языковых форм — исторический период" (A. Schleicher. Die deutsche Sprache, стр. 37).

[3] A. Schleicher. Compendium..., Bd. 1, 1861, стр. 3.

развития, как язык, прошедший в „доисторический период“ все типологические ступени и достигший „высшей“ флективной формы.

В „исторический период“ начинается, согласно концепции Шлейхера, процесс последовательной дифференциации „праязыка“ и образования отдельных языковых ветвей. Основное содержание „жизни“ возникших таким образом индоевропейских языков составляет постепенный распад, разложение их формального строения, распад, затемнение первоначально экономного и гармоничного звукового состава. Иными словами, все подлежащие наблюдению и научному изучению факты истории языков должны с этой точки зрения рассматриваться как явления постепенной деградации, как непрерывный процесс разложения языкового „организма“.

Различные варианты теории „двух периодов в жизни языка“ были широко распространены в языкознании первой половины XIX в. В основе их лежало непонимание общественной сущности языка (выразившееся, в частности, в характерном для Шлейхера отождествлении языка с „природным организмом“) и самого характера процесса языкового развития. Согласно схеме „двух периодов“, возникшей под влиянием извращенной трактовки исторического процесса в идеалистической философии Гумбольдта, развитие языка продолжается лишь до определенного момента, а затем прекращается. Таким образом, построенная на этой схеме языковедная теория находится в резком противоречии с научным положением современной теории развития языка, согласно которой язык является продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он оформляется, обогащается, развивается, шлифуется.

Изучая историю индоевропейских языков и пытаясь возвести характерные для них звуки и формы к исходному „праязыковому“ состоянию, Шлейхер расценивал наблюдаемые изменения не как факты развития, но как проявления упадка, распада. Эта идея пронизывает собой проводимый Шлейхером лингвистический анализ, хотя привлекаемые им в большей массе факты упорно говорят сами за себя и требуют иной интерпретации.

Необходимо отметить, однако, что в очень многих случаях Шлейхер, следуя за конкретным материалом, стремился вскрыть действительно реальные процессы развития изучаемых языков. В своих достижениях и неудачах он стоял

большой

на уровне сравнительно-исторического языкознания того времени, частично преодолевая, при непосредственном описании фактов, недостатки своей исходной теоретической концепции.

Теория постепенной дифференциации языков, происходящих от единого „праязыка", также получила, в том виде, как ее излагал Шлейхер, отпечаток его биологической концепции языка как „природного организма", живущего [1] и „цветущего", а затем распадающегося. Весь процесс развития индоевропейской лингвистической группы, начиная от древнего языка-предка и кончая современными национальными языками, — процесс, в реальности отразивший закономерности общественного развития говоривших на индоевропейских языках племен, народностей, наций, — Шлейхером был сведен к абстрактной и наивно-прямолинейной схеме постепенного дробления „праязыка" на „основные языки" (Grundsprachen), затем просто „языки" и далее „диалекты" и „поддиалекты".

В основе этой схемы лежало непонимание общественной природы языка, представление о языке как о имманентно развивающейся субстанции, отождествляемой к тому же с явлениями органического мира („виды" и „подвиды").

Таким образом, хотя Шлейхер, впервые поставивший вопрос о генетической классификации родственных языков, сделал значительный шаг вперед в деле разработки этой проблемы в применении к индоевропейской лингвистической семье, теоретическая сторона его концепции и в этой своей части заключала существенные ошибки.

Конкретно-лингвистической стороне шлейхеровских реконструкций общеиндоевропейского исходного состояния также были присущи серьезные недостатки.

Шлейхер разделял общее для всех индоевропеистов первого периода убеждение в наибольшей древности санскрита в сравнении со всеми остальными родственными языками и безоговорочно формулировал следующее положение как исходное при изучении индоевропейской сравнительной грамматики: „Чем восточнее живет тот или иной индогерманский народ, тем больше древних черт сохранилось в его языке,

---

[1] Ср.: „Языки живут, как все природные организмы; они не действуют, как человек, и не имеют, следовательно, истории, если понимать это слово в его собственном и узком значении" (A. Schleicher. Compendium. . ., Bd. 1, стр. 1).

чем западнее, тем меньше содержит он старого и тем больше новообразований".[1]

Действительно, грамматический строй древнеиндийского языка во многих своих особенностях устойчиво сохранял архаический флективный облик, характеризовавший общеиндоевропейское исходное состояние. Однако в целом ряде моментов древнеиндийская языковая структура подверглась существенным изменениям и обнаруживает немало специфических новообразований.

В качестве одного из примеров характерных для древнеиндийского языка новообразований в области морфологии можно привести распространение окончания *-mi* (1-е л. ед. ч. актива) на все группы глаголов, в то время, как греческий, италийские, германские и другие языки обнаруживают более архаическую картину распределения окончаний *-mi* и соответственно *-ō* за атематическим и тематическим типами глагольных форм. В индийском тематические формы с окончанием *-ō* были, повидимому, утеряны уже в глубокой древности, хотя в близко родственном индийскому древнеиранском языке Авесты такого рода формы еще сохранялись, например авест. pərəsā 'спрашиваю', ср. лат. poscō (из *porcscō) 'требую', но др.-инд. pṛccʰámi 'спрашиваю'. Ср. еще греч. φέρω, лат. ferō, гот. baira, но др.-инд. bʰárāmi 'несу', и др. В морфологической структуре древнеиндийского языка можно обнаружить и ряд других явлений, которые свидетельствуют о специфическом для него развитии отдельных элементов грамматического строя, унаследованных от древнейшего общеиндоевропейского состояния.

Возможность существования фактов подобного рода не учитывалась компаративистами первой половины XIX в., которые не смогли преодолеть ошеломляющего впечатления, произведенного первым ознакомлением с богатством флективных форм древнеиндийского языка и открытием его родства с языками Европы. Находившиеся под обаянием этого впечатления языковеды долгое время представляли себе формы исчезнувшего „праязыка" исключительно по образцу сохранившихся санскритских форм. Лишь в 70-х годах языковедение достигло правильной точки зрения по этому вопросу. Так, например, Ф. Ф. Фортунатов в курсе лекций 1879 г., указывая на то, что „вместе с ведийским наречием санскрит является чрезвычайно важным для лингвиста, изучающего

[1] A. Schleicher. Compendium. . ., Bd. 1, стр. 6.

индоевропейские наречия, так как представляет вообще более древний строй сравнительно с другими индоевропейскими языками", подчеркивал далее: „Не следует, впрочем, думать, будто санскритский язык во всех чертах древнее остальных индоевропейских языков, и при определении фактов общего индоевропейского языка нужно пользоваться всеми древними языками нашей семьи".[1]

Распространенное убеждение в абсолютной архаичности санскрита наиболее яркое претворение получило в шлейхеровских реконструкциях индоевропейских праформ.

Так, например, не считаясь с показаниями других языков, Шлейхер без каких-либо оговорок реконструировал в качестве „праязыковой" единую для всех типов глаголов в древнеиндийском языке форму 1-го лица единственного числа с окончанием *-mi* (в трактовке Шлейхера — *-ma*, которое он пытался возводить к также реконструированной им форме личного местоимения 1-го лица единственного числа ma). Таким образом, санскрит с его обобщенным типом спряжения на *-mi* (bhárāmi и др.) провозглашался единственным из индоевропейских языков, верно сохранившим „праязыковое" наследие. Соответственно с этим греческий, италийские, древнебактрийский (т. е. авестийский), литовский и другие языки объявлялись частично утерявшими этот тип глагольного спряжения.[2]

Индоевропейский „праязык" в изображении Шлейхера обладал как бы идеализированной структурой санскрита. Идеализация эта осуществлялась на основе учения о том, что совершенный по своей структуре „органический" флективный язык (каковым должен был являться индоевропейский „праязык") должен обнаруживать ясную в структуре слова схему соотношения элементов, выражающих „значение" и „отношение". Характерно, что все „непоследовательности", которые с этой точки зрения Шлейхер усматривал в санскрите, при реконструкции праформ, как правило, устранялись.

Подобного рода подход, основанный на одностороннем учете особенностей лишь одного из родственных между собой языков, без должного охвата всей массы явлений, составляющих развиваемое всеми этими языками наследие исходно общей для них древней языковой структуры, неминуемо при-

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1879—1880 (литограф. изд.), стр. 14—15.

[2] A. Schleicher. Compendium..., Bd. 1, стр. 507—510.

водил к искажению исторической перспективы развития всей индоевропейской лингвистической группы в целом, приводил к неправильной трактовке истории отдельных языков.

Ярким примером в этом отношении может служить неправильное освещение вопроса об индоевропейском вокализме, безраздельно господствовавшее в лингвистической литературе вплоть до 70-х годов XIX в. и догматически пронизавшее все изложение соответствующего раздела в „Компендии" Шлейхера.

Основу для ошибочной трактовки этой проблемы составляли факты существенного отличия древнего индоиранского вокализма от вокализма других индоевропейских языков. Там, где в греческом, италийских, кельтских и армянском языках наличествуют три различных кратких гласных (*e*, o, *a*), в славянских, балтийских и германских — два [слав. *e*, *o*, балт. *e*, *a*, герм. *e (i)*, *a*], древние индоиранские языки дают лишь один краткий гласный *a*.

Ср., например, греч. δέκα, лат. decem, др.-ирл. deich n-, гот. taihun, ст.-слав. **десѧть**, лит. dẽšimt, но др.-инд. daça, авест. dasa 'десять'; греч. φέρω, лат. ferō, др.-ирл. (do-)biur (из *-berū), гот. baira, арм. berem 'несу', ст.-слав. **берѫ**, но др.-инд. bhárāmi 'несу'; греч. ὀκτώ, лат. octō, др.-ирл. ocht n-, арм. uth, гот. ahtau, ст.-слав. **осмь**, но др.-инд. вед. aṣṭá 'восемь'; лат. rota, др.-ирл. roth, др.-в.-нем. rad (из *raþan), лит. rãtas 'колесо' и др.-инд. ráthaḥ, авест. raϑō 'колесница', и др. Ср. также греч. ἄγω, лат. agō, арм. acem 'двигаю', 'гоню' и др.-инд. ájāmi, авест. azāmi 'веду', и т. д.

Соответственно с этим положением вещей в индоиранских языках отсутствует характерное для остальных индоевропейских языков чередование гласных *e*/*o*, играющее важную роль в древнейшем глагольном и именном основообразовании.

Ср. греч. δέρκ-ο-μαι 'смотрю', перф. δέ-δορκ-α, но др.-инд. перф. da-dárç-a 'я увидел', ca-kár-a 'я сделал' (корень kar- 'делать', ср. karṓ-mi 'делаю'). Ср. также греч. γόν-ο-ς 'рождение', 'дитя' и др.-инд. ján-a-s 'создание' (от корня греч. γεν-, др.-инд. jan- 'рождать'), и т. д.

Ознакомившись с фонетикой и морфологией санскритского языка, компаративисты первой половины XIX в. единодушно сочли систему гласных этого языка соответствующей древнейшему индоевропейскому состоянию, а греческие, латинские гласные *e*, *o*, *a* — результатом „расщепления" праиндоевропейского *a*, якобы сохранившегося нетронутыми в санскрите.

При этом в основу реконструкции праиндоевропейского вокализма была положена своеобразная схема чередования гласных, разработанная некогда древнеиндийскими грамматистами применительно к фактам санскритского языка. С давних пор в индийской грамматике существовало учение о так называемых guṇa и vṛddhi, основанное на наблюдениях над чередованием простых гласных и дифтонгов, встречающимся в ряде корней. Были установлены следующие ряды чередования: *i—ē—āi*, *u—ō—āu*, *ṛ—ar—ār*, *ḷ—al—āl*, а также *a—ā*. Гласные *a*, *i*, *u*, *ṛ* индийскими филологами определялись как „основные", простейшие гласные корня; формы, содержащие их, считались „основными формами". Путем прибавления к этим простым гласным гласного *a* считались образованными вторичные гласные — дифтонги *ē (ai)*, *ō (au)*, *ar*, *al*. Это явление получило название guṇa 'качество'. Дифтонги с долгим первым элементом *āi*, *āu*, *ār*, *āl*, а также долгий гласный *ā* считались образованными с помощью вторичного присоединения „основного" гласного *a*. Это вторичное присоединение называлось vṛddhi 'приращение'.

Эта схема была в свое время составлена применительно к наличному составу санскритских гласных и естественно не могла учитывать закономерностей доисторического развития древнеиндийского вокализма. Индийские ученые исходили лишь из того состояния элементов фонетической системы, которое было характерно для классического санскрита. При этом их особенно интересовал вопрос о морфологическом использовании чередований гласных. В частности, их внимание обратило на себя специфическое для древнеиндийского языка образование производных имен путем удлинения или дифтонгизации корневого гласного (явление, названное ими vṛddhi; ср. dhāumyaḥ 'сын Дхумы', производное от dhumaḥ). В то же время индийским языковедам осталась непонятна зависимость чередования таких пар, как *i—ai (ē)*, *u—au (ō)*, *ṛ—ar* и т. д. от смены ударения в слове (ср. др.-инд. 1-е л. ед. ч. перфекта vḗd-a 'знаю' — 1-е л. мн. ч. vid-má, соотв. греч. (F)οἶδ-α—(F)ἴδ-μεν, гот. wait—wit-um 'знаю'—'знаем' и т. д.). Самый принцип соотношения ступеней чередования получил неправильную трактовку у представителей древнеиндийской филологической науки. В отличие от современного понимания *i* в соотношении с *ei* и *oi* [др.-инд. *i—ai(ē)*], *ṛ* с *er(ar)* и т. д. как „нулевой ступени" огласовки, обусловленной ослаблением в результате отсутствия ударения (др.-инд. ḗ-mi 'иду' — i-máḥ 'идем', bi-bhar-mi 'ношу' — bhṛ-tá-ḥ 'ношенный', ás-mi 'я есмь' —

мн. ч. s-más и т. д., ср. греч. λείπ-ω 'оставляю' — аорист ἔ-λιπ-ον 'я оставил', и др.), индийские филологи приняли эту „нулевую ступень" за исходную точку при построении схемы чередований и выдвинули ошибочную теорию „повышения" степени огласовки путем механического наращения гласного *a*. Не владея ни методом сравнительно-исторического анализа, ни тем изобилием фактов из истории различных языков, которым располагает современная индоевропеистика, языковеды древней Индии не могли естественно определить состав и закономерности системы гласных, предшествовавшей образованию специфических черт индоиранского вокализма с характерным для него совпадением общеиндоевропейских *e*, *o*, *a* в одном кратком *a*.

Однако схема эта, поразившая компаративистов первой половины XIX в. своей внешней простотой и кажущейся логической стройностью, была ими взята за основу для реконструкции системы гласных индоевропейского праязыка. Результатом явился ряд бесплодных попыток разместить реальное многообразие фактов исторической фонетики различных индоевропейских языков в рамках специфически древнеиндийской схемы вокализма, не соответствовавшей уже более древнему общеиндоевропейскому состоянию.

В несколько упрощенном виде схема индийских грамматистов фигурирует и в сравнительно-грамматических трудах Шлейхера, приведенная в соответствие с его мнимоисторическими идеями относительно „органической" стройности, простоты и совершенства структуры индоевропейского праязыка. Шлейхер полагал, что в праязыке было всего девять гласных — три кратких (*a*, *i*, *u*) и шесть долгих, являвшихся результатом „повышения" (путем добавления краткого *a*): $a + a = aa\ (\bar{a})$ и далее — $aa + a = \bar{a}a\ (\hat{a})$; $i + a = ai$ и далее — $ai + a = \hat{a}i$; $u + a = au$, $au + a = \hat{a}u$. Каждый гласный, согласно этой схеме, мог двигаться только в рамках своего ряда и только для выражения определенных грамматических отношений. Таким образом, как утверждал Шлейхер, „в высшей степени прост, но и в высшей степени правилен и строго симметричен был вокализм индогерманского праязыка, состоявший из 3×3 звуков".[1]

Дальнейшей судьбой индоевропейского вокализма было, как полагал Шлейхер, постепенное разложение, распадение, разрушение первоначальной стройной системы, причем про-

[1] A. Schleicher. Die deutsche Sprache. Stuttgart, 1874, стр. 135.

цесс этот совершался в каждом языке самостоятельно. Характерно, что такой факт, как наличие в греческом, латинском и прочих языках трех кратких гласных *e*, *o*, *a* трактовался Шлейхером как результат случайных изменений окраски (Umfärbung) исконного праязыкового *a*, сохранившегося в санскрите. Чередование гласных *e/o*, составляющее одну из основных закономерностей древнейшей системы индоевропейского вокализма, совершенно не вошло в поле зрения Шлейхера.

Последующие исследования показали, что засвидетельствованная в древних индоиранских языках картина вокализма вовсе не отражает архаического общеиндоевропейского состояния, а представляет результат специфического для индоиранских языков самостоятельного развития. Решающее значение при этом имело открытие закона палатализации *k* в *c* (*č*) и *g* в *j* (*dž*) перед древним общеиндоевропейским *e*, перешедшим позднее в *a*. Ср. др.-инд. вед. catvárah̦, авест. cathwāro 'четыре' — греч. атт. τέτταρες, умбр. petur-, др.-ирл. cethir, ст.-слав. **четыре**, лит. keturì (сходные явления палатализации наблюдаются также в старославянском и греческом языках). Особенно наглядно позиционное чередование *k*, *g* (перед старыми общеиндоевропейскими *o*, *a*) и *c*, *j* (перед старым общеиндоевропейским *e*) выступает в формах редуплицирующего перфекта, для которых было некогда характерно наличие гласного *e* в удвоении и гласного *o* в корневом слоге (ср. греч. τρέφ-ω 'питаю' — 1-е л. ед. ч. перфекта τέ-τροφ-α). Древнеиндийские перфектные формы типа ca-kár-a 'я сделал', ja-gár-a 'я проглотил' не оставляют никакого сомнения в том, что индоиранские языки некогда имели, так же как и другие языки индоевропейской семьи, в своем фонетическом составе гласный *e*, участвовавший в закономерных чередованиях. Следы этих чередований восстанавливаются для древнеиндийского языка, как мы видим, лишь косвенным путем. Наоборот, система гласных и их чередований, представленная в остальных индоевропейских языках, в большей мере сохраняет остатки исходно общей для них древней структуры индоевропейского вокализма.

Ошибочность трактовки вопросов вокализма в шлейхеровской сравнительной грамматике определялась в значительной мере тем, что Шлейхер, как и его ближайшие современники, исходил не столько из наблюдения и изучения конкретной полноты языковых фактов в их историческом развитии, сколько из предвзятого убеждения относительно абсолютной древности санскритских форм.

Теория вокализма являлась одним из наиболее слабых мест в трудах Шлейхера и других языковедов первого периода компаративистики. Поэтому неслучайно, что против нее были направлены серьезные удары поколением индоевропеистов 70—80-х годов, оформлявших новые взгляды на процессы исторического развития языков.

В решении морфологических проблем Шлейхер занимал в основном позицию, близкую позиции Боппа. Он также считал, что флективные формы слов некогда возникали путем сложения двух типов корней — „глагольных" (т. е. наделенных самостоятельным лексическим значением) и „местоименных".[1] Формулируя задачи „научного изложения индоевропейского склонения", он, повторяя взгляды Боппа, полагал, что цель исследования состоит в разложении тесно сросшихся элементов слова.[2] При этом он пытался выделить составные элементы каждой формы, предлагая искусственно сконструированную и часто явно несостоятельную историю ее образования. Так, например, предполагаемую индоевропейскую форму творительного падежа множественного числа *varkais 'волками' он считал возникшей из *varkabhis, а *varka-bhi-s — из еще более древней формы vark-a-bhi-sa, составленной из корня vark, именной основы vark-a, падежного суффикса *-bhi* и суффикса множественного числа *-sa*.[3] Никакой опоры в наблюдениях над реальными фактами этот анализ искусственно созданной формы не имел.

В своих объяснениях происхождения форм Шлейхер в большинстве случаев повторял высказанные уже ранее гипотезы Боппа, из которых, как уже указывалось выше, лишь некоторые сохраняют свое значение для современной науки. Характерно, что в стремлении подтвердить свою схему, Шлейхер не останавливался перед произвольным оперированием понятием звуковых изменений (выпадение отдельных звуков, ослабление их и т. п.). Так, например, взяв за исходную точку гипотезу Боппа о местоименном происхождении личных окончаний глагола, он не удовольствовался окончаниями презенса, для которых сравнение с формами личных и указательных местоимений является действительно убеди-

---

[1] В последующих изданиях „Компендия" Шлейхер ввел термины „корни, выражающие понятия" (Begriffswurzeln) и „корни, выражающие отношения" (Beziehungswurzeln).

[2] См.: A. Schleicher. Compendium. . ., Bd. 2, 1862, стр. 414.

[3] Там же.

тельным, но пытался распространить это объяснение также на формы архаического индоевропейского перфекта, создавая для него совершенно фантастическую, не обоснованную никакими реальными фактами предисторию. Так, он считал, что окончание *-a* 1-го лица единственного числа перфекта якобы восходит к местоименному корню 1-го лица *ma: babhâra он выводил из *ba-bhâr-ma, греч. λέλοιπ-α — из *λελοιπ-μα.

Главный интерес Шлейхера в соответствующих разделах его труда был, так же как у Боппа, устремлен на проблему происхождения флективных форм, образования их путем сложения различных корневых элементов, относимого к эпохе „органического роста" языка. Развитие же форм в последующие периоды занимало Шлейхера в малой степени, так как он относил его уже к эпохе „разложения", „деградации" языкового „организма".

Недостатки сравнительно-морфологических изысканий Шлейхера были типичны для языкознания его времени. Так, например, Г. Курциус, который в своих тонких исследованиях структуры древнегреческого основообразования стоял уже на рубеже новой эпохи, процесс развития строя индоевропейских языков целиком понимал еще в духе гумбольдтианско-шлейхеровской концепции „двух периодов". Курциус выделял в развитии всех языков „период организации", или доисторический, и „период совершенствования" (Ausbildung). Образование структуры индоевропейского „праязыка" Курциусом относилось к „периоду организации" — „все основные типы языковых форм должны были быть созданы именно в этот период, так как они тождественны во всех родственных языках. Последующий период давал, с небольшими отклонениями и в своеобразном употреблении, лишь отпечатки этих типов, но в области основных форм ничего нового уже не создавалось".[1] Иными словами, продолжает Курциус, первый период можно назвать „периодом роста", в конце которого „языковый организм" (Schprachkörper) достигает своих твердых границ, изменяется лишь в их пределах, т. е. является „выросшим" (ausgewachsen).

Полагая, что для второго периода главным признаком является постепенное „убывание" (Abnahme) звукового состава, Курциус, однако, не согласен считать его „периодом упадка".

---

[1] G. Curtius. Zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung. Abhandl. der philolog.-hist. Klasse der Königl. Sächs. Ges. f. Wissensch., Bd. V, 1867, стр. 197.

„Ведь подобно тому, как по окончании роста еще не наступает старческий период, так и здесь мы не имеем сразу действительного разрушения организма. Начало звукового выветривания связано с живым употреблением ранее созданного".[1]

Приведенные высказывания ясно свидетельствуют о том, как далек был Курциус, так же как и современное ему идеалистическое языковедение, от понимания сущности языка как общественного явления, законы развития которого можно понять, лишь изучая его в связи с историей общества, в связи с историей говорящего на нем народа.

Извращенно представляя себе процесс языкового развития разделенным на две стадии — стадию первичного „образования" и стадию последующих мелких изменений, составляющих собственно „историю" отдельных языков, Курциус все же признает значимость изучения этих специфических позднейших изменений. Однако главную, высшую цель языкознания он видит в том, чтобы „разложить существующие формы на их первоначальные составные части и распознать бессознательные цели творившего языкового духа".[2]

Что касается конкретных процессов морфологического развития языка, совершавшихся в „период организации," то Курциус, так же как его предшественники, полагал, что „широко разветвленная система глагольных и падежных форм в основе своей достигается поразительно простыми языковыми средствами. Немногие односложные местоименные основы, добавляясь к основе реже спереди, как правило позади, то поодиночке, то по две, то по три, являются главными средствами, и повсюду мы встречаем одни и те же элементы".[3]

Во многом повторяя наивный схематизм своих предшественников, Курциус, однако, достигает бо́льших результатов в конкретном анализе основных элементов грамматической структуры индоевропейских языков, пытаясь поставить вопрос о хронологической последовательности в их сложении. Относя все свое построение исключительно к развитию грамматического строя „праязыка" в период „организации", он выдвигает понятие „языковой хронологии". „Без хронологии, — пишет он, — история языка может стать аггрегатом единичных фактов и сами эти факты не дадут никакой

[1] G. Curtius. Zur Chronologie. . ., стр. 197.
[2] Там же, стр. 193.
[3] Там же.

уверенности, пока они не найдут опоры в других фактах и твердого места в общем процессе развития".[1]

Опираясь на изучение соотношения морфологических элементов различных типов слов в греческом и древнеиндийском языках, Курциус предлагает следующую схему хронологической последовательности этапов развития древнейшей общеиндоевропейской морфологической структуры: 1) период корней, 2) период детерминативов, 3) первичный глагольный период, 4) период образования тематических основ, 5) период сложных глагольных форм, 6) период образования падежей, 7) период образования наречий.

Исследования Курциуса содержат немало верных наблюдений, немало интересных догадок. Положительное значение стремления выявить историческую последовательность в развитии основных элементов грамматической структуры общеиндоевропейского языка также не подлежит сомнению. Однако тем ярче выступают в этой концепции основные недостатки сравнительного метода, применявшегося представителями старшего поколения индоевропеистов, — неправильное понимание процессов языкового развития (идеалистическое учение о „двух периодах"), несовершенство самой методики сравнительно-исторического анализа, недостаточная аргументированность выдвигаемых положений.

Одним из серьезных недостатков сравнительного языковедения первого периода, далеко не ликвидированным в работах Шлейхера, Курциуса и их ближайших современников, несмотря на значительные успехи, достигнутые ими в описании звукового состава индоевропейских языков, была непоследовательность в изучении закономерностей фонетического развития. Правда, и Шлейхер и Курциус широко пользовались понятием „звуковых законов" и неоднократно призывали к тщательному наблюдению над звуковыми переходами, к выявлению их причин, к соблюдению различий в этом отношении между отдельными языками и периодами их истории.[2] Шлейхер уже в 1860 г. поднимал вопрос о том, что „звуковые законы" должны действовать „без исключений".[3] И тем не менее и тот и другой на практике часто допускали возможность различного развития одного и того же звука в одних и тех же фонетических усло-

[1] Там же, стр. 189.

[2] G. Curtius. Bemerkungen über die Tragweite der Lautgesetze. Berichte der philolog.-hist. Klasse der königl. Sächs. Cesellsch. d. Wiss., 1870.

[3] A. Schleicher. Die deutsche Sprache, стр. 170.

виях, без каких-либо видимых причин, и широко применяли положение о так называемом „расщеплении“ звуков (так, например, выдвигая необоснованную гипотезу о „расщеплении“ индоевропейского *а на *a*, *e*, *o* в греческом и других языках, построенную на ошибочном предположении об особой древности индоиранского вокализма).

Теоретически порочную основу исследований в области исторической фонетики индоевропейских языков в эту эпоху составляло все то же учение „о двух периодах“ языкового развития, причем, если вопросы морфологической структуры в основном связывались с „периодом организации“ языка, то вся масса изменений в области фонетики относилась обычно ко второму, позднейшему периоду. Этот второй период Шлейхер рассматривал как период „упадка языка в отношении звуков и форм“, период разложения „языкового организма“, которое проявлялось в разрушении простоты и гармонии первичного звукового состава и образовании беспорядочного множества различных новых звуков.

Курциус также разделял ходячие заблуждения своей эпохи, считая, что, как якобы всеми признано, „звуки языка со временем выветриваются, т. е. теряют силу артикуляции и полноту звучания“.[1] Как особенно ярко показала его полемика с представителями младограмматического направления, выступившими с критикой основных положений старшего поколения компаративистов,[2] Курциус упорно защищал положение о возможности „спорадических“, т. е. не подлежащих никаким закономерностям, фонетических изменений. В практике сравнительно-грамматических исследований такое допущение представляло простор для разного рода необоснованных гипотез, продиктованных наивным стремлением сразу разгадать все тайны „первобытного“ строения грамматических форм.

Такого рода установки тормозили разработку вопросов исторической фонетики индоевропейских языков, хотя необходимо признать, что языковедам 50—70-х годов XIX в. (в том числе самим Шлейхеру и Курциусу) удалось достичь в этой области значительных успехов в сравнении с первыми попытками старейших компаративистов.

Оглядываясь на период развития сравнительного языкознания с начала XIX в. вплоть до 70-х годов, мы можем отметить как бесспорный успех широкую постановку вопроса

---

[1] G. Curtius. Zur Chronologie. . ., стр. 189.
[2] G. Curtius. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung. Leipzig, 1885.

о родстве языков, основанную на привлечении огромного лингвистического материала. В теоретическом отношении большое значение имело заострение вопроса об историзме языкового развития. В общей форме это положение четко сформулировано Курциусом: „Мы с полным правом привыкли говорить об истории языка. Там, где есть становление, там есть и история... Генетическое понимание жизни языка составляет отличие нового языковедения от старого, которое ограничивалось либо голой статистикой, либо попытками систематики языковых явлений. Основной чертой языкознания, где бы ни было, — касается ли исследование узкого круга отдельного, изучаемого на основе памятников языка, или движется более широкими путями, — является историзм“.[1]

Однако в своем понимании историзма языкового развития представители сравнительного языкознания первого периода находились в плену установок идеалистической языковедной теории о „двух периодах жизни языка“, вульгарно-материалистической концепции языка как „природного организма“ (Шлейхер) и т. п. Историзм этот был далек от марксистского понимания развития языка как общественного явления. Однако, следуя за конкретными лингвистическими фактами, языковеды первой половины XIX в. устанавливали все же во многих случаях реальные пути развития отдельных явлений.

Разработка принципов историко-лингвистического исследования в последней четверти XIX в.

Мощным орудием лингвистического исследования явилась методика сравнительно-исторического изучения фактов родства языков, неуклонно разрабатывавшаяся и совершенствовавшаяся на основе огромного материала. Однако к началу 70-х годов все яснее и яснее стала чувствоваться невозможность дальнейшей разработки этой методики, невозможность дальнейшего развертывания работы по изучению конкретных вопросов языковой истории в рамках того неправильного понимания сущности процессов языкового развития, которое господствовало в трудах ученых старшего поколения.

Понимание целого ряда насущно-важных для лингвистического исследования вопросов настоятельно требовало пересмотра. Углубление работы по изучению истории отдельных

---

[1] G. Curtius. Zur Chronologie..., стр. 188.

языков, уже не в плане гипотетических построений, а на базе реально засвидетельствованных фактов, вызвало к жизни постановку целого ряда новых проблем. Расширение материальной базы языковедных исследований, связанное с развитием целого ряда самостоятельных лингвистических дисциплин — славистики, германистики, романистики, иранистики, истории древнегреческих диалектов и др., выдвигало новые аспекты языковедческой работы (например, изучение вопросов исторического синтаксиса славянских языков в трудах А. А. Потебни и др.).

В острой полемике с установками старого сравнительного языкознания вырабатывало свои принципы новое направление языковедов-историков, которому удалось преодолеть целый ряд заблуждений, характерных для языковедов старшего поколения, усовершенствовать в ряде существенных моментов сравнительно-исторический метод и охватить углубленной исследовательской работой неизмеримо более широкий языковый материал.

Хотя сравнительно-историческим исследованиям конца XIX в. в свою очередь были присущи существенные недостатки, связанные с идеалистической трактовкой коренных вопросов языкознания, характерной для представителей различных лингвистических направлений этого периода, бесспорно положительное значение этих исследований состоит в том, что авторы их научились детально наблюдать и описывать историческое состояние лингвистических фактов и в ряде случаев вскрывать частные закономерности языкового развития. Этим общим достоинством объединяется работа лучших языковедов последней четверти XIX в., несмотря на различие взглядов по ряду теоретических вопросов.

70—80-е годы XIX в. явились периодом интенсивной перестройки взглядов по вопросу о характере процессов языкового развития, периодом отказа от некоторых методов лингвистического исследования, применявшихся предшествующими поколениями языковедов. Новое поколение, опираясь на опыт детального изучения истории отдельных индоевропейских языков и языковых групп, выступает в ряде специальных работ с изложением своего теоретического credo, подвергая суровой критике во многом наивные построения старой языковедной школы. Заслуженно резкую отповедь вызвало, естественно, сравнение языка с „организмом", а также тесно связанное с ним и широко распространенное учение о „двух периодах" в развитии языка.

Так, уже в 1870 г. в своей вступительной лекции к курсу сравнительной грамматики индоевропейских языков в Петербургском университете И. А. Бодуэн-де-Куртенэ считал необходимым „отвергнуть самым положительным образом тот предрассудок некоторых ученых, что язык есть организм. Это мнение создано вследствие страсти к сравнениям, которою страдают многие, не обращая внимания на то очень простое и убедительное предостережение, что сравнение не есть еще доказательство. В этом проявляется желание помощью сравнений избежать настоящего, серьезного анализа. Отсюда ученое пустословие, ученое фразерство, которое вводит в заблуждение людей не только поверхностных, но даже и очень основательно думающих... Кто считает язык организмом, тот олицетворяет его, рассматривая его в совершенном отвлечении от его носителя, от человека, и должен признать вероятным рассказ одного француза, что в 1812 г. слова не долетали до уха слушателей и мерзли на половине дороги. Ведь если язык есть организм, то, должно быть, это организм очень нежный, и словам, как частям этого организма, не выдержать сильного русского мороза“.[1]

Еще ранее наивное отождествление языка с „живым организмом“ было подвергнуто развернутой критике в произведении А. А. Потебни „Мысль и язык“ (1862). В вышедшем первым изданием в 1880 г. „Введении в изучение языка“ Б. Дельбрюка шлейхеровский натуралистический подход к языку рассматривался уже как пройденный этап языковедной науки.

Замечательный русский ученый А. А. Потебня, несмотря на субъективно-идеалистический психологизм своей общетеоретической концепции, в трактовке целого ряда существенных вопросов языковой истории смог преодолеть многие из неправильных взглядов, господствовавших в языкознании его времени. Теория „двух периодов“ в жизни языка, определявшая у языковедов старших поколений в корне ошибочное понимание процессов языкового развития, получила во введении к известному исследованию А. А. Потебни „Из записок по русской грамматике“ один из первых решающих ударов.

Критически излагая взгляды Гумбольдта, Потебня замечает, что, согласно этим взглядам, два периода языка характеризуются тем, что „в первом язык создается и сам служит

[1] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некоторые общие замечания о языковедении и языке. СПб., 1871, стр. 34—36.

целью, а во втором употребляется, становится средством". „Это должно бы объяснить, — продолжает он, — почему, как предполагают, в языках формальных настает время уменьшения форм, однако вовсе не объясняет. Противоположность создания и употребления, цели и средства... имеют субъективное значение: это не различные периоды языка, а различные точки зрения на один и тот же период".[1]

Разбирая распространенное в то время воззрение о периоде „падения грамматических форм", якобы наступающем в жизни языка, Потебня объясняет, каким образом доходят до этой совершенно не отвечающей реальным процессам языкового развития мысли: „Берут, например, схемы склонений в трех периодах языка и сосчитывают в каждом отдельно различные по звукам окончания. Оказывается, положим, что в древнем верхненемецком языке таких окончаний было 40, в среднем 20, в новом 5—6. Отсюда вывод, повидимому, несомненный: падение форм".[2] И далее Потебня показывает сложность вопроса о развитии грамматических форм в языке, вопроса, не разрешающегося простым подсчетом флективных окончаний, и заканчивает главу „Создание и разрушение грамматических форм" новой и оригинальной постановкой проблемы форм описательных: „Существование в языке описательных форм не только не есть признак падения формальности, но, напротив, свидетельствует о торжестве этого принципа. Описательная форма есть сочетание слов, уже имеющих формальные определения, но в совокупности составляющих один акт мысли. Возможность такого сочетания требует присутствия в языке чисто формальных слов. Нужна продолжительная работа мысли для того, чтобы освободить вещественные слова от всякого вещественного содержания и обратить их в беспримесные выражения отношений".[3] Это положение, блестяще разработанное затем во втором томе „Записок по русской грамматике", явилось замечательным вкладом Потебни в разработку грамматической теории. Оно положило резкую грань между трактовкой истории грамматического строя индоевропейских языков в трудах выдающегося ученого-новатора и исследованиями тех языковедов, которые сводили историю этих языков к процессу последовательного разрушения,

---

[1] А. А. Потебия. Из записок по русской грамматике, т. I. Воронеж, 1874, стр. 64—65.

[2] Там же, стр. 73. Такими подсчетами занимался Шлейхер.

[3] Там же, стр. 77.

утери формального богатства флективной структуры „праязыка“.

В отношении развития звуковой стороны языка Потебня также резко выступил против распространенного еще в то время взгляда о том, что фонетические изменения — это „болезнь“, в известное время овладевающая языком. „Звуковая изменчивость, — указывает он, — есть тоже явление первоначальное, всеобщее, отнюдь не свойственное одним лишь формальным языкам“.[1]

Ненаучные представления о языке, как о некоей „вещи, стоящей вне человека и ведущей свою собственную жизнь“, и о „двух периодах“ языковой жизни — „периоде юности“ (Jugendalter) и „периоде старости“ (Greisenalter) — подверглись несколько позднее суровой критике в „манифесте“ так называемой младограмматической школы,[2] в котором были четко сформулированы новые взгляды на процессы языкового развития, явившиеся результатом более детального изучения истории конкретных языков.

Возвращаясь к труду А. А. Потебни, представлявшему собой одну из первых вех нового пути, по которому пошло развитие сравнительного языкознания с последней четверти XIX в., следует заметить, что труд этот содержит критику еще целого ряда положений современной ему науки и попытки нового разрешения многих вопросов. Так, например, отмечая непоследовательность Курциуса в освещении проблемы корня, Потебня предлагает следующую дифференциацию понятий: „Корень как отвлечение и корень как реальная объективная величина, т. е. как слово (ибо только слово имеет в языке объективное бытие), суть два совершенно различные понятия“.[3] Утверждая необходимость действительно исторического подхода к решению этой проблемы, он указывает: „Корни специально-народные (греч., слав. и пр.) и корни общеиндоевропейские суть не более, как необходимые (каждая на своем месте) посылки начатого языкознанием, но не доведенного до конца умозаключения о корнях как действительных словах, о свойствах языка, неизвестного нам исторически. О таких корнях, конечно, нельзя сказать, что с них

---

[1] Там же, стр. 62.

[2] H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, I. Leipzig, 1878, стр. XV.

[3] А. А. Потебня. *Из записок по русской грамматике*, т. I, стр. 21.

началось создание языка (Curtius, Zur Chronologie etc., 17); ими только кончается наше знание строения языка. Кто же думает, что он довел исследование хотя одной какой-либо частности до самого конца, кто, например, в значении корней, добываемом ныне языкознанием, усматривает действительные свойства первобытного языка, тот принимает средство за цель, подмостки за самое здание“.[1]

Подобного рода высказывания Потебни явственно свидетельствуют о его настойчивом стремлении отмежеваться от наивных установок индоевропеистов первого периода, искавших в индоевропейском праязыке идеализированное ими „первобытное состояние“ человеческой речи. Подчеркивая исторический характер понятия „корень“, Потебня содействовал развитию новых взглядов на развитие структуры индоевропейского слова, хотя некоторые его высказывания по этим вопросам сохраняли еще известную связь с глоттогоническими гипотезами предшествующей компаративистики.

К числу открытий Потебни, способствовавших развитию научного подхода к анализу языковых явлений, относится требование рассматривать факты языка в их взаимосвязи, иначе говоря, выдвижение понятия языковой системы. Так, например, мы читаем: „Когда я говорю — «я кончил», то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма «кончал», имеющая значение несовершенное. То же и наоборот. Случаи, в которых совершенность и несовершенность приурочены к двум различным звуковым формам, поддерживают в говорящем наклонность различать эти значения и там, где они не различены звуками. Следовательно, говоря «женю» в значении или совершенном, или несовершенном, я нахожусь под влиянием рядов явлений, образцами которых могут служить «кончаю» и «кончу». Чем совершеннее становятся средства наблюдения, тем более мы убеждаемся, что связь между отдельными явлениями языка гораздо теснее, чем кажется“.[2] И далее: „. . . нет формы, присутствие и функции коей узнавались бы не иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке“.[3] Это положение, свидетельствовавшее о значительном углублении

[1] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I, стр. 30.

[2] Там же, стр. 48.

[3] Там же, стр. 49.

понимания характера структуры языка и предвосхищавшее последующие достижения языковедной науки, Потебня применил в практике своих грамматических исследований.

В задачи данного обзора не входит рассмотрение положительных сторон и серьезных теоретических недостатков грамматического учения Потебни, произведшего „переворот в грамматических теориях, которыми до него питалась наука о русском языке“.[1] Следует лишь заметить, что теория грамматической формы у Потебни при всей глубине и тонкости сделанных им наблюдений пронизана субъективно-идеалистическим психологизмом в трактовке языковых явлений,[2] гумбольдтианским воззрением о творчески-индивидуальном характере каждого акта речи.

Что касается его учения об историческом развитии частей речи, то в нем еще очень явно ощущаются связи с предшествующей научной традицией. Метафизически отождествляя „глагольность“ с „предикативностью“, Потебня считал глагол в личной форме (verbum finitum) как бы идеальным воплощением предиката. „Мы замечаем, — писал он, — что в арийских языках главное, независимое от другого предложение (кроме случаев опущения) невозможно без глагола в тесном смысле, т. е. за исключением причастных форм, и что сам по себе такой глагол составляет предложение. Поэтому, определивши такой глагол, мы тем самым определили minimum предложения этих языков“.[3]

В этой точке зрения на глагол как центр предложения несомненно сказалось влияние взглядов Гумбольдта, а также не изжитых еще традиций старой логической грамматики.

Содержание процесса исторического изменения предложения в славянских и шире — вообще в индоевропейских — языках Потебня сводил к постепенному нарастанию „глагольности“ и постепенной ликвидации унаследованного, как он полагал, от древности безразличия субъекта и предиката, субъекта и атрибута, субъекта и объекта. В качестве древнейшей ступени или стадии развития индоевропейских языков Потебня выдвигал своеобразный „именной строй“, причем древнее имя, потенциально включавшее в себя признаки развившихся

---

[1] В. В. Виноградов. Современный русский язык. Грамматическое учение о слове, вып. I. М., 1938, стр. 6.

[2] См.: В. В. Виноградов. Современный русский язык, вып. I, стр. 19—21.

[3] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I, стр. 101.

позднее самостоятельных частей речи — существительного, прилагательного, глагола, — ближе всего напоминало причастие („первообразное причастие“) и могло выступать в функции любого члена предложения. В ходе своего дальнейшего развития части речи, соответствуя определенным членам предложения, должны были все более и более обособляться друг от друга и глагол как идеальный выразитель категории предиката все более и более превращается в центр предложения.

Эта концепция составила основной стержень грамматических исследований Потебни, и он старался обосновать ее преимущественно с помощью славянских языковых материалов. Опираясь на весьма поздние в историческом отношении факты, он предлагал установить различные периоды или, иначе говоря, „стадии“ развития строя предложения (древний именной строй, древняя ступень глагольного предложения, новая ступень глагольного предложения).[1]

Своим абстрактно-прямолинейным схематизмом теория эта в значительной мере еще была связана с глоттогоническими построениями ранних компаративистов. Пытаясь на исторически очень позднем лингвистическом материале обнаружить явственные следы генетически ранних этапов развития грамматического строя, Потебня допускал анахронизм, произвольно объединяя „синтаксические явления разных хронологических планов и разного конструктивного значения“.[2] Установленное им понятие „minimum'а определения предложения“ неизбежно приводило к „субъективному искажению исторической перспективы“.[3] Поэтому, несмотря на историческую правдоподобность его отдельных гипотез относительно генезиса грамматических категорий в индоевропейских языках, несмотря на широту привлеченных им материалов и тонкость наблюдений, концепция в целом в известной мере нарушает принцип историзма в лингвистическом исследовании. Подобно своим предшественникам Потебня надеялся с помощью сконструированной схемы сразу осветить всю историю становления грамматического строя индоевропейских языков, привлекая обширный материал преимущественно в порядке иллюстрации несколь-

---

[1] См. критику этой концепции в статье В. В. Виноградова „Учение А. А. Потебни о стадиальности развития синтаксического строя в славянских языках“ (Вести. Московск. унив., № 3—4, 1946).

[2] Там же, стр. 3.

[3] Там же.

ких исходных положений. В этом отрыве творческого взлета теоретической мысли Потебни от изучения лингвистических фактов во всей их исторической полноте состоит слабость его историко-грамматических построений. Но в то же время необходимо подчеркнуть, что в отличие от большинства своих современников Потебня смело пытался вскрывать исторические закономерности развития грамматического строя индоевропейских языков и в обосновании своих выводов на материале конкретных лингвистических фактов он далеко ушел от глоттогонических гипотез Боппа и Шлейхера. Также необходимо подчеркнуть несомненное новаторство Потебни не только в постановке ряда коренных вопросов грамматической теории, но и в разработке той области сравнительного языкознания, которая до этого оставалась наиболее слабым участком. Эта область — сравнительный синтаксис группы родственных языков. С удивительной глубиной проникновения в сущность наблюдаемых фактов Потебня показал историческое развитие форм составного сказуемого и некоторых других категорий предложения на богатейшем материале славянских языков, широко привлекая факты языков балтийских (литовского и латышского) и постоянно учитывая при этом общую перспективу развития грамматического строя всей индоевропейской лингвистической группы в целом.

К этой же области относилось и выдающееся исследование безвременно умершего талантливого ученика Потебни А. В. Попова — „Сравнительный синтаксис именительного, звательного и винительного падежей в санскрите, зенде, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянском наречиях“.[1] Взяв в качестве исходной точки положение Курциуса о „двух слоях“ индоевропейских падежей, Попов не остановился на повторении во многом еще наивных, не облеченных в плоть и кровь конкретного лингвистического материала построений заслуженного немецкого компаративиста. Основная часть обширного труда А. В. Попова, посвященная анализу семантики винительного падежа в индоевропейских языках, представляет собой чрезвычайно интересное, построенное на большом фактическом материале и богатое мыслями исследование, охватывающее целый ряд вопросов, связанных с ролью винительного падежа в предложении, в частности вопрос о залогах.

[1] Филолог. зап., Воронеж, 1879—1881.

Начавшие выходить с 1871 г. „Синтаксические исследования“[1] выдающегося немецкого компаративиста Б. Дельбрюка, послужившие основой для его обобщающего труда по сравнительному синтаксису индоевропейских языков,[2] носили в сравнении с трудами А. А. Потебни и А. В. Попова более описательный характер. Они не содержали тех смелых попыток вскрыть исторические закономерности развития структуры предложения группы родственных языков, которые были характерны для работ Потебни и Попова. Однако и те и другие знаменовали значительное достижение сравнительно-исторического языкознания, которое к началу 80-х годов XIX в. завершало переход от умозрительных гипотез, навеянных идеалистическим пониманием процессов языкового развития, на почву детального исследования конкретных лингвистических фактов во всем их историческом многообразии.

В период 70—80-х годов особенно интенсивно развернулась работа в области сравнительной фонетики индоевропейских языков. Этому содействовало углубление изучения физиологической стороны процесса речевой деятельности,[3] обеспечивавшее бóльшую точность набюдений и выводов в отношении фактов звуковой эволюции. Открытия в этой области, следуя шаг за шагом, укрепляли понятие закономерности звуковых изменений и постепенно устраняли господствовавшие прежде представления о случайности и спорадичности звуковых сдвигов.

Правда, установление постоянных звуковых соответствий являлось с самого начала неотъемлемым элементом сравнительно-исторических изысканий. Поэтому естественно, что в ходе сопоставления фактов родственных между собой индоевропейских языков уже с первых десятилетий XIX в. постепенно накапливались наблюдения историко-фонетического характера. Открытие закона германского передвижения согласных, осветившее историческое соотношение системы консонантизма германских с системами консонантизма других индоевропейских языков, составило один из отправных моментов для выработки научного подхода к вопросам сравнительной фоне-

---

[1] B. Delbrück. Syntaksische Forschungen. Halle, 1871—1888.

[2] B. Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1893—1900.

[3] См.: E. Sievers. Grundzüge der Lautphysiologie zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1876.

тики, хотя сам закон был сформулирован открывшими его Раском и Гриммом еще недостаточно четко. К середине XIX в. уже были очерчены общие контуры звуковых соответствий между отдельными группами индоевропейских языков. Однако регулярность этих соответствий нарушалась множеством исключений, которые укрепляли в языковедах этого периода убеждение в том, что наряду с закономерными изменениями звуковая сторона языка подвержена всевозможным спорадическим сдвигам, которые, совершаясь независимо друг от друга, делают невозможным строгий учет и объяснение многообразия существующих между языками звуковых соотношений. Лишь во второй половине XIX в. ряд последовательных открытий в области исторической фонетики привел к коренному перелому научных воззрений по этому вопросу и заставил языковедов обратить специальные усилия на установление закономерностей, определяющих так называемые исключения.

В течение долгого времени большая неясность господствовала при рассмотрении соответствий смычных согласных между отдельными группами индоевропейских языков. Давно установленным правилом являлось соответствие древнеиндийских звонких аспирированных (*bh*, *dh*, *gh*) греческим глухим аспирированным (φ, ϑ, χ) и германским простым звонким смычным (ср. др.-инд. bhárāmi, греч. φέρω, гот. baira 'несу', и т. д.), древнеиндийских звонких смычных таким же звонким смычным (*b*, *d*, *g*) греческого языка и глухим смычным (*p*, *t*, *k*) германских языков и, наконец, древнеиндийских глухих смычных глухим смычным (*p*, *t*, *k*) греческого и щелевым звукам (*f*, *þ*, *h*) германских языков. Однако в целом ряде слов соотношение это оказывалось нарушенным и соответствия между отдельными языками носили, казалось, совершенно беспорядочный характер. Так, например, др.-инд. bandháḥ 'лента', 'завязка', ср. нем. Band, др.-инд. bándhuḥ 'родственник' (от того же корня) и греч. πενθερός 'тесть', 'родственник'; др.-инд. bāhúḥ 'рука', ср. греч. πῆχυς 'локоть'; κεφαλή 'голова' и др.-в.-нем. gebal 'верхушка'; др.-инд. dádhāmi и греч. τίθημι 'кладу', 'помещаю' и т. д.

Загадка эта полностью разъяснилась, когда в 1863 г. известному немецкому филологу (и математику) Грасману[1]

[1] См.: H. Graßmann. Über die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An- und Auslaute der Wurzeln. Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., Bd. XII, 1863.

удалось открыть закон диссимиляции, согласно которому в древнеиндийском и древнегреческом языках два соседних слога не могли начинаться аспирированными согласными и поэтому первый из этих согласных должен был утрачивать придыхание. Кажущаяся непоследовательность соответствий разъясняется путем восстановления более древних форм — *bhandháḥ и *bhándhuḥ для др.-инд. bandháḥ и bándhuḥ, *φενθερός для греч. πενθερός, *dhádhāmi и *θίθημι для др.-инд. dádhāmi и греч. τίθημι и т. д. Утеря аспирации первым согласным создает здесь видимость нарушения правильности звуковых соответствий. Однако фактически мы здесь не имеем никакого „исключения“ из правила, а лишь перекрещивание одной закономерности (общей закономерности соответствия звуков, отражающих в отдельных группах индоевропейских языков общеиндоевропейские смычные аспирированные) другой, более поздней, определившей позиционное чередование аспирированных смычных с простыми в древнеиндийском и древнегреческом языках.

Большое теоретическое значение имело открытие так называемого закона Вернера, пролившего свет не только на загадочные исключения из закона германского передвижения согласных, но также и заострившего внимание на вопросах исторической акцентологии.

Согласно закону первого передвижения согласных, общеиндоевропейским глухим смычным (*p*, *t*, *k*) в германских языках соответствуют глухие щелевые (*f*, *þ*, *h*). Ср. др.-инд. páçu, лат. pecu, лит. pẽkus 'скот', но др.-в.-нем. fihu 'скот', гот. faihu 'имущество'; др.-инд. tráyas, греч. τρεῖς, лат. trēs, русск. **три**, лит. trỹs, но гот. þreis 'три'; греч. δέκα, лат. decem, но гот. taihun, др.-в.-нем. zehan 'десять', и т. д.

Однако в ряде случаев выступают исключения из этой схемы соответствий, которые долго смущали языковедов и внушали им мысль о спорадичности звуковых сдвигов. Так, например, совершенно непонятным казалось, почему рядом с правильным соответствием общеиндийского **t* германскому *þ* в таком слове, как гот. broþar 'брат' (ср. др.-инд. bhrātar-, лат. frater, ст.-слав. **братъ** и т. д.), в гот. fadar 'отец', др.-сакс. fader и т. д. (ср. др.-инд. pitár-, греч. πατήρ) выступал звонкий звук *d* (исторически спирант **đ*); почему рядом с правильным соответствием германского спиранта *h* в числительном гот. taihun, др.-в.-нем. zehan 'десять' общеиндоевропейскому **k*, сохранившемуся в греч. δέκα, лат. decem, существительное „десяток“ — гот. *tigus (ср. имен. п. мн. ч.

tigjus), др.-исл. tigr, др.-англ. -tig (ср. греч. δεκάς) — содержит звонкий взрывной (исторически звонкий спирант *γ), и т. д.

Эта группа исключений была изучена и объяснена датским лингвистом К. Вернером, который опубликовал свое открытие в 1877 г.[1]

Согласно объяснению Вернера, глухие спиранты *f*, *þ*, *h*, возникшие в германских языках из общеиндоевропейских **p*, **t*, **k*, сохранились внутри слова лишь в тех случаях, когда древнее индоевропейское ударение приходилось на гласный, непосредственно предшествующий спиранту; если же ударение следовало за этим спирантом или предшествовало ему на два слога, то он (глухой спирант) переходил в соответствующий звонкий. При таких же условиях происходило и озвончение глухого спиранта *s*.[2]

Сравнение с др.-инд. bhrātar- и pitár-, сохранившими древнюю общеиндоевропейскую акцентуацию, наглядно показывает обусловленность чередования германских *þ* и *d* (**đ*) в словах гот. brōþar и fadar расположением ударений в ту далекую эпоху, когда германские языки еще не успели закрепить ударение за корневым слогом.

Открытие Вернера очень способствовало утверждению научного взгляда на закономерности развития звуковой стороны языка. Кроме того, оно указывало на важность изучения исторической хронологии звуковых изменений, а также на тесную взаимосвязь отдельных типов изменений (в данном случае — связь явлений в области консонантизма с характером ударения). В свете таких открытий постепенно вырабатывалось и укреплялось научное понимание соотношения различных сторон звуковой системы.

Одним из наиболее трудных вопросов сравнительной фонетики индоевропейских языков являлся вопрос о заднеязычных согласных. Сложность соответствий между отдельными группами языков, — хотя бы тот факт, что одной части греческих, латинских, кельтских и германских заднеязычных в индо-

---

[1] K. Verner. Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung. Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., Bd. 23, 1877.

[2] В настоящее время закон этот получает несколько иную формулировку. Ср. у А. Мейе: „Свистящий *s и спиранты *f, þ, X, X^w стали звонкими между двумя звонкими элементами, из которых один является гласным первого слога в слове, в том случае, если озвончению не препятствовало унаследованное из индоевропейского ударение, падавшее на этот слог“ (Основные особенности германской группы языков. Перевод с 5-го франц. изд., М., 1952, стр. 47).

иранских, славянских и балтийских языках отвечают свистящие или шипящие звуки (ср. греч. ἑκατόν, лат. centum, др.-ирл. cēt, гот. hund, 'сто', но др.-инд. çatám, авест. satəm, ст.-слав. **съто**, лит. szim̃tas), а другой части — тоже заднеязычные (ср. греч. κρέας 'мясо', лат. cruor, др.-ирл. crū 'кровь', др.-исл. hrār 'сырой' и др.-инд. kravih 'сырое мясо', ст.-слав. **кръвь** 'кровь'), в некоторых случаях подвергнувшиеся палатализации (ср. лат. coquō из *pek^{w}ō 'варю', 'пеку' и русск. **пеку, печет**, др.-инд. pacati 'печет'), — не могла не привлекать к себе внимания исследователей.

Еще Бопп отмечал, что арийские (т. е. индоиранские) и балто-славянские языки имеют спирант там, где греческий, латинский и кельтский имеют старое *k*. На этом основании он предполагал наличие более тесных связей между арийскими и балто-славянскими языками. Первоначальным общеиндоевропейским звуком он считал *k*.

Шлейхер, исходя из своей концепции „органической стройности" и гармонической „простоты", якобы характеризовавших звуковой состав индоевропейского „праязыка", реконструировал для него только один ряд заднеязычных звуков: *k*, *g*, *gh*. Проявляющиеся в отдельных группах индоевропейских языков сходства и различия в отражении древних заднеязычных он полагал не имеющими никакого значения для реконструкции общеиндоевропейского исходного состояния звуковой системы и с наивной прямолинейностью считал их результатом совершившегося независимо в каждой из этих групп „расщепления" первоначально „единых" **k*, **g*, **gh*. Вопрос о причинах такого „расщепления" не ставился. Гипотеза о „расщеплении" являлась для компаративистов этого времени универсальным объяснением для целого ряда явлений из области исторической фонетики.

Однако наступило время, когда такой подход к решению вопросов языковой истории уже не мог удовлетворить представителей языковедной науки, научившихся глубоко вникать в детали изучаемых явлений. Новая точка зрения на проблему индоевропейских заднеязычных звуков была предложена в 1870 г. известным итальянским лингвистом Г. Асколи.[1] Асколи упорядочил схему соответствий заднеязычных звуков между отдельными группами индоевропейских языков и уже

---

[1] G. I. Ascoli. Corsi di glottologia, v. I: Fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino. Torino e Firenze, 1870.

для общеиндоевропейского состояния установил наличие трех различных рядов заднеязычных: 1) „чистые" заднеязычные, сохраняемые в отдельных языках (подвергнувшиеся позднее палатализации в соответствующих условиях в индоиранской и славянской языковых группах) — тип индоевр. $*k$; 2) „палатально аффицированные" (с помощью особых паразитарных звуков типа *i*) заднеязычные — тип индоевр. $*k^{i}$; в одной части индоевропейских языков представлены как чистые задпеязычные (греч., итал., кельт. *k*, герм. *h*), в другой части — как спиранты (др.-инд. *ç*, авест. *s*, лит. *sz*, слав. *s*); 3) „неопределенно аффицированные" заднеязычные—тип индоевр. $*k^{y}$, сохранившиеся как чистые заднеязычные (с возможностью последующей палатализации) в индоиранских и славянских языках и как лабиальные в греческом (со следами „палатальной аффекции"), италийских и германских языках.

Конечно, схема Асколи далеко не во всем была точна, но она послужила основой для дальнейших исследований этого вопроса, составляющего одну из наиболее сложных проблем сравнительной фонетики, а также имеющего исключительно важное значение для исторической классификации индоевропейских языков (деление на группы centum и satəm по признаку отражений палатального ряда заднеязычных). Некоторые языковеды продолжали развивать точку зрения Асколи о наличии в праиндоевропейском языке трех рядов заднеязычных согласных — палатального, велярного и лабиовелярного (Бругман, Остгоф, Педерсен), другие реконструировали всего два ряда (Фик, Фортунатов, Мейе, в настоящее время Курилович). До сих пор вопрос этот не может считаться окончательно разрешенным. Однако основные закономерности соответствий заднеязычных согласных и их развития в отдельных группах индоевропейских языков были установлены именно в эпоху 70—80-х годов прошлого века наряду с другими важнейшими открытиями в области исторической фонетики.

В предшествующей главе мы уже останавливались на том значении, какое имело открытие закона палатализации[1] для опровержения ошибочной концепции Шлейхера и его современников относительно „праязыковой древности" индоиранского гласного *a*, для доказательства того, что в индоиранских

[1] См.: H. Collitz. Die Entstehung der indo-iranischen Palatalreihe. Bezzenberger's Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen, 1879; J. Schmidt. Zwei arische a-Laute und die Palatalen. Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., Bd. XXV, 1881.

языках некогда существовал гласный переднего ряда (типа *e*), соответствующий звуку *e* греческого, латинского, славянских, кельтских и других языков.[1]

Теория индоевропейского вокализма явилась одним из основных предметов дискуссии между представителями старого и нового поколений компаративистов, разгоревшейся в 70—80-х годах XIX в. В то время как Курциус пытался защищать не обоснованную на фактах и явно устаревшую гипотезу о „расщеплении" единого праязыкового гласного *a* на три различных гласных (*a*, *e*, *o*) в западной части индоевропейского лингвистического единства,[2] лейпцигские младограмматики и другие представители молодого в то время поколения языковедов-историков решительно выдвигали новую концепцию общеиндоевропейского вокализма, сохранившую свое научное значение до настоящего времени. Согласно этой концепции, гласный типа *e* существовал уже в общеиндоевропейскую эпоху и находился в чередовании с гласным типа *o*.

Изучение закономерностей древнего индоевропейского чередования гласных (аблаута) также явилось достижением компаративистики последней четверти XIX в. Проблема в целом получила детальное освещение в выдающемся труде Ф. Соссюра о первичной системе индоевропейских гласных звуков.[3] Существенную роль при этом сыграло сделанное Остгофом и Бругманом открытие того, что индоевропейские плавные и носовые звуки могли, при отсутствии ударения, выступать в слогообразующей функции. Греческий аорист ἔ-δρακ-ον 'я увидел' (ср. δέρκομαι 'смотрю'), точно соответствующий аналогичной древнеиндийской форме á-dr̥ç-am (корень darç- 'смотреть'), возводится, таким образом, к более древнему *e-dr̥k-on и оказывается образованным по совершенно тому же типу, что и греческий аорист ἔ-λιπ-ον 'я оставил' (ср. наст. вр. λείπ-ω 'оставляю'). Сонант *r̥* оказался, следовательно, совершенно аналогичным в функциональном отношении полугласному *i̯*, который, в сочетании с основным гласным *e*, выступает как второй элемент дифтонга (λείπ-ω), а в неударном положении оказывается в роли самостоятельного гласного (так называемая „нулевая ступень" чередова-

---

[1] См. стр. 55.

[2] G. Curtius. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, стр. 90—129.

[3] F. de Saussure. Memoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.

ния). Такая функция является характерной для всех индоевропейских сонантов, в число которых на равных правах включаются и звуки **i̯* (**y*), **u̯* (**w*).

Уточнение различных типов отражения слогообразующих сонантов по отдельным индоевропейским языкам [например индогерм. **n̥* отражается в др.-инд., др.-иран. и греч. как *a*, в лат. *en*, в ст.-слав. ѧ, ъ, в лит. *iñ*, *uñ*, в герм. (гот. и др.) *un* и т. д.] значительно углубило познание исторических закономерностей развития звуковой системы этих языков, дало возможность объяснить целый ряд морфологических явлений и способствовало установлению более четких соответствий в области этимологии.

Для изучения индоевропейских сонантов большое значение имело исследование Ф. Ф. Фортунатова, посвященное вопросу о сочетании звука *l* с зубным звуком в древнеиндийском языке.[1]

Компаративисты старой школы, опираясь на факт частого соответствия звука *r* в ведийском древнеиндийском (и постоянного соответствия в древнеиранских) звуку *l* других индоевропейских языков, пытались утверждать, что в общеиндоевропейском языке не существовало звука **l* и что он появился в части индоевропейских языков лишь позднее, в результате „расщепления" звука **r* на *r* и *l*. Этой точки зрения придерживался еще Курциус в 1885 г.[2]

Фортунатов доказал, что характерному для европейских языков делению на *r* и *l* есть фонетическое соответствие и в древнеиндийском, открыв закон, согласно которому *l* в древнеиндийском выпадало перед зубным согласным, в то время как *r* + зубной согласный сохранялось. Зубной согласный, перед которым выпало *l*, превращался в какуминальный. Ср. др.-инд. kuṭhāra 'топор', лат. culter 'нож', лит. kùlti 'молотить'; др.-инд. vaṭa, vaṭī 'веревка', лит. wáltis 'пряжа', 'рыболовная сеть'; русск. **волоть** 'нить'; др.-инд. mūrdhán 'голова', англосакс. molda 'голова', и т. д.

Помимо этого, Фортунатов выдвинул предположение, согласно которому случаи соответствия санскритского *r*

---

[1] Ph. Fortunatov. L + dental im Altindischen. Bezzenberger's Beiträge, Bd. VI, 1882. На русском языке: Индоевропейские плавные согласные в древнеиндийском языке. Χαριστηρια — сборник в честь Ф. Я. Корша, М., 1896. См. также: Ph. Fortunatov. Über die schwache Stufe des urindogermanischen a-Vokals. Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., Bd. XXXVI.

[2] G. Curtius. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, стр. 93.

европейскому *l* (ср., например, санскр. sūryaḥ, ст.-слав. **слъньце**, лат. sol) восходят к общеиндоевропейскому неопределенному плавному звуку, который он обозначал посредством *λ.

К последним десятилетиям XIX в. относится также начало разработки такой важной области сравнительной фонетики индоевропейских языков, как историческая акцентология. Очень большое влияние на развертывание сравнительно-акцентологических изысканий оказали основополагающие труды Ф. Ф. Фортунатова по вопросам ударения в балтийских и славянских языках, начавшие появляться с 1880 г.[1]

Мы кратко остановились лишь на некоторых исследованиях, имевших первостепенное значение для общей сравнительной грамматики индоевропейских языков. Однако не меньшее теоретическое значение имела та огромная работа, которая была проделана по изучению исторической фонетики отдельных языков. Установление множества частных закономерностей звуковой эволюции, действовавших в различных языках и в различные эпохи их истории, чрезвычайно способствовало углублению научного понимания характера процессов языкового развития.

Вопросы исторической морфологии индоевропейских языков также получили детальное освещение в ряде специальных сравнительно-грамматических исследований. Характерной чертой морфологических изысканий, производившихся языковедами последней четверти XIX в., была установка на изучение конкретных лингвистических фактов, отказ от тех слишком широких, оторванных от реального исторического материала гипотез, которыми увлекались компаративисты старших поколений, и переход к тщательному анализу деталей развития грамматической структуры отдельных языков.

Изучение истории отдельных языков и языковых групп, прослеживаемой по материалам письменных памятников на протяжении ряда веков вплоть до современного их состояния, имело особенно большое значение для формирования новых научных взглядов на процессы языкового развития. Характерно, что один из основателей младограмматического направления, К. Бругман, свою вступительную лекцию (akade-

---

[1] Ph. Fortunatov. Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslavischen Sprachen. Arch. für slavische Philolog., Bd. IV, XI. — Ф. Ф. Фортунатов. Об ударении и долготе в балтийских языках, I. Ударение в прусском языке. Русск. филолог. вестн., 1895 и др.

mische Antrittsvorlesung), прочитанную во Фрейбургском университете перед широкой научной аудиторией, посвятил вопросу о сближении языкознания в узком смысле слова (собственно сравнительного языкознания) с филологией.[1] Языкознание, подчеркивал Бругман, приблизилось к филологии в особенности потому, что оно стало все больше и больше погружаться в рассмотрение жизни, развития индоевропейских языков, каждого в отдельности. Сравнительное языкознание при правильном понимании его задач должно в такой же мере заниматься материалами отдельных языков, как и любая частная филология.

Тут же указывалось, что для того, чтобы вообще понять причинную связь языковых явлений, следует прежде всего обращаться к новым и новейшим фазам развития языков, в особенности к „непосредственной действительности родного языка“, и лишь затем уже можно познанное здесь проецировать в далекое прошлое.[2]

Большое значение для формирования нового понимания характера процессов языкового развития имело развертывание работы по диалектологии. Изучение живых языков и территориальных диалектов выводило языковедов из области гипотез относительно первобытного строения индоевропейских „праформ“, якобы создававшихся в „органический период“, на широкие просторы наблюдений над реальными фактами языкового развития.

Успехи славистики и романистики — областей языкознания, преимущественно имевших дело с материалами живых языков, — сыграли очень большую роль в разработке принципов историко-лингвистического исследования, сложившихся в последней четверти XIX в. Хотя полем деятельности таких языковедов, как Фр. Диц, Фр. Миклошич, И. И. Срезневский, А. А. Потебня и другие, были частные разделы языковедной науки, однако общетеоретическое значение проделанной ими работы по изучению конкретной истории отдельных языков и диалектов было огромно.

Из работ по германистике большое влияние на формирование нового подхода к изучению языковых фактов оказал скромный труд швейцарского учителя И. Винтелера, издавшего в 1876 г. добросовестное описание своего родного

---

[1] K. Brugmann. Sprachwissenschaft und Philologie. В сборнике статей: Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft, Straßburg, 1885.

[2] Там же, стр. 36.

диалекта.[1] На наблюдения Винтелера опирались младограмматики, полемизируя с языковедами старой школы.[2]

В противоположность компаративистам старшего поколения, ориентировавшим сравнительное языкознание прежде всего на изучение санскритских грамматических форм как якобы наиболее близких к праязыковому „идеалу", младшее поколение языковедов, формулируя общетеоретические установки нового лингвистического направления, подчеркивало, что „такие языковые области, как германская, романская, славянская, вернее всего могут содействовать выработке методологических принципов сравнительнего языкознания".[3]

Цели борьбы с отжившими установками старого сравнительного языкознания остро формулировали языковеды, принимавшие непосредственное участие в разработке теоретических принципов нового научного направления. Так, например, представители младограмматической школы (возникшей в кругу молодых лейпцигских языковедов) утверждали: „Старое языкознание... подошло к своему предмету исследования, к индогерманским языкам, не составив себе предварительно ясного представления о том, как человеческий язык вообще живет и развивается, какие факторы участвуют в речевой деятельности и как эти факторы обусловливают дальнейшее развитие и преобразование языкового материала".[4] И далее выдвигалось требование выйти из „задымленных туманными гипотезами мастерских, где куются индогерманские праформы, на свежий воздух ощутимой действительности и современности, чтобы научиться тому, чему никогда не научит седая теория".[5] Что касается восстанавливаемых индоевропейских праформ, то их достоверность может зависеть прежде всего от того, „соответствуют ли они правильному представлению о развитии языковых форм и выведены ли они на основе правильных методических предпосылок"[6].

Сущность произошедшего в сравнительном языкознании в течение 70—80-х годов XIX в. переворота правильно оце-

---

[1] J. Winteler. Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus. Leipzig u. Heidelberg, 1876.

[2] См.: B. Delbrück. Die neueste Sprachforschung. Leipzig, 1885, стр. 14.

[3] H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen..., Bd. I, стр. VII.

[4] Там же, стр. III.

[5] Там же, стр. X.

[6] Там же, стр. VI.

нивали те из представителей последующей компаративистики, которые продолжали и далее развивать разработанные в эти годы принципы тщательного и детального сравнительно-исторического анализа конкретных языковых фактов. Так, например, в „Очерке развития сравнительной грамматики" А. Мейе мы читаем: „В связи с тем, что стал изучаться весь ряд текстов от самых древних языков до современных говоров и складывались сравнительные грамматики языков романских (Диц, Г. Парис, Шухардт), славянских (Миклошич), германских и т. д., утрачивалось представление, будто предмет лингвистических изысканий сводится к объяснению первоначальных форм, и укреплялось стремление прослеживать эволюцию каждого данного языка. Все более углублявшееся изучение современных языков, во всех их видах, позволяло составить себе более верное представление о языковом развитии, и на индоевропейский язык начал устанавливаться взгляд как на язык относительно древний, но отнюдь не первобытный. С другой стороны, приемы доказательства, применяемые для установления положительных фактов в истории языков, оказывались бессильными подтвердить точность анализа индоевропейских форм, и по мере того, как эти приемы становились все более строгими, оказывалось все труднее скрывать от себя невозможность изыскивать доказательства для объяснения грамматических форм индоевропейской эпохи. После 1875 г. такого рода объяснения уже более не встречаются в новых изданиях: окончательно порывается связь между концепциями XVIII века и концепциями сравнительной грамматики. Сравнительная грамматика индоевропейских языков уже более не имеет своим объектом воображаемый органический период языка, период образования, о котором доподлинно ничего не известно; она продолжает только, в несколько более отдаленном прошлом, изыскания романистов, германистов, кельтистов, славистов, иранистов и т. д., получая результаты того же порядка и теми же методами".[1]

Новое направление в языкознании создавалось усилиями языковедов различных стран. Одним из основных положений этого направления, полемически заострявшимся в борьбе с пережитками старых методов лингвистического исследования, было положение о причинной обусловленности языковых явлений. Формулируя требования, предъявляемые к научной

[1] А. Мейе. Введение. . ., стр. 458—459.

работе в области языкознания, И. А. Бодуэн-де-Куртенэ писал: „Только та наука может быть названа истинной наукой, которая на каждом шагу соблюдает в своих выводах самую строгую и взыскательную точность и не пускается ни на какие фантазерства. Каждый научный человек, в том числе и исследователь языка, должен проникнуться убеждением, что нет ни одного явления, которому не было бы причины, которое не было бы обусловлено необходимостью, все равно — известна ли нам эта причина и понятна ли нам в данном случае эта необходимость, или же нет. Все в природе, а следовательно и в языке, «причинно», «естественно», «законно», «рационально». В языке нет никакого произвола“.[1]

Практика лингвистических исследований как в области сравнительной грамматики, так и в области истории конкретных языков настоятельно диктовала необходимость первоочередной разработки вопроса о закономерности совершающихся в языках звуковых изменений. Без установления строгой системы звуковых соответствий между родственными языками, а также между формами одного и того же языка в различные периоды его развития невозможно было претендовать на точность соответствий, устанавливаемых в области морфологии, невозможно было развертывать дальше этимологические изыскания. „Только тот имеет при своем исследовании твердую почву под ногами, кто строго держится за звуковые законы, этот основной устой нашей науки“,[2] — писали представители младограмматической школы, наиболее заострившие значение проблемы звуковых законов. Эта точка зрения противопоставлялась беспорядочной исследовательской практике языковедов старой школы, которые без всякой нужды, в угоду априорным конструкциям допускали возможность немотивированных исключений из звуковых законов, действующих в том или ином языке, признавали возможность лишь частичного охвата языкового материала действием этих законов и усматривали в единичности и немотивированности звуковых переходов нормальное состояние языка.

Неслучайно поэтому вопрос о звуковых законах занял одно из центральных мест не только в проблематике конкретных лингвистических исследований 70—80-х годов, но также

---

[1] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Несколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков. СПб., 1882, стр. 12.

[2] H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen. . ., стр. XIV.

и в той горячей полемике, которая разгорелась между представителями старого и нового направлений в языкознании.

С наибольшей полемической остротой вопрос этот формулировался группой немецких языковедов, выступавших под названием младограмматиков. Однако аналогичные взгляды как по этому, так и по ряду других вопросов языковедной теории в это же время совершенно независимо развивались и учеными других стран (так, например, Казанской лингвистической школой в России).

Один из первых образцов строгого применения положения о закономерности звуковых изменений в сравнительно-грамматических исследованиях был дан в сочинении основателя младограмматической школы известного слависта А. Лескина „Склонение в славянско-литовском и германском языках".[1] „В своем исследовании, — писал Лескин, — я исходил из принципа, что дошедшая до нас форма падежа никогда не основывается на исключении из фонетических законов, соблюдаемых в других случаях".[2] Перекрестное действие различных звуковых законов не снимает положения о том, что каждый из этих законов сам по себе действует без исключений. „Допускать произвольные, случайные, не согласуемые между собой отклонения, это значит, в сущности, признать, что объект исследования, язык, не доступен для науки".[3]

Нельзя недооценивать серьезного методологического значения, которое имело выдвижение и обоснование этого положения для развития сравнительно-исторического языкознания.

При изложении credo младограмматического направления тезис о звуковых законах получил следующую формулировку, подвергшуюся в дальнейшем известным поправкам и уточнениям: „Всякое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, не имеющим исключений, т. е. направление звукового изменения у всех членов одного и того же языкового коллектива всегда одинаково, если не считать случая диалектного разделения, и все слова, содержащие подверженный изменению звук в одинаковых условиях, захватываются изменением без исключений".[4]

---

[1] A. Leskin. Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876.

[2] Там же, стр. XXVIII.

[3] Там же.

[4] H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen. . ., стр. XIII.

Это положение уточнялось в дальнейшем указаниями на определенные хронологические границы действия каждой из устанавливаемых звуковых закономерностей; в конкретных исследованиях выявлялась сложная картина перекрестного взаимодействия различных звуковых изменений, устанавливались случаи влияния так называемой грамматической аналогии, дававшие видимость нарушения правильности звуковых соответствий.

Само понятие звуковых законов стало раскрываться в дальнейшем как констатация „единообразия" (Gleichmäßigkeit) внутри группы определенных исторических явлений.[1]

Излагая основные принципы младограмматического учения, Г. Пауль подчеркивал, что говорить о последовательном действии звуковых законов — это значит указывать, что при наличии одинаковых звуковых условий протекающее внутри одного и того же диалекта звуковое изменение дает во всех отдельных случаях одинаковые результаты.

Характерно, что представлявшаяся вначале соблазнительной аналогия с законами естественных наук очень скоро была признана чисто внешней и неудачной. „Я не могу одобрить, — писал уже в 1880 г. Дельбрюк, — обозначение звуковых законов как законов природных. С химическими или физическими законами эти исторические соответствия явно не имеют ничего общего".[2]

Результаты многочисленных исследований в области исторической фонетики различных языков — исследований, развернувшихся на основе учения о закономерности звуковых изменений в последние десятилетия XIX в., неоспоримо свидетельствуют о большом положительном значении, которое имела разработка этого учения для развития языкознания.

Однако младограмматическая концепция звуковых законов не могла не обнаружить некоторых присущих ей слабых сторон. Не понимая сущности языка как общественного явления и представляя себе тот или иной язык как сумму, механически составленную из множества „индивидуальных языков", младограмматики не могли дать теоретического обоснования своему тезису о „безысключительном действии" звуковых законов. В то же время множество не исследованных еще

---

[1] H. Paul. Prizipien der Sprachgeschichte. Halle, 1880, стр. 55.

[2] B. Delbrück. Einleitung in das Sprachstudium. Leipzig, 1880, стр. 128.

языковых фактов вынуждало признание в том, что „безысключительность звуковых законов индуктивным путем доказана быть не может“.[1]

Формулируя свою теорию звуковых законов, младограмматики иногда подходили к наблюдаемым фактам с прямолинейным схематизмом, не всегда учитывая в должной мере динамику распространения наблюдаемых явлений. Между тем, критики „младограмматической догмы“ настойчиво указывали на типичность таких случаев, как факт постепенности исчезновения звука w(F) в древнегреческих диалектах.

„Звуковой закон, — писал Курциус, — согласно которому исчезало F, образовался лишь с течением времени на основе колеблющихся навыков. Переходный период устанавливается здесь нередко на основе письменных памятников“.[2]

Оперируя (вопреки своим декларациям) преимущественно материалами древних языковых памятников, но не фактами живой разговорной речи и поэтому ограниченные в своих лингвистических наблюдениях, теоретики младограмматической школы не смогли дать классификации возможных типов звуковых изменений. Неуточненным также оказался вопрос о различии между зарождением или спонтанным возникновением звуковых явлений и их распространением в порядке взаимодействия между отдельными диалектами одного и того же языка.

Все это дало основания для резкой критики младограмматической концепции как со стороны компаративистов старшего поколения,[3] так и со стороны представителей других направлений исторического языкознания, призывавших к большему вниманию по отношению к многообразию конкретных языковых фактов.[4]

Острота полемики по вопросу о звуковых законах, разгоревшейся в 80-х годах прошлого века, помимо расхождений принципиального порядка (которые, кстати говоря, не были в большинстве случаев глубоки), в значительной мере определялась раздражением, которое у многих представителей языковедной науки того времени вызывал догматический

---

[1] Там же, стр. 115.

[2] G. Curtius. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, Leipzig, 1885, стр. 27.

[3] Там же.

[4] G. I. Ascoli. Sprachwissenschaftliche Briefe (перевод с итал.). Leipzig, 1887.

тон утверждений лейпцигских младограмматиков. Объявляя, что своим учением о звуковых законах они как бы открыли новую эпоху в развитии языковедной науки, лейпцигские лингвисты нередко забывали о том, что было в этом отношении сделано их предшественниками (в особенности Шлейхером и Курциусом), а также современниками, работавшими в таких областях, как романистика и славистика. Известный итальянский языковед Г. И. Асколи справедливо оспаривал „новизну" младограмматических принципов, указывая, что учение о звуковых законах и некоторые другие положения этой теории давно уже плодотворно применялись при историческом изучении романских языков.[1] Критика, исходившая от романистов, была основана на тщательном наблюдении процессов развития звуковой стороны языка, прослеживаемой по памятникам на протяжении непрерывного ряда веков вплоть до настоящего времени. Потому она принесла несомненную пользу в деле выработки более глубокого подхода к изучению фактов языковой истории.

Под влиянием критики, обращавшейся к ним с разных сторон, младограмматики в значительной мере уточнили свои формулировки по вопросу о звуковых законах, в частности отказавшись от увлекавшей их на первых порах аналогии с законами, действующими в природе. Стало ясно, что проблема звуковых законов далеко не так проста, как это могло казаться вначале, и разработка ее требует всестороннего учета всей полноты фактов и конкретных условий, в которых возникали и распространялись изучаемые явления. В то же время представители младограмматической школы согласились признать преемственную связь своих принципов с выводами предшествующей науки.[2]

В ходе полемики о звуковых законах, продолжавшейся в течение ряда десятилетий,[3] приводилось и приводится множество единичных фактов в качестве примеров нарушения „младограмматической догмы" о безысключительности звуковых законов. Действительно, реальная картина развития фонетической структуры языков выступает в результате

---

[1] G. I. Ascoli. Sprachwissenschaftliche Briefe, стр. 5—6.

[2] Ср. у Бругмана: „Я лично всегда считал новейшие воззрения органическим и последовательным дальнейшим развитием более старых научных устремлений, и эта точка зрения укреплялась во мне из года в год все больше и больше" (K. Brugmann. Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft, стр. 125).

[3] См.: E. Hermann. Lautgesetz und Analogie. Berlin, 1931.

углубленных исследований подчас в несравненно более сложном виде, чем это представлялось в свое время языковедам, разрабатывавшим в 70—80-х годах прошлого века основные принципы историко-лингвистического исследования.

Однако достижения сравнительно-исторического языкознания неоспоримо свидетельствуют о плодотворности постановки вопроса о закономерности развития фонетических явлений, протекающих в конкретных языках в определенные, хронологически ограниченные периоды их истории. Отвечая на критику Курциуса, Бругман справедливо отмечал, что в пользу положения о последовательности звукового развития говорит сам факт уменьшения из года в год числа необъясненных исключений и установления все в большем и большем числе случаев правдоподобных объяснений для иррегулярных явлений.[1]

Следует отметить, что далеко не все критические выступления против младограмматической концепции звуковых законов были плодотворны для дальнейшего развития лингвистической науки. В частности, это надо отнести к известной полемической статье Г. Шухардта, направленной против „младограмматической догмы“.[2]

Исходя из индивидуалистической трактовки речевых явлений, Шухардт отрицал наличие общих закономерностей в развитии языковой структуры и атомизировал факты исторической эволюции звуковой стороны языка, усматривая в них только лишь бесчисленное множество единичных, индивидуальных по своему характеру сдвигов.

Отрицая младограмматический тезис о „неуклонном действии звуковых законов“, Шухардт писал: „Что касается области механических фонетических изменений (я пользуюсь здесь терминологией младограмматистов), то я вижу в них не процессы, облеченные в застывшие формулы, а бесконечную и причудливую игру бесчисленных движущих сил, на фоне которой еще яснее и резче выделяется частное и единичное“.[3] Утверждению младограмматиков о „непреложности“ звуковых законов и невозможности существования „спора-

---

[1] K. Brugmann. Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft, стр. 53.

[2] H. Schuchardt. Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker. Berlin, 1885. Цит. по: Hugo Schuchardt-Brevier. Halle (Saale), 1928.

[3] См.: Hugo Schuchardt-Brevier, стр. 71.

дических звуковых изменений" он резко противопоставил тезис: „спорадические звуковые изменения существуют". „Окажись я вынужденным признать понятие «непреложность», я применил бы его скорее к факту существования спорадических звуковых изменений, чем к звуковым законам, поскольку всякое звуковое изменение на известном этапе является спорадическим".[1]

В утверждениях Шухардта получило яркое выражение неверие в возможность установления объективных законов науки, являющихся отражением объективных процессов, происходящих независимо от воли людей. Для типичного представителя субъективно-идеалистического индивидуализма в языкознании, каким являлся Шухардт, законов развития языка как таковых не существовало. Процессы языковой эволюции сводились им к бесчисленному множеству взаимоперекрещивающихся мелких единичных сдвигов, каждому из которых якобы присущи свои собственные причины индивидуального порядка. В языке Шухардт видел только единичное.

Между тем, каковы бы ни были недостатки учения о звуковых законах, практика историко-лингвистических исследований убедительно показала общую плодотворность этой теории для изучения закономерных процессов развития звуковой стороны языка.

В идущем частично еще от Шухардта давнем споре некоторых представителей лингвистической географии со сторонниками учения о закономерности звуковых изменений истина не лежит на стороне тех языковедов, которые, фактически отрицая понятие диалекта как самостоятельной языковой единицы, атомизируют процессы языкового развития и изучают особую историю звуков в каждом отдельном слове. Несмотря на неизученность многих разделов исторической фонетики конкретных языков, на неразрешенность общего вопроса о причинах звуковых изменений, разработанное в конце XIX в. учение о звуковых законах, выявляющихся в развитии отдельных языков, и огромная масса систематизированных уже в этой области фактов составляют ценное наследие, необходимое для дальнейшей, более углубленной разработки вопросов языкознания.

Убедительную оценку применения понятия звуковых законов и связанных с этим применением неизбежных трудностей

[1] См.: Hugo Schuchardt-Brevier стр. 79—80.

в исследовательской работе дает Л. А. Булаховский: „Примерно семьдесят лет в практике сравнительно-исторической работы языковедов широко применяется понятие фонетических законов. В огромном количестве случаев по отношению к языкам самых различных систем это понятие о господствующей при фонетических изменениях закономерности себя блестяще оправдало. Звуковые соответствия между предшествующим и последующим фонетическим состоянием языка осуществляются последовательно... Ни для кого, однако, из работающих в области исторического или сравнительно-исторического языковедения не тайна, что закономерности фонетических переходов в ряде случаев остаются только постулатом, а реальные факты ставят нас перед необходимостью нередко искать специальных объяснений для отклонений. И здесь, правда, история науки говорит намного больше в пользу постулата безысключительности фонетических законов, нежели против него: не трудно указать многочисленные примеры того, как по мере расширения материала и усовершенствования методов работы многие факты, казавшиеся раньше «исключениями», позже оказывались вполне закономерными. Но далеко не всегда результаты усилий в этом направлении могут считаться увенчавшимися успехом".[1]

Наряду с учением о звуковых законах младограмматики, уже начиная с первых своих выступлений, заострили вопрос о грамматической аналогии как важном факторе языкового развития. Указывая на то, какую роль в развитии языковой структуры играют складывающиеся в сознании ассоциации грамматических рядов, авторы младограмматического credo подчеркивали значение этого положения не только для изучения истории языков в новейшие периоды, но также и для исследования древних и древнейших эпох языковой истории, в объяснении которых предшествующее языкознание удовлетворялось лишь абстрактными гипотезами относительно „органического" строения форм.

„Поскольку выясняется, что ассоциация форм, т. е. новообразование языковых форм путем аналогии, играет очень значительную роль в жизни новых языков, то следует при-

---

[1] Л. А. Булаховский. Вопросы исторического развития языка в свете работ И. В. Сталина по языкознанию. Сб. „Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина", М., 1952, стр. 228—229.

знать наличие этого типа языковых новообразований также для древних и древнейших периодов, и притом следует не только признать его вообще, но и расценивать этот принцип объяснения так же, как для объяснения языковых явлений позднейших периодов".[1]

Конкретные исследования (самих младограмматиков и ряда их современников, работавших независимо от них в том же направлении) показали плодотворность этого принципа при объяснении не только целого ряда новообразований в морфологической структуре индоевропейских языков, но также и для понимания той устойчивости, которая характеризует исторически сложившееся соотношение основных элементов грамматического строя языка, препятствуя существенным нарушениям этого соотношения при передаче языка от поколения к поколению. Разработав положение о сложной взаимосвязи ассоциативных рядов в области морфологии, младограмматики приблизились к пониманию исторически сложившейся системы языка, хотя стать на эту точку зрения им препятствовал субъективно-идеалистический психологизм их общей теоретической концепции.

Выдвинутое языковедами конца XIX в. учение о грамматической аналогии далеко не утратило своего значения и в настоящее время, хотя дальнейшая разработка его не может уже идти по линии тех несколько наивных и схематически упрощенных формул уравнений с одним неизвестным, какими оперировали представители младограмматического направления.[2] Многочисленные исследования реальных процессов развития грамматической структуры различных языков показали многообразие путей преобразования отдельных элементов этой структуры, различие типов аналогического выравнивания форм, связанного со смысловой стороной слов и выражений.

Помимо разработки положений о звуковых законах и аналогии, языковеды последней четверти XIX в., в частности представители младограмматического направления, значительно продвинули вперед исследование конкретных вопросов языковой теории, установив целый ряд типов изменения

[1] H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen..., стр. XIII—XIV.

[2] См.: В. М. Жирмунский. Внутренние законы развития языка и проблема грамматической аналогии. Труды Инст. языкозн. АН СССР, т. IV, 1954.

морфологической структуры слова (упрощение и переразложение основ, изоляция отдельных форм в составе грамматических и лексических рядов, разновидности контаминации и т. п.). Проблема образования грамматических форм путем слияния самостоятельных некогда лексических единиц (принцип агглютинации), выдвинутая еще основателями сравнительного языкознания, в трудах языковедов конца прошлого столетия впервые была поставлена на почву тщательных наблюдений над реальными фактами языкового развития. Дальнейшая разработка этого рода вопросов стала возможной лишь при строгом учете исторических закономерностей звукового развития, а также характерных для структуры каждого языка конкретных типов грамматических ассоциаций.

Итак, мы видим, что языковедение последней четверти XIX в. достигло значительных успехов в изучении характера процессов языкового развития, положив конец ненаучным взглядам на язык и его историю — теории языка как „природного организма", теории „двух периодов в жизни языка", необоснованным гипотезам о первобытном „органическом строении форм", неправильной трактовке фактов звуковой эволюции и т. п.

С особенной полемической остротой новые научные принципы формулировались, как уже указывалось выше, в трудах представителей младограмматического направления, объявивших открытый поход против отживших догм старого сравнительного языкознания. Одержав победу над своими противниками не только в полемических выступлениях, но, главное, в практике конкретных лингвистических исследований, в которых они детально и последовательно анализировали факты исторического развития структуры отдельных языков и решали вопросы индоевропейской сравнительной грамматики на новой методологической основе, младограмматики сыграли несомненно положительную роль в развитии языковедной науки.

Однако добившись значительных успехов в деле сравнительно-исторического анализа конкретных лингвистических фактов, в области решения коренных философских вопросов языковедной науки младограмматики оказались слабыми теоретиками. Подобно большинству языковедов второй половины XIX в. они стояли на позициях субъективно-идеалистического психологизма, опираясь при этом на ассоциативную психологию немецкого философа и психолога

Гербарта.[1] Подвергнув справедливой критике романтическую теорию „духа народа“, исходя из которой Гумбольдт пытался объяснить сущность процессов языкового развития, а также не менее антиисторическую концепцию „этнической психологии“ (Völkerpsychologie), изложенную в трудах Г. Штейнталя, младограмматики смогли противопоставить этим теориям лишь субъективно-идеалистическое понимание языка как продукта психо-физической деятельности индивида. Не в силах подняться до понимания сущности языка как общественного явления, младограмматики провозгласили положение о том, что основу всех языковых явлений следует искать в речевой деятельности индивидов, что каждый отдельный индивид, в сущности, обладает своим особым языком и что „общий язык“ (Gemeinsprache) того или иного общественного коллектива (понятие, без которого они естественно не могли обойтись в своих конкретных исследованиях) есть не что иное, как абстракция, идеальная норма, зависящая от некоего среднего узуса, устанавливающегося при общении говорящих каждый на своем особом языке индивидов.

Эта ошибочная концепция, определившая направление целого ряда бесплодных попыток буржуазной науки разобраться в основных проблемах языковедной теории, находится в резком противоречии с марксистским положением о том, что язык для того и существует, чтобы служить обществу как целому в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим и единым для общества.

Неправильно трактуя отношение общенародного и индивидуального в речевой деятельности людей, пользующихся языком как средством общения, младограмматики естественно оказывались в безвыходном тупике при попытках решать коренные вопросы языкознания, так, например, вопрос о движущих факторах, об основных законах языкового развития. Далекие от понимания того, что язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык, младограмматики

[1] См. работу Б. Дельбрюка „Основные вопросы языковедного исследования“ (B. Delbrück. Grundfragen der Sprachforschung. Straßburg, 1901), в которой изложены философские основы младограмматической концепции.

обращались к индивидуальной психологии и только в ней искали причины тех сдвигов, которые закономерно преобразуют языковую структуру. Усматривая в изменениях языка результат спонтанно возникающих сходных явлений в психофизической деятельности принадлежащих к одному и тому же коллективу отдельных индивидов, младограмматики, следовавшие принципу историзма в частных лингвистических исследованиях, оказывались беспомощными при попытке поставить вопрос о движущих силах процесса языкового развития.

Атомизируя общую картину исторического развития языка на множество отдельных сдвигов в области фонетики, грамматики, лексики, причины которых коренятся, по их мнению, в глубинах индивидуальной психики и индивидуальных особенностях действия речевого аппарата, младограмматики не смогли поставить вопроса о единстве исторически сложившейся языковой структуры, хотя эмпирически установленные наблюдения над действием процессов аналогии и подводили их к пониманию соотношения элементов языка как системы.

Правильно обнаружив действие таких несомненно существенных для развития языка факторов, как звуковые законы и аналогия, и плодотворно развернув на этой основе целую серию специальных лингвистических исследований, представители младограмматического направления, полемически заостряя свое учение против установок старой языковедной теории, сочли эти факторы единственными и всецело определяющими весь ход языковой истории. Так, например, Г. Пауль, главный теоретик младограмматической школы, мыслил себе содержание процесса языкового развития как вечное взаимодействие звуковых изменений, нарушающих „целесообразность и симметрию системы форм“, с ответной реакцией на эти разрушительные изменения, выступающей в виде образований по аналогии. „За каждой дезорганизацией следует реорганизация. Чем сильнее группировки (форм) затронуты звуковым изменением, тем живее действие новотворчества“.[1]

Сводя, таким образом, весь ход языковой истории к действию двух факторов, в действительности играющих хотя и существенную, но далеко не определяющую для процесса языкового развития роль, младограмматики показали этим пример того, как одна из черточек, сторон, граней познания

[1] H. Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte, стр. 100.

преувеличивается, раздувается, превращается в абсолют, оторванный от материи, превращается в самостоятельную, целую, прямую линию, искажающую подлинную сущность явлений. Такой подход к познанию явлений характерен для философского идеализма. „Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота voilà гносеологические корни идеализма“,[1] — пишет В. И. Ленин.

Как же соотнести высказанное нами выше суждение о положительной роли, которую в развитии языкознания сыграла научная деятельность представителей младограмматического направления, с тем бесспорным для нас фактом, что общетеоретические установки этого направления строились на порочной в корне идеалистической основе? Ошибочность философской концепции младограмматиков не допускала возможности правильной постановки и решения ими всех наиболее существенных вопросов языковедной теории. Но в исследовании конкретного лингвистического материала, там, где младограмматики исходили из непосредственных наблюдений над фактами, тщательно их описывали и решали научные задачи частного порядка, им удавалось, оставляя в стороне бесплодные идеалистические дефиниции, создавать труды, не потерявшие своей научной ценности до сего времени.

Критически оценивая наследие предшествующей языковедной науки, мы вскрываем теоретические ошибки, порожденные идеалистическим подходом различных ее представителей к решению основных вопросов языкознания. В то же время необходимо использовать все ее положительные достижения в анализе конкретных фактов.

Положительный ответ И. В. Сталина на вопрос о том, „можем ли мы, подходя к Марру критически, все же брать у него полезное и ценное“[2], имеет значение не только в применении к данному конкретному случаю. Указание И. В. Сталина имеет общепринципиальное значение. Оно предостерегает от нигилистических ошибок в оценке наследия домарксистской науки вообще.

Те научные произведения, в которых содержится добросовестный и умелый анализ фактического материала, не искаженный идеалистическими претензиями авторов в области

---

[1] В. И. Ленин. Философские тетради. М., 1947, стр. 330.
[2] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 41.

общетеоретических вопросов, могут быть использованы марксистским языкознанием, которое не возникло на пустом месте, а явилось продуктом развития лингвистической науки за предшествующий период. Однако при этом необходимо считаться с тем, что ошибочные теоретические построения в ряде случаев могут определять собой и направление частных лингвистических исследований. История языкознания дает немало примеров губительного влияния ошибочных методологических установок на самый ход конкретной лингвистической работы. Поэтому использование содержащих богатый фактический материал лингвистических трудов представителей младограмматического направления должно быть безусловно сопряжено с критическим анализом не только излагающихся в них положений общетеоретического порядка, но также и выводов по частным вопросам. Марксистская теория языка дает твердую основу для правильной оценки как достижений, так и недостатков предшествующей языковедной науки.

Новое направление в языкознании, заявившее о себе в последней четверти XIX в., знаменовало решительный поворот от абстрактного теоретизирования к тщательному и детальному изучению фактов истории многочисленных языков, к наблюдению над реальными процессами языкового развития.

Признавая реальность изучаемых явлений, пытаясь установить объективные, ограниченные определенными историческими рамками закономерности развития конкретных языков, младограмматики, так же как и представители ряда других языковедческих школ XIX в., в своей исследовательской практике в сущности стояли на позициях „стыдливого материализма". Несмотря на явный идеализм разделявшихся ими общетеоретических установок гербартианской психологии, в непосредственном анализе лингвистических фактов младограмматики, будучи серьезными и добросовестными исследователями, не могли избежать стихийно-материалистического подхода к объекту своей научной деятельности. В этом отношении их можно сравнить с естествоиспытателями, громадное большинство которых, как указывает В. И. Ленин, склоняется „к материализму, хотя непоследовательному, робкому, недоговоренному".[1]

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 14, стр. 153—154.

Недаром последовательные представители новейшего идеализма в языкознании объявили ожесточенный поход против „узколобого материалистического догматизма“ младограмматиков.[1]

Характерные для представителей младограмматического направления противоречия между конкретной исследовательской практикой и общетеоретическими их взглядами бросаются в глаза на каждом шагу. Провозглашая ошибочное положение о том, что каждый индивид в сущности говорит на своем особом языке и что основу всех языковых явлений следует якобы искать в индивидуальной речевой деятельности, практически младограмматики всегда оперировали фактами языка или диалекта, общего для целого коллектива, и, изучая историю языка, описывали факты отнюдь не индивидуальной речи, но языка, являющегося общественным достоянием (Gemeinsprache).

Во всех своих исследованиях младограмматики неизменно подчеркивали необходимость исторического подхода к изучаемым явлениям; хотя они и не могли подняться до подлинно исторического понимания основных движущих сил языкового развития, в описании конкретных фактов истории многочисленных языков они создали труды, не потерявшие своей объективной научной ценности до настоящего времени.

В ходе углубленных изысканий представителям сравнительно-исторического языкознания второй половины XIX в. удалось обнаружить целый ряд частных закономерностей, проявляющихся в истории отдельных языков, и уточнить принципы лингвистического исследования. В этом отношении бесспорное положительное значение имели не только произведения, посвященные частным вопросам языковой истории, но также и те работы, в которых критиковались установки предшествующей науки и утверждались новые, построенные на основе наблюдения над конкретными лингвистическими фактами, принципы языковедной работы. В частности, заострение внимания к проблемам звуковых законов и аналогии непосредственно отвечало насущным потребностям углубления работы в области исторического языкознания.

Необходимо заметить, что младограмматики были часто весьма непоследовательны в проведении тех принципов, которые они же сами провозглашали, критикуя умозрительные

[1] См. главу III данной работы, стр. 187—192.

построения старого сравнительного языкознания. Настойчиво призывая к непосредственным наблюдениям над многообразием фактов живой народной речи,[1] в большинстве своих собственных исследований они в то же время ориентировались преимущественно на изучение языка древних письменных памятников. Сделанные таким образом наблюдения и выводы нередко вели к построению недостаточно убедительных формул, оторванных от реальной полноты конкретных лингвистических фактов. Установление отдельных фонетических законов в ряде случаев носило наивно-прямолинейный характер, совершалось без должного учета исторической специфики изучаемых явлений, что иногда фактически приводило к прямому искажению действительной картины исторического развития языков и диалектов.

Подобного рода случай представляла собой, в частности, классификация немецких диалектов, проведенная младограмматиком В. Брауне на основе закона верхненемецкого передвижения (перебоя) согласных, без необходимого учета данных современных говоров.[2] Исходя из того, что в нижнефранкские диалекты не проникли явления второго (верхненемецкого) передвижения согласных, распространившиеся с юга в порядке междиалектного взаимодействия и в различной степени охватившие другие части франкского диалекта,[3] Брауне исторически неправомерно причислил их (нижнефранкские диалекты) к саксонским. Этим самым он искусственно оторвал северную часть от основной массы франкского диалекта, представляющего исторически сложившееся лингвистическое единство.

---

[1] См.: H. Osthoff u. K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen . . . стр. X.

[2] W. Braune. Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung. Beiträge zur Gesch. d. deutsch. Sprache u. Literatur, herausg. v. H. Paul u. W. Braune, Bd. I, Halle, 1874.

[3] Полностью перебой (передвижение) согласных проведен только в южнонемецких диалектах (баварском и алеманском). В средненемецких (франкских) говорах интенсивность перебоя постепенно ослабевает. Восточнофранкский не имеет южнонемецкого перебоя $b > p$, $g > k$, $k > kch$. Рейнско-франкский не имеет также перебоя $p > pf$ (др.-в.-нем. *ph*), а по отношению к $d > t$ обнаруживает колебания. В среднефранкском отсутствует перебой $d > t$, местоимения wat, dat, et, allet сохраняют бесперебойное *t*, а в северной части среднефранкского („рипуарском“) отсутствует перебой *rp*, $lp > rf$, *lf* (В. М. Жирмунский. История немецкого языка. Изд. 3-е, М., 1948, стр. 140). В нижнефранкские, как и в другие нижненемецкие (северонемецкие) говоры, явления верхненемецкого передвижения согласных не проникли совсем.

Таким образом, историческая классификация оказалась подмененной схематичным делением немецких диалектов на основе одного лишь фонетического признака (передвижение согласных), без учета реальных, исторически обусловленных диалектных границ.

Формалистическая схема Брауне была подвергнута детальной критике в произведении Ф. Энгельса „Франкский диалект", основанном на богатейшем диалектологическом материале. Энгельс показал, как „произвольно и по совершенно случайному признаку разрывается на части целая группа говоров, взаимно связанных... определенными звуковыми соотношениями и еще до сих пор воспринимаемых в народном сознании как взаимно связанные".[1]

Раскрыв конкретно-историческую специфику развития франкского диалекта и блестяще доказав историческое единство и генетическую взаимосвязанность отдельных франкских говоров, Энгельс осудил „кабинетную ученость", которая „втискивает мало известные или совсем не известные ей живые, народные говоры в прокрустово ложе à priori сконструированных признаков".[2]

Серьезным недостатком младограмматических исследований являлся также эмпиризм, определявшийся общими теоретическими основами младограмматической концепции. Многочисленные труды по сравнительной грамматике и истории индоевропейских языков, созданные представителями этой школы в последней четверти XIX в., содержат описание огромного количества фактов, а также целого ряда частных закономерностей в области звуковых соответствий и исторической эволюции звукового состава отдельных языков; но они обнаруживают очень мало попыток установления общих закономерностей развития структуры родственных языков, являющихся объектом их научного изучения.

* * *

Название „младограмматики", возникшее в 70-е годы XIX в. в процессе острой полемики группы молодых немецких языковедов с представителями сравнительного языкознания предшествующего периода, приобрело слишком расширенное истолкование, будучи применяемо не только к тем

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 424.
[2] Там же, стр. 425.

языковедам, которые примкнули к основателям младограмматического направления, но также и к тем деятелям языкознания, которые в период 70—90-х годов прошлого века совершенно независимо развивали установки, во многом сходные с младограмматической концепцией (а во многом и отличные от нее), содействуя коренному преобразованию методов лингвистического исследования.

Отдавая должное новаторской деятельности младограмматиков, стоявших в центре острой научной дискуссии, разгоревшейся по вопросу о задачах и методах языковедной науки, не следует, однако, неправомерно расширяя употребление термина „младограмматическая школа", забывать то новое, что было в эти же годы внесено в разработку основных принципов лингвистического исследования усилиями языковедов других направлений.

Остановимся на роли, которую сыграла в создании теоретических основ историко-лингвистического исследования деятельность представителей Казанской и Московской лингвистических школ. Развивая новые и оригинальные положения по самым разнообразным вопросам лингвистической теории, языковеды этих направлений во многом шли впереди общепринятых взглядов и концепций того времени.

Талантливый представитель Казанской школы, рано умерший Н. В. Крушевский в работе 1883 г. напомнил о том, что еще в 1868 г. учитель его, И. А. Бодуэн-де-Куртенэ, осознавая важность принципа аналогии, применил этот принцип для объяснения форм польского склонения.[1] И далее Н. В. Крушевский писал: „Вообще, изучение слов как они есть, стремление к возможно более строгому применению звуковых законов, признание аналогии особым и весьма важным фактором в образовании слов, наконец, преимущество, отдаваемое живым новым языкам перед мертвыми древними,— все это вместе, если и не выставлялось Бодуэном-де-Куртенэ в качестве принципов науки о языке, но тем не менее не переставало быть принципами как в его чтениях, так и в занятиях его и довольно значительного кружка его казанских учеников и последователей. Таким образом, вдали от западноевропейских центров науки, в самом восточном из русских

[1] J. Baudouin de Courtenay. Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination. Kuhn's Beiträge zur vergl. Sprachforsch., Bd. VI, 1870. Как указывает Н. В. Крушевский, статья была написана в 1868 г.

университетов, стало развиваться направление, весьма близко родственное все более и более распространяющемуся на западе направлению, называемому часто «юнг-грамматическим» (die junggrammatische Schule)".[1]

В трудах представителей Казанской лингвистической школы мы находим оригинальную и во многом отличную от младограмматической трактовку ряда вопросов. Сравнивая свой „Очерк науки о языке" с почти одновременно появившимися „Принципами языковой истории" Г. Пауля, Н. В. Крушевский замечает: „Стоя приблизительно на одной и той же точке зрения, мы все-таки смотрели на предмет с разных сторон. Поэтому в книге Пауля читатель найдет много такого, чего он не найдет в моей, и обратно".[2]

Более полное и детальное освещение взглядов Бодуэна-де-Куртенэ и его учеников по всем трактовавшимся ими вопросам и на всем протяжении их научной деятельности требует специального изложения.[3] Здесь нам важно прежде всего отметить то новое, что было внесено „казанцами" в разработку принципов историко-лингвистического исследования, какое место они занимали в той перестройке научных взглядов, которой ознаменовалось развитие науки о языке в последние десятилетия XIX в.

В понимании коренного вопроса языковедной теории — вопроса о сущности языка — представители Казанской школы не поднялись над общим уровнем буржуазной науки того времени. Как и большинство их современников, они трактовали эту проблему с позиций субъективно-идеалистического психологизма. Особенно яркое выражение эта трактовка получила в высказываниях основателя школы, И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, который определял язык как результат психофизической деятельности индивида.

Правда, в наиболее ранних его произведениях можно встретить формулировки, говорящие о том, что ему не чуждо было в то время признание народа реальным носителем языка. Так, например, в лекции 1870 г. мы читаем: „Язык есть комплекс членораздельных и знаменательных звуков и созвучий, соединенных в одно целое чутьем известного на-

[1] Н. В. Крушевский. Очерк науки о языке. Казань, 1883, стр. 7—8.

[2] Там же.

[3] См.: Е. А. Земская. „Казанская лингвистическая школа" проф. Бодуэна-де-Куртенэ. „Русский язык в школе", 1951, № 6.

рода, как комплекса (собрания) чувствующих и бессознательно обобщающих единиц, подходящих под ту же категорию, под то же видовое понятие на основании общего им всем языка".[1]

Однако в дальнейшем Бодуэн-де-Куртенэ резко заострил субъективно-идеалистическую трактовку сущности языка. В статье 1904 г. мы читаем: „Язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество. Язык племенной и национальный является чистой отвлеченностью, обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков. Такой племенной и национальный язык состоит из суммы ассоциаций языковых представлений с представлениями внеязыковыми — ассоциаций, свойственных индивидам и, в отвлеченном, абстрактном смысле, в виде среднего вывода, также народам и племенам".[2] И далее: „Строго говоря, термин язык, в значении чего-то однородного и нераздельного, можно применять только к языку индивидуальному. Однородный племенной язык представляет фикцию".[3] Аналогичные определения мы находим и в его литографированных курсах по введению в языкознание.[4]

Такое же ошибочное понимание сущности языка мы встречали и у младограмматиков.[5] Однако в своих конкретных исследованиях Бодуэн-де-Куртенэ, так же как и они, под влиянием объективных лингвистических фактов был вынужден изучать развитие языка, принадлежащего не индивиду, а обществу. В этом противоречии было его спасение как ученого. Заслуги Бодуэна, писал Л. В. Щерба, „не в психологизме, а в гениальном анализе языковых явлений и не менее гениальной прозорливости, с которой он усматривал причины их изменений".[6]

Нельзя не отметить, однако, что, к сожалению, психологизм весьма сильно дает себя чувствовать при трактовке

---

1 И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некоторые общие замечания..., стр. 37.

2 И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Язык и языки. Энциклопед. словарь, изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., т. 41, 1904, стр. 531.

3 Там же, стр. 534.

4 См.: И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Введение в языкознание. СПб., 1917.

5 См. стр. 92—93.

6 И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некролог. Изв. ОРЯС АН СССР, т. III, 1930, стр. 315.

проблем фонетики и морфологии как в работах самого Бодуэна-де-Куртенэ, так и ученика его, Н. В. Крушевского.

Главные положения основанного им научного направления кратко сформулировал сам Бодуэн-де-Куртенэ, указав: „С самого же начала чтений по языковедению в Казанском университете подчеркивалась важность различения фонетических и морфологических частей слов, важность различения чисто фонетического (физиологического) и психического элемента в языке, важность различения изменений, совершающихся каждовременно в данном состоянии языка, и изменений, совершившихся в истории, на протяжении многих веков и в целом ряду говорящих поколений, важность считаться с требованиями географии и хронологии по отношению к языку (разные наслоения языковых процессов), преимущество наблюдений над живым языком перед догадками, извлекаемыми из рассмотрения памятников, великая важность анализа и разложения сложных единиц на их отличительные признаки, и т. д.“.[1]

Важность наблюдений над живыми языками и теоретическое значение этих наблюдений для историко-лингвистических исследований особенно подчеркивались представителями Казанской школы. В своей вступительной лекции, прочитанной в Казанском университете в 1880 г., Н. В. Крушевский говорил: „Только изучение новых языков может способствовать открытию разнообразных законов языка, теперь неизвестных потому, что в языках мертвых их или совсем нельзя открыть, или гораздо труднее открыть, нежели в языках новых. Наконец, только изучение новых языков может установить взаимную связь между отдельными законами. Тогда и реконструкция языков-родоначальников и история обособления ариоевропейских языков приобретает более прочные основания“.[2]

Как уже упоминалось выше, призывы к изучению живых языков звучали и в программных выступлениях младограмматиков. Однако „казанцы“ были несравненно последовательнее младограмматиков в практическом осуществлении этой установки. Об этом свидетельствуют такие выдающиеся исследования, как монографии „Опыт фонетики резьянских

[1] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Лингвистические заметки и афоризмы, V. Отд. оттиск из ЖМНП, 1903, стр. 32—33.

[2] Н. В. Крушевский. Очерки по языковедению, II. Антропофоника. Посмертн. изд. с предисл. и примеч. проф. В. Богородицкого, Варшава, 1893, стр. 47.

говоров"[1] И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, „Гласные без ударения в общерусском языке"[2] В. А. Богородицкого и др.

Пристальное внимание к фонетическим и морфологическим процессам, совершающимся в живой народной речи, без сомнения помогало глубже понять природу происходивших в структуре языка изменений в более отдаленные периоды его истории.

Бодуэн-де-Куртенэ уже очень рано (раньше младограмматиков) сформулировал принципы того нового научного подхода к изучению фактов языка, который сменил навеянные романтизмом идеалистические представления и наивные натуралистические взгляды языковедов предшествующего периода.

Еще в 1870 г., произнося вступительную лекцию в Петербургском университете, он подчеркнул: „Истинно научное, историческое, генетическое направление считает язык суммою действительных явлений, суммою действительных фактов, и следовательно, науку, занимающуюся разбором этих фактов, оно должно причислить к наукам индуктивным. Задача же индуктивных наук состоит: 1) в объяснении явлений соответственным их сопоставлением и 2) в отыскивании сил и законов, то есть, тех основных категорий или понятий, которые связывают явления и представляют их как беспрерывную цепь причин и следствий. Первое имеет целью сообщить человеческому уму систематическое знание известной суммы однородных фактов или явлений, второе же вводит в индуктивные науки все более и более дедуктивный элемент. Так точно и языковедение, как наука индуктивная, 1) обобщает явления языка и 2) отыскивает силы, действующие в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь".[3]

Определяя принципы исследования грамматической структуры языка, Бодуэн-де-Куртенэ уже тогда обнаружил поразительную глубину историзма в подходе к изучаемым явлениям. „При грамматическом рассмотрении языка, — говорил он в той же лекции, — необходимо соблюдать хронологический принцип, то есть, принцип объективности по отношению к совершающемуся во времени генетическому развитию языка. Этот принцип генетической объективности можно выразить тремя следующими положениями.

[1] Варшава—СПб., 1875.
[2] Казань, 1884.
[3] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некоторые общие замечания . . ., стр. 11.

„Положение 1-е. Данный язык не родился внезапно, а происходил постепенно в течение многих веков: он представляет результат своеобразного развития в разные периоды. Периоды развития не сменялись поочередно, как один караульный другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что при незаметном переходе в следующий составляет подкладку для дальнейшего развития. Такие результаты работы различных периодов, заметные в данном состоянии известного объекта, в естественных науках называются слоями: применяя это название к языку, можно говорить о слоях языка, выделение которых составляет одну из главных задач языкознания.

„Положение 2-е. Механизм языка и вообще его строй и состав в данное время представляют результат всей предшествовавшей ему истории, всего предшествовавшего ему развития, и наоборот, этим механизмом в известное время обусловливается дальнейшее развитие языка.

„Положение 3-е. Крайне неуместно измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени. Задача исследователя состоит в том, чтобы подробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, сообразное с этими периодами, и только в последствии показать, каким образом из такого-то и такого-то строя и состава предшествующего времени мог развиться такой-то строй и состав времени последующего. То же требование генетической объективности вполне применимо и к исследованию разных языков вообще: видеть в известном языке без всяких дальнейших околичностей категории другого языка не научно; наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что́ в нем живет, обусловливая его строй и состав“.[1]

Эти соображения, высказанные Бодуэном-де-Куртенэ более 80 лет тому назад, до сих пор не утеряли своей теоретической значимости. К сожалению, самому Бодуэну-де-Куртенэ не удалось реализовать выдвинутые им принципы в серии историко-лингвистических исследований крупного масштаба. Однако влияние этих принципов на развитие языкознания было несомненно велико.

---

[1] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некоторые общие замечания . . ., стр. 25—26.

Предложенный Бодуэном-де-Куртенэ принцип относительной хронологии в изучении языковых фактов, относящихся к разным периодам исторического развития языка, приобрел значительную актуальность для последующей компаративистики — в применении к фактам сравнительной грамматики индоевропейских языков. В особенности следует отметить интересную попытку ученика Бодуэна-де-Куртенэ В. А. Богородицкого, наметившего схему относительной хронологии звуковых изменений в отдельных ветвях индоевропейской языковой семьи.[1]

Богородицкий подчеркивал, что изучение сравнительной грамматики индоевропейских языков должно дополняться сравнительным изучением исторического развития тех же языков и возможными при этом „синхронистическими сопоставлениями их соответствий". „С этой целью, — писал он, — обычное «статическое» исследование должно быть дополнено изучением последовательного хода языковых процессов в области каждой ветви... Воссоздавание доисторических эпох в их последовательности оказывается вполне возможным, благодаря тому, что языковые данные исторического времени содержат в себе признаки, идущие от разных предшествующих эпох и позволяющие расположить последние в их преемственности. В самом деле, доказав, что эпоха известного явления не могла предшествовать некоторой другой эпохе, мы тем самым доказали, что она, если не была с ней одновременна, необходимо следовала за нею. Если мы подобным же образом докажем относительно эпохи третьего явления, что она не могла предшествовать второй эпохе, а непременно следовала за нею, то очевидно, что она была и после первой эпохи. И т. д.".[2]

При этом Богородицкий указывает, что „не должно представлять себе устанавливаемые эпохи резко отграниченными: явления, начавшиеся в одну эпоху, могли и не закончиться в эту эпоху, но продолжаться и закончиться в следующую или следующие эпохи, — эпохи могут таким образом как бы частично налегать одна на другую".[3]

---

[1] В. А. Богородицкий. 1) Краткий очерк сравнительной грамматики арио-европейских языков. Казань, 1917, стр. 45—54; 2) К хронологии и диалектологии фонетических процессов в языках арио-европейского семейства. Уч. зап. Казанск. унив., 1900. Приложение.

[2] В. А. Богородицкий. Краткий очерк..., стр. 45—46.

[3] Там же, стр. 46.

В виде образца такого рода исследований Богородицкий предложил схему хронологической последовательности звуковых изменений, имевших место в доисторическом развитии индоиранской, греческой и славянской ветвей индоевропейской лингвистической семьи.[1]

Одним из наиболее значительных достижений Казанской лингвистической школы была разработка вопроса о характере морфологических изменений.

Еще в 1868 г. Бодуэном-де-Куртенэ была написана статья о „Некоторых случаях действия аналогии в польском склонении“,[2] которую Л. В. Щерба назвал „одним из поворотных пунктов в истории языкознания“.[3] В этой статье было

[1] Так, например, для доисторического развития греческого языка относительная хронология звуковых изменений устанавливается следующим образом: 1) эпоха редукции (ослабления и потери) первоначальных кратких гласных в слабых положениях, восходящая своим началом еще ко времени общеиндоевропейского языкового состояния; 2) эпоха изменения $*s$ при известных условиях в x и затем в густое придыхание, а также эпоха приглушения звонких придыхательных ($*bh \rightarrow ph$, $*dh \rightarrow th$ и т. д.); 3) эпоха диссимиляции глухих придыхательных, а также h (густого придыхания), развившегося из s; 4) эпоха изменения сочетаний гласный $+ \underset{\frown}{i} +$ гласный в сочетания гласный $\pm$ гласный; 5) эпоха исчезновения густого придыхания между гласными, при сохранении его у гласных в начале слова; 6) эпоха переходного смягчения глубоких заднеязычных согласных перед палатальными гласными, а также обоих рядов заднеязычных, равно как и согласных переднеязычных в положении перед $\underset{\frown}{i} +$ гласный; 7) эпоха ионическо-аттического изменения ариоевр. $*\bar{a}$ в $\bar{a}$ (η); 8) эпоха исчезновения носового согласного с заменительным удлинением перед первичным и вторичным s; 9) эпоха аттического слияния гласных; 10) эпоха исчезновения F (дигаммы) в аттическом диалекте.

Для доисторического развития славянской ветви: 1) эпоха изменения $s \rightarrow x$; при этом Богородицкий указывает, что, так как изменению в x при известных фонетических условиях подверглось только s, происходящее из s, но не из $*k^1$, то, следовательно, для этой эпохи нужно принять, что тогда потомки звуков $*k^1$ и $*s$ еще различались в славянской языковой области, причем различие это было вынесено из литвославянского; 2) эпоха смягчения заднеязычных согласных (а также x, развившегося в предшествующую эпоху) в шипящие; 3) эпоха упрощения однородных дифтонгов $*\breve{e}i \rightarrow \bar{\imath}$ и $*\breve{o}u \rightarrow \bar{u}$; 4) эпоха развития славянского подъема; 5) эпоха изменения $*\bar{e} \rightarrow \bar{a}$ после шипящих; 6) эпоха возникновения ѣ дифтонгического происхождения и смягчения заднеязычных согласных в свистящие.

Схема Богородицкого содержит и краткие разъяснения по поводу соотношения отдельных звуковых изменений.

[2] J. Baudouin de Courtenay. Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination. Kuhn's Beiträge zur vergl. Sprachforsch., Bd. VI, 1870.

[3] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некролог. Изв. ОРЯС АН СССР, т. III, 1930, стр. 315.

на конкретных примерах показано значение фактора аналогии для установления структурного единообразия морфологических рядов.

В 1870 г. Бодуэн-де-Куртенэ разработал вопрос об исторической изменяемости основ склонения в индоевропейских языках.[1] Он резко возражал против ненаучного взгляда, согласно которому основы или темы склонения являются „какими-то фикциями, витающими в туманной атмосфере праязыка", „застывшими в своей неподвижности отголосками золотого века языковой жизни".

Основы, писал он, являются „живыми частями склоняемых и спрягаемых слов" и составляют „необходимое условие настоящей флексии".[2] Как и все остальное в языке, они „подвергаются постоянным изменениям и именно изменениям двоякого рода: чисто фонетическим и изменениям под влиянием аналогии".[3]

Благодаря этим изменениям древние именные основы (на гласные звуки) лишились в отдельных индоевропейских языках своих конечных гласных и „развились в чисто согласные, более краткие, основы, фонетические же продолжатели их некогда конечных гласных, вместе с фонетическими продолжателями древних окончаний, служат в славянском, точно так же как и во всех прочих первичных языках ариоевропейских, простыми окончаниями, выражающими разные подежные связи и отношения".[4] •

Бодуэн-де-Куртенэ прослеживает последовательные этапы процесса переразложения древних основ (сопровождавшегося и процессом отпадения конечных согласных в окончаниях), начавшегося еще „в арио-европейском праязыке" и приведшего в отдельных языках к „поголовному сокращению основ в пользу окончаний". Он указывает, что благодаря действию фонетического процесса исчезновения конечных ъ и ь в новейшем состоянии славянских языков „продолжение древних морфологических различий типов склонения стало еще менее возможным, и произошла новая группировка типов склонения, новое распределение существительных

[1] Подготовлениая в 1870 г. пробиая лекция по этому вопросу была опублнкована лишь в 1902 г. под названием „Заметка об изменяемостн основ склонення, в особенности же об нх сокращенни в пользу окончаний" (отд. оттиск нз „Русск. филолог. вестн.", Варшава, 1902).

[2] Там же, стр. 5.

[3] Там же, стр. 6.

[4] Там же.

• падежные

по отдельным группам. При этом на первый план выступило, как признак типов, сочетание или ассоциация известных окончаний (включая сюда тоже нуль окончания или отсутствие особого окончания) с родовыми различиями".[1] И наконец, как „крайний предел развития основ" — „полное смешение типов склонения, сращение основ с окончаниями в одно морфологически неделимое целое", полное исчезновение категории основ в их прежнем значении и появление „новых основ, продолжающих прежние цельные формы и сочетающихся не с окончаниями, но с представками",[2] сначала синтаксически отделимыми и затем синтаксически не отделимыми (состояние, характерное для болгарского языка).

Таким образом, Бодуэну-де-Куртенэ удалось определить основное направление процессов переоформления морфологической структуры слова на протяжении ряда периодов существования индоевропейских языков.

Отмечая большое значение факторов народной этимологии и аналогии, он специально подчеркивает также значение переразложения или переинтеграции морфологического состава слов, понимая под этим „перемещение границ между отдельными морфемами или частями морфологически расчлененного слова, перемещение морфологических узлов или расчленений слова".[3]

Намеченная Бодуэном-де-Куртенэ разработка проблемы переразложения основ была продолжена в трудах его учеников — В. А. Богородицкого и Н. В. Крушевского.

Н. В. Крушевский и В. А. Богородицкий исследовали процессы так называемой морфологической абсорпции, показав на ряде примеров из истории отдельных индоевропейских языков, как звуки, принадлежащие одной морфологической единице, отрываются от нее и интегрируются, поглощаются другой единицей, причем сокращению обычно подвергается предшествующая морфологическая единица в пользу последующей. Таков, в частности, „своеобразный путь" сокращения сигматических основ в языках славянских и греческом, приведший к образованию упрощенных основ типа **неб-**

---

[1] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Заметка об изменяемости основ склонения . . ., стр. 12.

[2] Там же, стр. 14.

[3] И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Лингвистические заметки и афоризмы, V, стр. 13.

небо(с)] и γεν- (γένος) 'род' с поглощением (абсорпцией) древнего основообразующего суффикса *-s-* тем или иным падежным окончанием.[1]

Н. В. Крушевский в своем „Очерке науки о языке" уделил особенное внимание рассмотрению явлений переинтеграции составных элементов слова (переразложения и опрощения основы), придавая им большое значение для развития морфологической структуры языка. „Генезис морфологических элементов, — пишет он, — объясняется процессом переинтеграции".[2]

Для понимания исторического развития структуры слова в индоевропейских языках значительный интерес представляют следующие выводы Крушевского, основанные на тонких наблюдениях над изменчивостью и характером соотношения образующих слово морфологических элементов: „Мы убедились, что корню свойственна вариация фонетическая, незначительная в его начальных звуках, более значительная в средних и наиболее значительная в конечных; что ему свойственна вариация морфологического происхождения преимущественно в его начале, но также и в конце. У суффикса мы нашли вариацию начальную, морфологического происхождения, у префикса — только незначительную вариацию, конечную, фонетического происхождения. Затем, характеризуя отдельные морфологические единицы, мы нашли, что корень отличается наиболее богатой вариацией, а также наибольшим соответствием внешних разниц разницам внутренним; что суффикс и префикс значительно отличаются от корня и почти противоположны друг с другом: суффиксы отличаются гораздо большей способностью сочетаться друг с другом, чем префиксы; суффиксу свойственна преимущественно вариация морфологическая, префиксу — фонетическая; значение суффикса разнообразно и неопределенно, тогда как префиксу обыкновенно свойственно одно ясно определенное значение; суффикс присоединяется только к словам известной категории, тогда как громадное большинство префиксов агглютинируется к словам разных категорий".[3]

---

[1] См.: В. А. Богородицкий. Лингвистические заметки, I. О морфологической абсорпции. Отд. оттиск из „Русск. филолог. вестн.", Варшава, 1881, стр. 10—11.

[2] Н. В. Крушевский. Очерк науки о языке, стр. 107.

[3] Там же, стр. 85.

В изучении вопросов исторической фонетики представителям Казанской лингвистической школы также принадлежат серьезные достижения теоретического порядка. Так, например, рассматривая проблему звуковых изменений и их законов, Н. В. Крушевский ставит этот вопрос в связь с понятием звуковой системы языка, что составляет существенное отличие от позиции младограмматиков, изучавших изолированно историю каждого отдельного звука. „Мы хотим этим сказать, — пишет он, — что однообразие звука и звуковой системы, а также однообразие звуковых сочетаний суть единственные законы, которым подчиняется каждое без исключения слово данного языка".[1] И несколько дальше: „Есть некоторое соотношение между изменениями отдельных звуков данного языка; другими словами — в звуковой системе данного языка заметим известную гармонию, будем ли мы рассматривать эту систему в порядке сосуществования, или в порядке последовательности".[2]

Постановка вопроса о закономерном соотношении звуков в системе языка была непосредственно связана с создававшимся в это время Бодуэном-де-Куртенэ учением о фонемах, получившим свое плодотворное развитие в современном языкознании.

Исследование вопроса о чередованиях звуков в работах Н. В. Крушевского[3] и Бодуэна-де-Куртенэ[4] также составляет оригинальный и существенно важный вклад казанского лингвистического направления в разработку учения о звуках языка в их историческом развитии.

Исключительное значение для развития научных исследований в области фонетики имела новаторская деятельность В. А. Богородицкого, основавшего при Казанском университете первую в России экспериментально-фонетическую лабораторию.

Для характеристики широты задач, которые он ставил перед фонетическим исследованием, и глубины понимания теоретической важности всестороннего анализа звуковой системы языка не только в статике, но и в историческом

---

[1] Н. В. Крушевский. Очерк науки о языке, стр. 25.

[2] Там же, стр. 53.

[3] Н. В. Крушевский. К вопросу о гуне. Исследование в области старославянского вокализма. Варшава, 1881. — N. Kruszewski. Über die Lautabwechslung. Kazan, 1881.

[4] J. Baudouin de Courtenay. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Kapitel aus der Psychophonetik. Straßburg, 1895.

развитии, характерна изложенная им самим в заметке „Об изучении русской речи“ программа исследований: „Я постараюсь представить ход глубокого исследования какого-нибудь явления, например фонетического.

„Прежде всего мы стараемся исследовать это явление самым точным образом со стороны физиологической и акустической. Но недостаточно точного физиологического и акустического описания произношения отдельного звука говора, нужно самым точным образом ознакомиться со всей звуковой системой говора, в состав которого входит данный звук. Следовательно, наше явление мы должны изучить не в отдельности, но в ряду прочих одновременных фонетических явлений говора. Но и этого недостаточно; мы должны исследовать наше явление еще в ряду одновременных явлений морфологических, семасиологических и проч. того же говора. Часто случается, что явления, на первый взгляд ничего не имеющие между собой общего, на деле оказываются связанными между собой.

„Наше исследование еще не кончено. Мы должны рассмотреть наше явление в его историческом развитии в связи с одновременным развитием остальных языковых явлений исследуемого говора“.[1]

И далее: „Мы можем теперь обратиться к исследованию нашего явления в другом говоре, родственном с первым. В этом говоре исследуемое явление может оказаться на другой стадии развития, или дальнейшей или же ближайшей. Мы опять исследуем это явление в ряду прочих языковых явлений того же говора не только в данном одновременном состоянии, но и в историческом развитии“.[2]

Следует помнить, что эта программа исследовательской работы в области исторической фонетики, основанная на правильном понимании закономерной взаимосвязи всех элементов звуковой системы языка, была предложена более 80 лет назад; но она звучит вполне актуально и в наши дни.

Изучение разбросанных по различным изданиям работ, написанных представителями Казанской лингвистической школы в 70—80-е годы XIX в., показывает широту их теоретических интересов, а также их выдающуюся роль в той

[1] В. А. Богородицкий. Лингвистические заметки, II. Об изучении русской речи. Отд. оттиск из „Русск. филолог. вестн.“, Варшава, 1881, стр. 6.

[2] Там же, стр. 6—7.

перестройке принципов историко-лингвистических исследований, которая происходила в этот период.

Одновременно с деятельностью младограмматической и Казанской лингвистических школ развертывалась плодотворная деятельность Московской лингвистической школы, возглавлявшейся ее создателем Ф. Ф. Фортунатовым и сыгравшей большую роль в развитии сравнительно-исторического языкознания.

Блестящие исследования Фортунатова, а также его многолетняя преподавательская деятельность в Московском университете доставили ему заслуженную славу одного из самых выдающихся представителей языковедной науки.

В своих теоретических исканиях, в частности, по вопросу о значении для развития языков таких факторов, как звуковые законы и аналогия, Фортунатов пришел к выводам, во многом созвучным с выводами младограмматиков. Однако это не дает оснований считать его представителем младограмматической школы в России, как это нередко до сих пор делалось в обзорах по истории языкознания.[1] Пристальное внимание к реальным процессам, составляющим основу языковых изменений, поиски причинно-следственных связей между наблюдаемыми фактами, стремление раскрыть объективные закономерности, действующие в различные периоды истории конкретных языков, — все это отнюдь не было исключительно характерным только для младограмматиков, но являлось общенеобходимой базой для дальнейшего развертывания исследовательской работы в области языкознания.

Относясь к числу наиболее талантливых и передовых представителей языковедной науки своего времени, Фортунатов очень рано вступил на тот путь, который явился затем столбовой дорогой развития сравнительно-исторического языкознания. Развивая общетеоретические положения, необходимость которых определялась самой природой изучаемых фактов и которые поэтому не могли не выдвигаться параллельно учеными разных научных направлений, объединяемых строгим отношением к объекту исследований, Фортунатов явился создателем собственной научной школы, доставившей заслуженную славу русскому языкознанию.

---

[1] Ср.: Р. О. Шор. Языковедение. БСЭ, 1-е изд., т. 65, 1931, стр. 400.

Работая в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, Фортунатов уделял большое внимание вопросам исторической фонетики. Проблема звуковых законов получила в трудах Фортунатова развернутую и теоретически заостренную трактовку. Характерной чертой фортунатовского подхода к этой проблеме было с самого начала строгое соблюдение принципа историзма и строгость требований, предъявляемых к анализу фактов фонетической эволюции.

Уже в своей магистерской диссертации, опубликованной на год раньше, чем работа Лескина „Склонение в славяно-литовском и германском языках" (первое изложение в печати теоретических установок младограмматического направления), Фортунатов четко сформулировал новое для того времени понимание принципов исследовательской работы в области исторической фонетики: „Языкознание не стоит уже теперь на той ступени, когда довольствовались решением вопроса, может ли вообще переходить звук икс в звук игрек. Мы должны определить, наблюдается ли такой переход в известном языке, и если наблюдается, то при каких именно условиях, а для этого надо указать на аналогичные примеры".[1]

В курсе лекций „Сравнительное языковедение", читанном в Московском университете в 1879—1880 гг., Ф. Ф. Фортунатов блестяще осветил проблему звуковых изменений, поставив вопрос об общности условий, вызывающих аналогичные изменения в различных языках и в то же время подчеркнув необходимость учета хронологической стороны вопроса и конкретно-исторических условий, в которых протекают наблюдаемые изменения. Так как курс этот сохранился только в литографированном издании и поэтому мало доступен для изучения, приведем обширную выдержку, показывающую остроту теоретической мысли Фортунатова, стоявшего в первых рядах языковедов, разрабатывавших новые пути применения сравнительно-исторического метода в лингвистических исследованиях. „Звуковые изменения каждого языка, — говорил Фортунатов, — определяются только путем наблюдения над историей этого языка, и то, что мы открываем в одном языке, не может быть переносимо без проверки на другие языки. Как скоро, однако, наблюдение показывает нам, что известное явление развивается в нескольких или многих языках, мы,

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Несколько страниц из сравнительной грамматики индоевропейских языков, стр. 40 (приложение к его работе „Sâmaveda-Aranyaka-Saṁhitâ", М., 1875).

сопоставляя все относящиеся сюда случаи, выделяя все частное и индивидуальное, приходим к лучшему пониманию того, что и составляет необходимое условие данного явления. Так, сопоставляя, например, образование *ц* из *к* в славянском языке с подобным же явлением в латинском, мы приходим к тому заключению, что при всем различии, представляемом в этом отношении латинским и славянским языками, они указывают на одно общее условие данного явления, именно на мягкость звука, следующего за *к*, изменяющимся в *ц*. Переход *к* в *ц* может служить примером широко распространенного фонетического явления, так как мы встречаемся с ним во многих языках, не только индоевропейских, но и других. Тем не менее, однако, ясно, что этот переход, это звуковое явление, не может быть допущено нами ни для одного из тех языков, в которых не было произведено соответственных наблюдений. Каждое фонетическое явление может быть названо более или менее общим лишь по отношению к тем языкам, из которых оно извлечено. При этом и здесь мы должны стараться различать признаки общие от частных, индивидуальных. Мы не должны, например, смешивать частных условий, при которых *к* переходит в *с* в латинском языке, с теми условиями, которые требуются для подобного явления в славянском языке. Равным образом не следует при определении фонетического явления переносить без проверки вывод, полученный для одной эпохи известного языка, за пределы этой эпохи. Мы видим, например, что в общеславянском языке первоначально краткое *а* изменялось в *о*; русский же язык в его диалектах представляет обратное явление, переход о в *а*. Ясно, что как скоро при фонетических исследованиях хронология не принимается во внимание, выводы фонетики теряют всякое значение, так как всякий вывод в фонетике имеет значение лишь в той области, где произведено наблюдение. Подобно тому, как фонетические явления одного языка не могут быть переносимы без проверки в другие языки, так же и звуковые явления одной эпохи в жизни языка не должны быть переносимы без проверки за пределы этой эпохи. Понятно, поэтому, что всякие рассуждения о том, переходит ли вообще, например, *а* в *i*, не имеют никакого смысла, как скоро забывают, что всякое фонетическое обобщение есть свод сделанных наблюдений и не заключает ничего обязательного вне той сферы, в кругу которой оно выведено. Задача исследователя фонетики состоит в том, чтобы определить путем наблюдения, как

изменяются звуки в данном языке, когда и при каких условиях происходят их изменения. Аналогии, представляемые другими языками, получают значение лишь тогда, когда подвергаются тщательной проверке. Чем длиннее тот период жизни языка, который берет лингвист для своего исследования, тем успешнее могут быть результаты, к которым он придет, так как для понимания всякого позднейшего явления необходимо установить связь с теми явлениями, которые предшествовали. Поэтому для изучения фонетических явлений русского языка необходимо восстановить язык старославянский, литовско-славянский и, наконец, общий индоевропейский".[1]

Мы видим, что Фортунатов пользовался сравнением фактов родственных языков не только с целью восстановления общих древних форм, но также и для определения закономерностей эволюции звуков этих языков в последующие эпохи их развития. При этом в сходных фонетических процессах он искал обусловливающие их факторы общего порядка и в то же время указывал на необходимость выделения всего частного и индивидуального, конкретного своеобразия, присущего развитию каждого отдельного языка в различные периоды его истории.

Эти установки пронизывали изложение сравнительной фонетики индоевропейских языков в лекционных курсах Фортунатова.

В ранних своих чтениях он особенно много внимания уделял проблеме заднеязычных („задненёбных") и среднеязычных („средненёбных") звуков, в деталях рассматривая процессы „простого" и „сложного смягчения согласных" в общеславянском, древнеиндийском, древнегреческом и латинском языках. Изложение фактов этого рода давало ему возможность установить общую закономерность развития таких явлений, как явления палатализации, протекавших на протяжении истории различных ветвей индоевропейской семьи, и при этом выявить специфику, присущую в этом отношении отдельным языкам в отдельные эпохи их истории.

В особенности же Фортунатов подчеркивал необходимость строго исторического подхода при изучении звуковых изменений, необходимость рассматривать каждое из них в широкой хронологической перспективе развития определенного

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1879—1880 (литограф. изд.), стр. 125—128.

языка. Поэтому реконструкция древнего исходного состояния — общеславянского, индоиранского и др. или, наконец, общеиндоевропейского — приобретала при такой постановке исследования свое подлинное научное значение.

Исследования Фортунатова в области исторической фонетики индоевропейских языков и в особенности его основополагающие работы по исторической акцентологии сыграли выдающуюся роль в развитии сравнительного языкознания.

Уже в 1880 г. Фортунатов опубликовал свое исследование, посвященное сравнительному анализу системы акцентуации в балтийских и славянских языках.[1] Ему удалось определить два древних индоевропейских типа ударения слогов с долгими гласными, дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями на сонорный (акутированная и циркумфлектированная интонация, по терминологии Фортунатова „длительная“ и „прерывистая долгота“), сохранившиеся в балтийских языках, а также соответствия им в славянских языках. В этой связи рассматривался и вопрос о характере явлений полногласия в русском языке.

Проведенный Фортунатовым анализ архаической системы акцентуации, сохраненной балтийскими языками, и сделанные им выводы относительно характера ударений в общеиндоевропейском языке явились основой для последующей разработки проблем индоевропейской акцентологии.

Вопросы структуры слова, в частности вопрос о наблюдаемых в истории индоевропейских языков процессах переразложения основы и утери отдельных составных элементов слова, также получали широкое освещение, уже начиная с ранних лекционных курсов Фортунатова. Особенный интерес в этих курсах представляла трактовка ряда общих вопросов грамматической теории.

Трудно в кратком изложении передать богатство содержания лекционных курсов замечательного русского языковеда. Помимо конкретных вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков, Фортунатов давал в них широкое

---

[1] Ph. Fortunatov. Zur vergleichenden Betonungslehre. . . См. также работу Фортунатова „Об ударении и долготе в балтийских языках, 1. Ударение в прусском языке“ (Русск. филолог. вестн., т. XXXIII, Варшава, 1895). В последнее время в Архиве Академии Наук СССР были обнаружены неопубликованные разделы II—IV этого большого исследования; см. сообщение В. М. Жирмунского „Неизданная книга акад. Ф. Ф. Фортунатова“ (Вопр. языкозн., 1953, № 1).

освещение проблемы языкового родства, резко возражая против попыток расистского подхода к вопросам языкознания, в частности против установления „прямой зависимости“ генеалогической классификации языков „от классификации человечества по расам“.[1]

Рассматривая родственные отношения языков, прослеживая факты „постепенного образования новых языков“, Фортунатов указывал, что „эти факты составляют следствия тех изменений, которые происходят в жизни общественных союзов“.[2] В противоположность идеалистическим взглядам младограмматиков, утверждавших, что сколько существует индивидов, столько существует индивидуальных языков, и ставивших при этом языковую эволюцию в непосредственную зависимость от сдвигов, совершающихся в речевой деятельности индивидов, Фортунатов правильно подходил к этой проблеме, подчеркивая: „Язык принадлежит не одному лицу, а обществу“.[3]

Большое место в курсах занимала также глубокая и развернутая критика принципов морфологической классификации языков Шлейхера, М. Мюллера и Потта.

Богатое наследие многолетней преподавательской деятельности Фортунатова, сохранившееся в виде целой серии курсов, изданных литографическим способом и трудно находимых, нуждается в специальном изучении.[4] Только в результате такого изучения можно будет по-настоящему оценить глубину влияния, оказанного Фортунатовым на современную ему науку.

К сожалению, Фортунатов сравнительно редко печатал свои исследования. Зато в лекциях он щедро делился со слушателями богатыми плодами своей творческой мысли в области как общих, так и частных вопросов сравнительно-исторического языкознания.

Общими свойствами всех курсов Фортунатова, пишет один из его учеников, „равно как и вообще всего его научного творчества, были: поразительная точность в определении самих фактов, служивших материалом для исследования, необычайная глубина анализа и острота мысли, позволявшие проникать глубоко в самую суть явлений и не пропускавшие

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1879—1880, стр. 29.

[2] Там же, стр. 30.

[3] Там же.

[4] См. подготовленную автором данной работы статью „Теоретические взгляды Ф. Ф. Фортунатова в ранний период его научной деятельности“.

мельчайших деталей, ускользавших от внимания других исследователей. В отличие от многих представителей западной науки он никогда не впадал в преувеличения в пользовании так называемой аналогией при объяснении явлений в области истории звуков, а всякий, кто знаком с историей сравнительной грамматики, хорошо знает, к каким невероятным аналогиям нередко прибегали в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов. От таких увлечений предохраняло Ф. Ф. (Фортунатова) его глубокое проникновение в суть исследуемых фактов и отличные филологические знания в области отдельных языков. Его обширные познания в логике, психологии и истории философии и его самостоятельное отношение к проблемам этих дисциплин ярко сказывались на общих курсах и на введениях к курсам морфологии, представлявших в наиболее полном изложении глубокие и тщательно продуманные монографии".[1] И далее: „Его курсы, постоянно им перерабатывавшиеся и верно отражавшие движения его мысли, неуклонно стремившейся вперед, были драгоценной школой не только для приступавших к занятиям лингвистикой, но и для многих магистрантов и для сложившихся уже ученых, которые приезжали в Москву из других университетских городов и из-за границы для того, чтобы слушать лекции Ф. Ф. (Фортунатова)".[2]

Об этом же говорит С. П. Обнорский: „Многие молодые слависты и вообще лингвисты, позднее завоевавшие себе крупное имя в науке, в свое время специально приезжали с Запада и из различных славянских стран в Москву — учиться у Фортунатова. Живое воздействие творческой мысли Фортунатова, помимо влияния собственно печатного его наследия, было несомненно действенным, не говоря только о русской науке, но и в общей европейской науке".[3]

Как справедливо замечает В. К. Поржезинский, своевременное опубликование Фортунатовым его открытий „не раз сократило бы ход западной научной работы".[4]

Научное наследие Фортунатова, оказавшего глубокое и многостороннее влияние на развитие языковедения конца XIX

---

[1] В. Поржезинский. Филипп Федорович Фортунатов. М., 1914, стр. 17—18.

[2] Там же, стр. 20.

[3] С. П. Обнорский. Итоги научного изучения русского языка. Уч. зап. МГУ, вып. 106, М., 1946, стр. 12.

[4] В. Поржезинский, ук. соч., стр. 20.

и начала XX в., как это ни странно, до сих пор еще очень мало изучено. Не приходится сомневаться в том, что давно ожидаемое опубликование его лекционных курсов по-новому осветит ряд моментов в развитии сравнительно-исторического метода лингвистического исследования. Так, например, еще С. К. Булич отмечал, что характерной особенностью метода Фортунатова являлась „наклонность объяснять различные позднейшие фонетические особенности индоевропейских языков существованием соответствующих минимальных разниц уже в индоевропейском праязыке“.[1] Как известно, положение это приобрело значительную актуальность в компаративистике XX в. Было бы весьма важно уточнить роль Фортунатова в его разработке и определить степень влияния, оказанную в этом отношении лекционными курсами, в которых Фортунатов раскрывал перед слушателями лабораторию своей научной мысли.

К школе Фортунатова в России принадлежали А. А. Шахматов, Г. К. Ульянов, В. К. Поржезинский, М. М. Покровский, В. Н. Щепкин, Б. М. Ляпунов, Л. З. Мсерианц, А. И. Томсон, Д. Н. Ушаков, Е. Ф. Будде и др.

Из иностранных ученых могут быть названы О. Брок (Норвегия), Торбьёрнсен (Швеция), Педерсен (Дания), Поль Буайе (Франция), Сольмсен и Бернекер (Германия), Мурко (Чехия), Миккола (Финляндия) и др.[2]

Все они в той или иной мере испытали влияние общения с выдающимся русским ученым, пролагавшим новые пути в развитии сравнительно-исторического языкознания.

Из числа учеников Фортунатова научные принципы своего учителя с наибольшей глубиной и талантом развил выдающийся исследователь истории русского языка А. А. Шахматов.

Заканчивая обзор некоторых лингвистических направлений, последней четверти XIX в., составивших новый этап в развитии исторического языкознания, остановимся кратко также на раннем произведении Ф. Соссюра „Исследование

---

[1] С. Б[ули]ч. Фортунатов. Энциклопед. словарь, изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефроиа. СПб., 36, 1902, стр. 323.

[2] См.: М. Н. Петерсон. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. Уч. зап. МГУ, вып. 107, 1946, стр. 32.

о первоначальной системе гласных звуков в индоевропейских языках",[1] появившемся в 1879 г.

Эта работа в отличие от трудов соссюровских современников, полемически заострявших свои взгляды в борьбе со старой языковедной школой, не содержит изложения взглядов автора по общетеоретическим вопросам. Как известно, молодой Соссюр был близко связан с лейпцигским кружком младограмматиков. Поэтому можно предположить, что по вопросу о процессах языкового развития, в частности по вопросу о роли звуковых законов и аналогии, он в основном разделял взгляды этого научного направления.[2]

Однако определяющая установка соссюровского исследования обнаруживает существенное отличие от общей линии младограмматических изысканий в области сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков. В противоположность характерному для младограмматиков стремлению атомизировать языковые явления, изучать историю каждого отдельного звука вне связи с общей фонетической системой, присущей языку в тот или иной период его развития, в основу исследования Соссюра с самого начала было положено понятие языковой системы. Занимаясь вопросами реконструкции древнейшего состояния индоевропейского вокализма, Соссюр строил свою работу не как механическое перечисление состава звуков общеиндоевропейского языка, но пытался установить внутреннюю взаимосвязь отдельных элементов характерной для него системы гласных и сонантов.

Такой исследовательский подход принес свои положительные результаты. Соссюру удалось не только тщательно проанализировать древний звуковой состав индоевропейских языков и разобраться в сложной системе чередования гласных, затемненной позднейшими фонетическими изменениями, но ему также удалось реконструировать (правда без уточнения

---

[1] F. de Saussure. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.

[2] Характерно, что Дельбрюк, излагая историю сравнительного языкознания XIX в., упоминает Соссюра в числе ученых, непосредственно примкнувших к младограмматической школе (B. Delbrück. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. 6-te Ausg., Leipzig, 1919, стр. 123). И впоследствии, определяя принципы так называемой „диахронической лингвистики" и искусственно противопоставляя ее „синхроническому" изучению языка, Соссюр полностью сохранял установки младограмматического направления по вопросу о характере и значении фонетических изменений, а также по вопросу о роли аналогии как „принципа новообразований в языке".

его реального качества) исчезнувший во всех известных в то время индоевропейских языках звук (условно обозначенный им как *A*), игравший важную роль в структуре древнейшего индоевропейского вокализма.[1] Много лет спустя открытие так называемых „ларингальных" согласных в хеттском языке подтвердило правильность соссюровской гипотезы.[2]

Основные положения соссюровской теории индоевропейского вокализма состоят в следующем: каждый индоевропейский корень в неослабленном виде содержит гласный a_1 *(e)*, чередующийся с a_2 *(o)*. Этот гласный может выступать либо сам по себе, либо в сочетании с так называемым „сонантным коэффициентом". В роли таковых выступают сонанты *i̯*, *u̯*, *r*, *l*, *m*, *n*, а также реконструированный Соссюром исчезнувший повсеместно звук *A*, фонетический характер которого оставался неуточненным. Сочетания основного гласного с сонантом дают дифтонги *ei̯* $(a_1 i̯)$, *oi̯* $(a_2 i̯)$, *eu̯* $(a_1 u̯)$, *ou̯* $(a_2 u̯)$, *er* $(a_1 r)$, *or* $(a_2 r)$, *en* $(a_1 n)$ и т. д., аналогичные сочетания с *A* дают различные варианты долгих гласных. По своей функции в древнейшей системе индоевропейского вокализма эти долгие гласные соответствуют дифтонгам. В неударном слоге основной гласный (a_1 или a_2) выпадает и „сонантный коэффициент", если таковой наличествует в корне, приобретает слогообразующую функцию. Различные сочетания основного гласного (и его варианта) с „сонантными коэффициентами" и различные случаи, когда тот или иной „сонантный коэффициент" выступает самостоятельно в неударенной форме корня, составляют исторический источник для того пестрого многообразия гласных звуков, которое характерно для фонетической системы отдельных индоевропейских языков и которое в конечном счете концентрируется вокруг закономерного чередования гласных *e/o* (по Соссюру a_1/a_2) и различных типов вокализма неударенных и слабоударенных слогов.

Исследование Соссюра было построено на основе тщательного анализа вокализма ряда древних индоевропейских языков и очень богато конкретными лингвистическими фактами. Хотя отдельные выводы этого исследования подверглись в дальнейшем пересмотру и уточнению, однако общие закономерности древнейшей системы индоевропейского вокализма были в нем установлены в основном несомненно

[1] Помимо *A*, Соссюр реконструировал также другой гипотетический звук, обозначенный им как *Q*, игравший, по его мнению, сходную с *A*, но менее важную роль в системе индоевропейского вокализма.

[2] См. гл. III.

правильно, как показали последующие изыскания в этой области. И в настоящее время общая теория индоевропейских чередований гласных излагается обычно в том виде, как ее сформулировал в своем исследовании Соссюр (конечно, с необходимыми поправками и дополнениями).[1]

Ранняя работа Соссюра была, как видим, посвящена одному из частных вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков и не содержала никаких методологических обобщений. Однако влияние ее на последующее развитие сравнительно-исторического языкознания было очень велико. Исследование это не только внесло существенный вклад в разрешение одного из запутанных вопросов сравнительной грамматики, но также служило образцом тонкого и детального анализа фактов исторической фонетики и морфологии — анализа, построенного на понимании взаимосвязи элементов языковой системы.

„Названная работа Ф. де Соссюра, — пишет А. Мейе, — не только подводила итоги и уточняла предшествующие открытия в области вокализма, но и в том смысле была новым словом, что благодаря ей возникала стройная система, обнимающая все факты уже известные и вскрывающая множество новых. С этого времени непозволительно стало в каком бы то ни было вопросе пренебрегать тем положением, что каждый язык образует систему, где все между собою связано и подчинено весьма строгому общему плану“.[2]

Введенное Соссюром в сравнительно-фонетические и сравнительно-морфологические изыскания требование — изучать явления в их неразрывной взаимосвязи, как элементы системы, присущей языку в данном его состоянии, — оказало плодотворное влияние на исследования французских компаративистов, в особенности виднейшего из них, А. Мейе, который являлся непосредственным учеником Соссюра.

Следует заметить, что ни в соссюровской ранней работе, ни в работах Мейе и его школы нет того разрыва между синхронией и диахронией, который в дальнейшем явился одним из основных положений общей теории языка, излагавшейся Соссюром в его лекционных курсах[3] и послужившей основой

---

[1] См., например: А. Мейе. Введение..., стр. 173—186. Мейе, как и большинство компаративистов, не пользуется соссюровским обозначением так реконструируемых гласных ($\check{A}$, $\check{O}$), выступающих в роли „сонантных коэффициентов“, но употребляет общераспространенное обозначение этих звуков — $ə$.

[2] А. Мейе. Введение..., стр. 464.

[3] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. Перевод, М., 1933.

для антиисторических построений структуралистов. Исследование системы индоевропейского вокализма, опубликованное молодым Соссюром в 1879 г., являлось для того времени непревзойденным образцом применения сравнительно-исторического метода при изучении одного из наиболее сложных вопросов исторической фонетики и оно несомненно обогащало этот метод, вводя принцип подхода к фактам языка с точки зрения общей системы, которую они составляют.[1]

Предшествующее изложение имело своей целью проследить пути сложения новых взглядов на процессы языкового раз-

[1] Поэтому мы не можем согласиться с Л. Иельмслевом, который пытается возвести начало структуралистской концепции к работе Соссюра о системе индоевропейских гласных (см.: Л. Иельмслев. Метод структурного анализа в лингвистике. Acta Linguistica, v. VI, 2—3, 1950—1951, стр. 50). Иельмслев искажает Соссюра, утверждая, что для него *A не было конкретным звуком и что „его единственно интересовала система как таковая". Понимание языковой системы в историческом исследовании Соссюра нисколько не напоминает ту лишенную всякого реального содержания, абстрактную схему, с которой оперирует Иельмслев, считающий возможным дать простейшее „структурное определение языка" на основе изучения световых сигналов на уличных перекрестках, боя башенных часов, отбивающих часы и четверти и т. п. (там же, стр. 66). Для структуралиста важно лишь соотношение неких элементов, материальная сторона которых для него лишена какого-либо интереса. Молодой Соссюр ставил перед собой задачу раскрыть объективные закономерности системы реально существовавших звуков общеиндоевропейского языка, отразившиеся в последующем развитии этой системы в отдельных индоевропейских языках. В своих выводах он опирался на тщательный анализ огромного количества реально засвидетельствованных лингвистических фактов. Хотя он и не решался определять фонетические свойства реконструированных им исчезнувших звуков (ввиду отсутствия непосредственных данных для такого определения), установленные им соотношения их с другими звуковыми единицами системы имеют настолько определенный характер, что могли учитываться как реальный факт при исследованиях различных вопросов исторической фонетики отдельных языков индоевропейской семьи. Такой подход к исследованию не имеет ничего общего со схоластическими попытками Иельмслева и его последователей построить „структурный анализ" языка на основе нескольких произвольно выхваченных примеров, в полном отрыве от исторического развития системы языка в целом.

Сказанное относится к раннему исследованию Соссюра, посвященному конкретной проблеме индоевропейской сравнительной грамматики. Но этим отнюдь не отрицается тот общеизвестный факт, что теоретические воззрения, излагавшиеся Соссюром 25—30 лет спустя в курсах лекций в Женевском университете (1906—1911 гг.), действительно заложили основу антиисторического подхода к изучению языка, характерного для ведущих направлений новейшей буржуазной лингвистики, в частности для структурализма.

вития, сменивших во многом наивные и часто грешившие против элементарных исторических фактов построения компаративистов первой половины прошлого столетия.

Принципы историко-лингвистического исследования, разработанные языковедами последней четверти XIX в., получили широкое применение в многочисленных трудах как по истории отдельных языков и языковых групп, так и по сравнительной грамматике индоевропейских языков.

Изучение сравнительной грамматики индоевропейских языков в конце XIX и начале XX в.

Одной из основных черт, определивших в последние десятилетия XIX в. новое направление сравнительно-исторических исследований, было установление непосредственной связи этих исследований с изучением истории отдельных языков.

Характеризуя сущность сравнительно-исторического метода в языкознании, Ф. Ф. Фортунатов четко формулировал в своих замечательных университетских курсах задачи дальнейшей исследовательской работы в области индоевропеистики, указывая на необходимость изучения сравнительной грамматики в неразрывной связи с конкретной языковой историей. Так, например, в записях курса „Сравнительное языковедение", читанного в 1883—1884 академическом году, мы находим следующее высказывание: „... чем более вперед продвигается работа лингвистики в области индоевропейской семьи языков, тем очевиднее становится, что обе эти стороны исследования, т. е. сравнительное изучение родственных языков и изучение отдельной истории тех же языков, так тесно связаны между собой, что не могут быть отделены одна от другой в той степени, как это представлялось возможным прежде при первых опытах исследования индоевропейских языков в том и другом отношении. Изучение истории того или другого индоевропейского языка в его отдельном существовании есть, понятно, изучение дальнейшей истории тех фактов, которые открываются из сравнения этих языков с другими языками, родственными по происхождению; но для этого сравнения требуется в свою очередь выделение в данном случае его наиболее древних фактов, а такое выделение может быть точным лишь тогда, когда основывается на изучении дальнейшей истории этих фактов в данном языке; затем и самое сравнение между собой индоевропейских языков должно быть сравнительно-историческим по методу, так как

различные индоевропейские языки находятся в различной степени родства между собою, т. е. в различном отношении между собою по самым историческим связям, а потому сравнительное изучение их должно быть изучением сравнительно-историческим, основывающимся на различиях в исторических отношениях между этими языками. Таким образом, та и другая сторона изучения индоевропейских языков, т. е. сравнительное их исследование по отношению к общему происхождению и историческое изучение тех же языков и их ветвей в отдельном существовании, так неразлучно связаны между собой, что полное научное исследование индоевропейских языков может быть только сравнительно-историческим их исследованием".[1]

Мы видим, что глава Московской лингвистической школы особенно подчеркивал важность принципа историзма в сравнительно-языковедческих исследованиях.[2]

В начале 80-х годов Фортунатов еще имел серьезные основания сетовать на недостаточность исторического изучения отдельных языков в сравнении с теми успехами, которые были к этому времени уже достигнуты в области индоевропейской сравнительной грамматики. Отдельные индоевропейские языки или отдельные ветки индоевропейской семьи, указывал он, „лучше исследованы по большей части в их связи между собой, чем в их отдельной истории, а медленность исторического изучения отдельных языков обусловливается обширностью работ, подготовительных для такого исследования и состоящих в собрании фактов того или другого языка в их исторической последовательности".[3]

Ликвидация разрыва между сравнительным языковедением и изучением истории отдельных языков составляла в этот период развития языковедной науки одну из главных и первоочередных ее задач.

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1883—1884, стр. 43—44.

[2] Характерно, что Ф. Ф. Фортунатов, так же как и другие русские компаративисты, пользовался термином „сравнительно-историческое исследование" в противоположность принятому и до сих пор в зарубежном языкознании употреблению терминов „сравнительное языкознание" („vergleichende Sprachwissenschaft", „linguistique comparée"), „сравнительный метод" („méthode comparative") и т. д., в которых принцип историзма специально не обозначен.

[3] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1883—1884, стр. 44—45.

Последние десятилетия XIX в. характеризовались значительным усилением исследовательской работы в области исторической грамматики отдельных языков и языковых групп, развивавшейся на основе применения усовершенствованной к этому времени методики сравнительно-исторического анализа.

Главное внимание в эти годы посвящалось прослеживанию деталей исторической эволюции звуков и форм и установлению частных закономерностей этой эволюции. Обильные материалы для такого рода исследований давало изучение письменных памятников, в которых отразилось состояние языка в различные периоды его истории и в различных диалектных разновидностях. Изучение фактов живой речи и привлечение данных диалектологии, начавшей в этот период развиваться как особый раздел языкознания — все это также давало возможность несравненно полнее, чем прежде, осветить развитие грамматической структуры языков, их словарного состава и фонетики. Сравнительно-исторический анализ фактов родственных языков играл при этом все бо́льшую и бо́льшую роль, так как привлечение новых лингвистических материалов создавало условия для дальнейшего более расширенного его применения.

Особенно больших успехов в эти годы достигла разработка вопросов исторической фонетики. Открытие целого ряда закономерностей в области звуковой эволюции, действовавших в различные периоды истории отдельных языков, постепенно сужало круг тех загадочных явлений, в которых языковеды предшествующей поры видели лишь сумму спорадических изменений, якобы обусловленных процессом „распада языкового организма".

Установление строгих историко-фонетических критериев в подходе к фактам лексических соответствий позволяло поднять на значительно более высокий уровень этимологические исследования, а также внести неизмеримо бо́льшую точность в анализ истории грамматических форм.

Наблюдаемые в процессе развития живых языков явления аналогического выравнивания морфологических рядов, переразложения и опрощения основ, реальные случаи грамматизации (с последующим превращением в словообразовательные и словоизменительные аффиксы) прежде самостоятельных лексических единиц, случаи взаимодействия фонетических и морфологических явлений (в частности, явления фонетических чередований, приобретающие определенное грамматическое значение в ряде языков) и т. п. — все подобного рода

наблюдения значительно расширяли горизонт языковедов-историков, давая возможность лучше и полнее осветить факты более отдаленного прошлого, которые еще несколько десятилетий назад чисто умозрительно трактовались с позиций идеалистического учения о некоем „органическом периоде“ жизни языка.

Результатом плодотворной работы языковедов этого периода было появление многочисленных исследований, посвященных различным вопросам истории индоевропейских языков, а также сравнительной грамматике отдельных языковых групп (славянской, германской, романской, иранской, балтийской, кельтской и др.). Большое значение имело составление целых серий научных пособий по исторической грамматике отдельных индоевропейских языков с дифференциацией по различным периодам их истории и по территориально-диалектным разновидностям, а также издание древних текстов со словарями и лингвистическими комментариями. Значительно усилилась работа над составлением этимологических словарей и т. д.

Хотя труды, созданные компаративистами в этот период, частично и устарели по материалу в отдельных своих разделах, в целом они до сих пор не потеряли своего научного значения и в настоящее время еще могут служить источником для усвоения той огромной суммы конкретных лингвистических познаний, которая была накоплена упорным трудом нескольких поколений исследователей, изучавших историю языков индоевропейской группы с помощью сравнительно-исторического метода.

Изменение принципов и конкретной методики историко-лингвистических исследований не могло не преобразить и такую область языкознания, как сравнительная грамматика индоевропейских языков, повернув ее от абстрактных гипотез относительно „первобытного“ строения праязыковых форм к непосредственному изучению той реальной предистории каждого из индоевропейских языков, которая вскрывается путем сравнительно-исторического анализа фактов языкового родства.

Установление сложной системы закономерных звуковых соответствий между отдельными индоевропейскими языками, открытие целого ряда взаимноперекрещивающихся звуковых законов в истории каждого из них и, наконец, более или менее приблизительная реконструкция некоего, отнюдь не „первобытного“, но исторически исходного для всей группы родственных языков состояния звуковой системы, существо-

вавшего в период, предшествовавший разделению индоевропейского единства на отдельные самостоятельные языки, — все это значительно способствовало углублению исследования древнейших этапов истории каждого языка.

Значительные успехи были достигнуты в области сравнительно-исторического изучения морфологической структуры индоевропейских языков. С помощью устанавливаемых и проверяемых путем сравнения с фактами родственных языков реконструкций для каждого из них наметилась линия развития грамматических форм на протяжении длительного пути — от древней структуры эпохи существования индо-европейского единства до современного состояния. При этом центральный момент исследования составляли уже не поиски генезиса той или иной формы, а прежде всего попытки установить то состояние структуры общеиндоевропейского языка, которое непосредственно лежало в начале независимого друг от друга последующего развития грамматического строя отдельных языков. С этой задачей была неразрывно связана другая важнейшая задача исследования — проследить, как в каждом отдельном языке конкретно протекал процесс развития форм, унаследованных от древнеиндоевропейского состояния, как эти формы постепенно видоизменялись, исчезали или переосмыслялись.

В многочисленных исследованиях, которые языковеды конца XIX и начала XX в. посвящали вопросам сравнительной фонетики и сравнительной морфологии индоевропейских языков, немало наблюдений частично устарело по материалу, немало выводов нуждается в пересмотре, немало вопросов осталось неразрешенными. Однако весь этот колоссальный труд представляет собой результат тщательного изучения реальных лингвистических фактов, достигнутый с помощью применения сравнительно-исторического метода, и может рассматриваться как бесспорное достижение языковедения того времени.

Наиболее крупным исследованием по сравнительной грамматике индоевропейских языков, опубликованным в этот период, является многотомная „Сравнительная грамматика индогерманских языков“,[1] составленная выдающимися немецкими лингвистами К. Бругманом и Б. Дельбрюком, принадлежавшими к младограмматическому направлению.

[1] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, Bd. I, 2-te Ausg., 1897; Bd. II, 1-te Ausg., 1888—1892, 2-te Ausg., 1906—1916; Bd. III, IV, V, 1893—1900.

Первое издание этого труда выходило с 1886 г. по 1900 г. Тома, посвященные фонетике и морфологии, были написаны Бругманом, автором многочисленных работ в этой области. Они представляют собой обширную сводку фактов, собранных индоевропеистами на протяжении ряда десятилетий. Как указывает сам Бругман в предисловии, целью его труда было „в кратких чертах и с выделением всего важнейшего представить современное состояние наших знаний“.[1]

В изложении фонетики Бругман отправляется от реконструированного состава звуков общеиндоевропейского языка и прослеживает отражение каждого звука по отдельным группам индоевропейских языков. Рассматривается только древнейшее исторически засвидетельствованное состояние этих языков. Дальнейшая эволюция звукового состава, за немногими исключениями, в рассмотрение не включается.

Аналогичным образом строится и изложение сравнительной морфологии. Все древнейшие формы отдельных индоевропейских языков возводятся так или иначе к общеиндоевропейскому состоянию. Стремясь как можно шире охватить фактический материал, Бругман относит к общеиндоевропейскому языку и такие формы, которые засвидетельствованы лишь в очень ограниченных пределах (так, например, форму родительного падежа единственного числа с окончанием -ī, представленную лишь в италийских и кельтских языках; ср. лат. lupī 'волка', галльск. Segomari, ирл. огамич. maqi 'сына' и др.). Таким образом, формы, общие для всех индоевропейских языков, и формы, характерные уже в древности для отдельных групп, практически недостаточно разграничиваются. Основным недостатком бругмановского капитального труда является непоследовательность в учете тех различий диалектного и хронологического порядка, которые характеризуют уже древнейшие соотношения отдельных индоевропейских языков, хотя теоретически Бругман (как мы увидим ниже) и ставил перед собой такого рода задачи.

По богатству материала, обилию собранных и систематически изложенных фактов индоевропейской сравнительной грамматики сводное исследование Бругмана до настоящего времени продолжает сохранять значение ценного научного пособия, используемого обычно в справочных целях.

---

[1] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. . ., Bd. I, 1897, стр. VI (из предисловия к 1-му изданию).

Вторую часть „Сравнительной грамматики“ составляют три тома „Сравнительного синтаксиса“, написанные Дельбрюком. Содержание этих томов представляет собой в значительной мере результат собственных многолетних изысканий автора в этой области, которая в то время являлась (и является до настоящего времени) наименее разработанным участком сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Сама специфика исследуемого предмета естественно определяла здесь несколько иное построение изложения, чем в предшествующих томах „Сравнительной грамматики“. Если в фонетико-морфологических исследованиях материальная общность звукового состава слов и формативов, унаследованных родственными языками от исходно общего состояния, предопределила возможность и необходимость применения метода реконструкции древнейших общеиндоевропейских форм, то при изучении вопросов сравнительного синтаксиса объектом реконструкции могли являться лишь грамматические значения, присущие отдельным формам именного склонения, глагольного спряжения и т. д., а также обобщенные прототипы построения словосочетаний и предложений. Естественно, что проводимые Дельбрюком реконструкции ограничиваются, таким образом, областью грамматической семантики (основные значения индоевропейских падежей и их оттенки, древнейшие особенности в употреблении форм числа, древнейшие значения форм времени глагола, модальных форм и т. п.). Методом исследования явилось при этом сопоставление сходных синтаксических конструкций в нескольких древних индоевропейских языках. Преимущественно использованы материалы древнеиндийского (ведийского), древнегреческого (гомеровского) языков, из славянских языков главным образом древнерусского, также латинского и готского. В меньшей мере привлечены материалы древнеиранские и литовские. Почти совсем не использованы данные остальных индоевропейских языков.

Помимо вопросов синтаксиса в собственном смысле слова, Дельбрюк анализирует также семантику древнейших индоевропейских словообразовательных типов (группы основ), рассматривает способы образования наречий в отдельных индоевропейских языках и т. п.

Изложение очень неровно по своему характеру. В некоторых разделах факты анализируются с возможной полнотой, с выявлением исторической специфики изучаемых явлений в отдельных языках (например, значения падежей, образование наречий, употребление предлогов, типы относительных

предложений и др.), некоторые же важные вопросы изложены довольно поверхностно (типы предикативных сочетаний и др.).

Результатом исследования отнюдь не явилась реконструкция синтаксической структуры общеиндоевропейского языка. Тем не менее для изучения истории предложения в индоевропейских языках собранные Дельбрюком материалы несомненно имеют очень большое значение, хотя автор ставил перед собой лишь ограниченную задачу — установить относительно древнейшее состояние изучаемых конструкций — и почти не пытался проследить общие закономерности их дальнейшего развития (как это с успехом осуществлял в своих сравнительно-синтаксических изысканиях А. А. Потебня[1]).

„Сравнительный синтаксис" Дельбрюка содержит большое количество фактов. Однако он не представляет собой простой сводки этих фактов. Для внимательного читателя в нем до сих пор дает себя чувствовать биение живой исследовательской мысли, атмосфера напряженного интереса к историческому прошлому изучаемых языков, стремление раскрыть генетические истоки той структурной общности, которая объединяет между собой языки индоевропейской группы, и проследить конкретные пути развития некоторых элементов этой общности.

Вопросы сравнительного синтаксиса индоевропейских языков до сих пор еще слабо исследованы. Богатый фактами и историческими наблюдениями трехтомный труд Дельбрюка не утратил своей научной ценности до настоящего времени и может быть широко использован при последующих изысканиях в этой области.

За первым изданием „Сравнительной грамматики" последовало второе, начавшее выходить в 1897 г. и подготовленное уже одним Бругманом. В процессе работы над вторым изданием Бругман существенно дополнял и уточнял разделы сравнительной фонетики и морфологии в соответствии с дальнейшими успехами исследований в этих областях. Характерно и некоторое расширение привлекаемого материала. Так, факты албанского языка, отсутствовавшие в первом издании, во втором издании

[1] Ср. также интересное исследование одного из ранних представителей сравнительно-исторического языкознания в России, Ф. Е. Корша, который на большом материале древних и новых индоевропейских языков проследил параллельное развитие в них способов относительного подчинения предложений (Ф. Корш. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877).

уже вошли в поле рассмотрения, хотя и далеко не в достаточной степени.[1]

Как указывает сам Бругман, во втором издании он попытался также несколько усилить историзм в изложении фактов сравнительной фонетики индоевропейских языков, обратив большее внимание на вопросы относительной хронологии явлений.[2]

Кроме того, с изложением фактов сравнительной морфологии Бругман объединил обширные разделы, посвященные значению рассматриваемых форм, сняв, таким образом, необходимость в особых синтаксических томах Дельбрюка. Благодаря этому изложение приобрело более целостный характер. В трактовке вопросов синтаксиса Бругман отправлялся в основном от исследований Дельбрюка, развивая и дополняя их в некоторых моментах.

В истории сравнительного языкознания коллективный труд Бругмана и Дельбрюка явился важным этапом и до сих пор представляет собой наиболее полное собрание фактов в области индоевропейской сравнительной грамматики.

Остановимся кратко на некоторых принципах исследования сравнительной грамматики, а также на тех наблюдениях и выводах относительно характера индоевропейской лингвистической общности, которые сложились в компаративистике рассматриваемого нами периода.

Установление непосредственной связи сравнительно-грамматических изысканий с изучением истории отдельных языков требовало преимущественного внимания исследователей к тому состоянию индоевропейской языковой общности, которое ближе всего могло предшествовать разделению этой общности на группы родственных языков. Несмотря на трудность решения вопросов хронологического порядка, задачи изучения истории каждого языка неминуемо упирались в необходимость реконструкции основных признаков той структуры, которая могла бы составлять непосредственную отправную точку для исторического объяснения последующих этапов его независимого развития.

---

[1] Только в разделе фонетики. В разделе морфологии материалы албанского языка, как и в первом издании, фактически отсутствуют.

[2] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. . ., Bd. I, 1897, стр. IX.

Таким образом, на первое место выдвигаются вопросы реконструкции общеиндоевропейского языка в том виде, в каком он мог существовать накануне образования ряда самостоятельных языковых групп. Занимавшие индоевропеистов предшествующих поколений вопросы индоевропейской предистории, проблема образования структуры самого общеиндоевропейского языка (в частности вопрос о происхождении характерных для него флективных форм), хотя и не снимаются, но в значительной мере отходят на задний план. Задачи восстановления общеиндоевропейских форм теряют при этом то самостоятельное значение, которое им придавалось Шлейхером и его современниками, и подчиняются ближайшим целям исторического исследования развития основных элементов структуры отдельных, родственных между собой индоевропейских языков.

Кроме того, перемещение центра исследовательских интересов с вопросов происхождения отдельных форм на вопросы реконструкции общеиндоевропейского языка в том виде, в каком его фонетический состав и грамматический строй могут быть с наибольшей степенью вероятности определены путем сопоставления фактов родственных языков, было связано с отрицательным отношением нового направления языковедов-историков к оторванным от конкретных фактов глоттогоническим гипотезам индоевропеистов старой школы.

Одним из определяющих принципов для языковедов последней четверти XIX в. было требование по мере возможности точно наблюдать лингвистические факты в их историческом развитии и в анализе явлений не переходить за пределы доступного для непосредственного изучения материала. С этой точки зрения сравнительный анализ фактов родственных языков способен давать более или менее достоверный материал лишь до известного предела. Таким пределом может являться реконструкция лишь того состояния структуры общеиндоевропейского языка, которое ближе всего лежит к начальным моментам независимого развития отдельных языков и языковых групп и научное представление о котором является необходимым элементом в изучении их истории.

С углублением в историю сложения и развития структуры самого общеиндоевропейского языка неизбежно теряется связь с той конкретной полнотой лингвистических фактов, которые составляют необходимую базу для сравнительно-исторических реконструкций.

Эта точка зрения была очень четко сформулирована Ф. Ф. Фортунатовым: „История индоевропейских языков приводит нас как к крайнему пределу для точного знания — к эпохе распадения общего индоевропейского языка; эта эпоха открывается из сравнительно-исторического изучения отдельных индоевропейских языков, и задача исследователя того или другого явления в жизни индоевропейских языков кончается только тогда, когда он сумеет проследить историю этого явления до периода распадения общего индоевропейского языка. Мы можем, конечно, и теперь, как ни недостаточно еще наше знакомство с индоевропейским праязыком, не отказывать себе в удовольствии, или частью в потребности, заглянуть и подалее, и чем менее будем мы удаляться при этом в древность от эпохи распадения индоевропейского праязыка, тем более средств будет в нашем распоряжении для объяснения занимающих нас явлений; эти средства заключаются в сопоставлении и в анализе фактов индоевропейского праязыка при помощи того знания истории языков, каким мы уже владеем, так как это знание позволяет нам судить об эпохах, недоступных для нашего наблюдения, по аналогии с тем, что нам известно относительно явлений языка из наблюдения. Как бы ни были вероятны, однако, эти предположения (а при соединении благоприятных условий они могут быть очень вероятны), мы не должны смешивать их с теми выводами, какие получаются в пределах исторического изучения языков; поэтому существенную ошибку делает тот, кто руководствуется такими предположениями при объяснении фактов, принадлежащих позднейшим, исторически известным нам эпохам в жизни языков“.[1]

Последнее предостережение Фортунатова было направлено тем языковедам, которые, увлекшись заманчивыми, но исторически непроверенными гипотезами относительно первоначального строения и значения индоевропейских флективных форм, пытались на основе этих гипотез интерпретировать факты позднейшего развития отдельных индоевропейских языков.[2]

Настойчивые призывы компаративистов последней четверти XIX в. ограничить сравнительно-грамматические реконструк-

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Разбор сочинения А. В. Попова „Синтаксические исследования“. Отчет о двадцать шестом присуждении наград графа Уварова, СПб., 1884, стр. 11.

[2] В частности, имелся в виду А. В. Попов, построивший первые главы своего исследования на гипотезе Курциуса относительно происхождения падежных форм.

ции известными пределами, не отрываться от реальных соответствий, исторически устанавливаемых между родственными языками, и не углубляться в индоевропейскую предисторию дальше того состояния структуры общеиндоевропейского языка, к которому эти соответствия непосредственно подводят, имели несомненно положительное значение. Они способствовали превращению индоевропейской сравнительной грамматики в дисциплину, внутренне связанную с историей отдельных языков; они содействовали исследованию фактов лингвистической общности прежде всего в том разрезе, который необходим для понимания того, из каких элементов слагалась древнейшая структура каждого языка и как протекало дальнейшее историческое развитие этих элементов.

Как реакция против умозрительных гипотез относительно первоначального образования флективных форм, увлекавших в свое время компаративистов старших поколений, эти установки также несомненно сыграли положительную роль, ориентировав языковедов на изучение доступных непосредственному сравнительно-историческому анализу фактов.

В то же время такое ограничение пределов историко-лингвистического исследования заключало в себе известные опасности ухода от постановки теоретических вопросов, связанных с проблемой образования и развития грамматических форм; оно слишком суживало круг изучаемых фактов, уводя от решения вопроса о том, как исторически сложились те элементы древней структуры, которые явились общим достоянием всей группы индоевропейских языков.

Преодолев недостатки, характерные для индоевропеистики первого периода, — наивную веру в возможность сразу раскрыть происхождение грамматических форм, поспешность в выдвижении всеобъемлющих глоттогонических гипотез, без обоснования их на фактах реальной языковой истории, неисторический подход к вопросу о характере языкового развития (теория „двух периодов“ в жизни языка), компаративисты конца XIX в. пошли по пути чисто эмпирической трактовки лингвистического материала, но оказались бессильными в объяснении общих закономерностей исторического развития языков.

Следует заметить, что в разработке конкретных вопросов сравнительной грамматики исследователи этой эпохи не всегда были последовательны в соблюдении указанных выше пределов анализа фактического материала. Даже такие убежденные сторонники нового лингвистического направления, как

Бругман, нередко позволяли себе заглядывать в эпоху, предшествовавшую образованию характерных для общеиндоевропейского состояния флективных форм, правда, в виде отдельных экскурсов в область, недоступную для проверки средствами сравнительно-исторического анализа. Кроме того, исследование некоторых вопросов сравнительной грамматики, в частности вопросов индоевропейского вокализма, а также вопроса о структуре индоевропейских основ, было неизбежно связано с выходом за пределы той системы флективных форм общеиндоевропейского языка, которая составляла рубеж между его доисторическим развитием и началом истории вышедших из него отдельных языков и языковых групп.

Каковы же были основные характерные черты той структуры, которая вырисовывалась с помощью сравнительного анализа фактов родственных между собой индоевропейских языков в качестве общего для этих языков исторического наследия? Совершенно ясно, что ни о каком примитивном состоянии языка в данном случае не могло быть и речи.

„Этот общий индоевропейский язык, — говорил в своих лекциях Фортунатов, — в эпоху его распадения был языком уже очень развитым, имел множество слов, грамматических форм, и это общее достояние индоевропейской семьи подверглось впоследствии в жизни отдельных индоевропейских языков длинному ряду отдельных изменений, вследствие которых отдельные индоевропейские языки в новейшие периоды их жизни кажутся мало сходными между собой“.[1]

Сравнительно-этимологические изыскания показали богатство общего словарного фонда индоевропейских языков, восходящего к эпохе древнего единства, притом не только в области слов и корней, наделенных вещественным значением (названия частей тела, явлений природы, животных, растений и т. д.), но также и относящихся к сфере обозначения абстрактных понятий. Одной из характерных особенностей древней общеиндоевропейской языковой структуры является богато разработанная система словообразования. Широко разветвленные словообразовательные гнезда, прослеживаемые по всем индоевропейским языкам в древнейшем их состоянии, включают основы, построенные от общих корней с помощью различных суффиксов, чередования гласных, различий в ударении, в глагольном словообразовании — также с помощью

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1883—1884, стр. 46—47.

инфиксации и удвоения корневого слога. В образовании имен большую роль играло также словосложение.

Хотя нет оснований возводить все архаические по типу своего образования слова в отдельных индоевропейских языках непосредственно к эпохе индоевропейской общности, глубокая древность этих типов не подлежит сомнению.

Раздел словообразования явился одной из основных частей индоевропейской сравнительной грамматики, ориентированной на реконструкцию языкового состояния, предшествовавшего распадению индоевропейского единства на ряд самостоятельных групп.[1]

Яркую особенность древней языковой структуры, лежащей в основе развития грамматического строя отдельных индоевропейских языков, составляло довольно четкое противопоставление категорий глагола и имени и соответственно этому наличие выработанной системы спряжения глаголов по лицам и числам и склонения имен по падежам. Древнейшая система индоевропейского склонения включала, по-видимому, восемь падежей — именительный, винительный, родительный, дательный, творительный, местный, отложительный и звательный, — которые, в зависимости от типов именных и местоименных основ, различались с большей или меньшей степенью четкости. Категория числа в именном склонении также выражалась, но несколько менее дифференцированно.

Детальный сравнительно-исторический анализ общеиндоевропейской системы глагольных и именных флексий, восстанавливаемой преимущественно по материалам таких языков, как древнеиндийский (ведийский), древнеиранские, древнегреческий, старославянский, литовский, латинский, из германских — готский и древнескандинавский (рунический) явился одним из достижений компаративистики конца XIX и начала XX в.

Большое место в трудах по индоевропейской сравнительной грамматике заняло рассмотрение архаических видо-временных категорий глагола (презенса, аориста, перфекта), игравших важную роль в той языковой структуре, которая явилась основой последующего развития отдельных индоевропейских языков.

---

[1] Об этом свидетельствует большое место, отводимое словообразованию в сводиых трудах по сравнительной грамматике индоевропейских языков. См., например: K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1904, и др.

Из вопросов исторической фонетики особенное внимание привлекали к себе непосредственно связанная с проблемой морфологической структуры слова проблема состава индоевропейского вокализма (гласные звуки и сонанты в их соотношении) и в особенности вопросы о древнейшем типе чередования гласных и о характере ударения.

В результате многочисленных сравнительно-грамматических исследований, произведенных в последние десятилетия XIX и в начале XX в., общий облик того грамматического строя, который являлся отправной точкой для дальнейшего развития структуры индоевропейских языков, вырисовался в своих основных, наиболее характерных чертах, хотя огромная масса конкретно-исторических деталей продолжала оставаться неясной.

Успехи, достигнутые в разработке вопросов индоевропейской сравнительной грамматики, имели большое значение для углубления работы в области исторической грамматики отдельных индоевропейских языков.

„Благодаря определению, — писал Бругман, — звуковых, флексионных (т. е. морфологических, — *А. Д.*), синтаксических и лексических особенностей праязыка для каждого члена нашей индогерманской семьи раскрывается доисторический задний план. Каждый язык оказывает помощь при реконструкции праиндогерманского языкового состояния и каждый, в свою очередь, получает для себя разъяснение, исходя из этого состояния, благодаря всему тому, что привносится родственными языками для освещения общей исходной точки“.[1]

С формальной стороны структура общеиндоевропейского языка, так же как и развившихся из него отдельных индоевропейских языков, согласно общему мнению языковедов конца XIX в., была признана флективной. Этот вывод вполне соответствует результатам реконструкции общеиндоевропейских форм спряжения и склонения, основанной на сопоставлении общих для индоевропейских языков древнейших элементов их морфологической структуры.

Так, например, сопоставление флективных форм глагольного спряжения по отдельным языкам (ср. 3-е л. мн. ч. наст. вр. др.-инд. bháranti, др.-греч. дор. φέροντι, атт. φέρουσι, ст.-слав. **берѫтъ**, др.-русск. **бероуть**, гот. baírand и т. д.) дает бесспорные основания восстанавливать для общеиндоевропей-

[1] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. . . , Bd. I, 1897, стр. 1.

ского исходного состояния также флективные формы — *bheronti 'несут', и др. Форма типа *bher-o-nti представляет собой крепко спаянное единство корневого элемента (bher-) с тематическим суффиксом основы (*-o-*) и окончанием (*-nti*), передающим не только лицо, но и число.

Точно так же, несмотря на значительные различия в области падежных окончаний и на частичный характер соответствий падежных форм между отдельными группами индоевропейских языков, не может вызывать сомнений тот факт, что сам тип флективного построения склоняемого по падежам слова, а также многочисленные варианты падежной флексии были унаследованы от эпохи индоевропейской общности.

В этом отношении очень показательны приводимые обычно в пособиях по сравнительной грамматике сводные таблицы соответствий падежных форм по отдельным индоевропейским языкам, включающие также и реконструированные общеиндоевропейские формы. Приведем в качестве примера составленные Бругманом[1] сводные таблицы склонения основ на *-o-* мужского и среднего рода в единственном и множественном числах (двойственное мы опускаем; табл. 1) и основ на *-r-* женского (и мужского) рода (табл. 2).

В этих таблицах наглядно показаны наряду со значительными чертами сходства также и значительные различия в образовании падежных форм, характерные для индоевропейских языков. Сомнения Бругмана в отношении реконструкции отдельных форм, его стремление возвести к общеиндоевропейскому исходному состоянию все конкретное многообразие типов окончаний, представленных в том или ином языке, так же отчетливо выступают при анализе этих сводок.

Факты сравнительной грамматики индоевропейских языков неопровержимо говорят о том, что многочисленные соответствия этих языков в области морфологической структуры, составляющие наиболее характерный признак индоевропейской лингвистической группы, представляют собой результат дальнейшего развертывания общего для них древнего фонда флективных по своему строению грамматических форм.

Детальное изучение этого древнего фонда, лежащего в основе исторического развития грамматического строя каждого индоевропейского языка, явилось главным содержанием исследований компаративистов конца XIX и начала XX в.

---

[1] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik..., стр. 399 (таблицы приведены нами в сокращенном виде).

Падеж	Праиндоевр.	Др.-инд.	Греч.
			Единствен
Имен.	*u̯l̥q$^{u̯}$os [1]	vŕ̥kas [1]	λύχος [1]
Зват.	*u̯l̥q$^{u̯}$e	vŕ̥ka	λύχε
Вин.	*u̯l̥q$^{u̯}$om	vŕ̥kam	λύχον
	*jugom [2] ср. род.	yugám [2]	ζυγόν [2]
Родит.	1. *u̯l̥q$^{u̯}$osi̯o, -oso, -eso 2. *u̯l̥qu̯ī	vŕ̥kasya	λύχοιο -ου
Отлож.	*u̯l̥q$^{u̯}$ōd (-ēd)	vŕ̥kād	Дельф. Fοιχω,[3] [λυχοιο, -ου]
Дат.	*u̯l̥q$^{u̯}$ōi	vŕ̥kāya, авест. vəhrkāi	λύχῳ
Местн.	*u̯l̥q$^{u̯}$oi, -ei	vŕ̥kē	οἶχοι [3]
Творит. . . .	1. *u̯l̥q$^{u̯}$ōm (?), -ō(-ē) 2. -obhi, -omi	vŕ̥kā, vŕ̥kēṇa+	πονω (πόνηρος), [4] эпич. θεόφι [5]
			Множествен
Имен.	*u̯l̥q$^{u̯}$ōs	vŕ̥kās	λύχοι +
Вин.	u̯l̥q$^{u̯}$ons	vŕ̥kān, авест. vəhrką	λύχονς, -ους
	*jugā ср. род.	yugā, yugā́ni	ζυγά
Родит.	*u̯l̥q$^{u̯}$ōm	caráthām, vŕ̥kāṇām	λύχων
Мести.	*u̯l̥q$^{u̯}$oisu (и -si?)	vŕ̥kēṣu	λύχοισι, [λύχοις]
Дат.-отлож. .	Формант -bh- и -m-	vŕ̥kēbhyas	[λύχοισ(ι)]
Творит. . . .	1. *u̯l̥q$^{u̯}$ōis, 2. формант -bh- и -m-	vŕ̥kāiṣ, vŕ̥kēbhiṣ	λύχοις, [λύχοισι]

Примечания. I. Знаком плюс (+) Бругман обозначает окончания, заключает формы, взятые, по его мнению, от других падежей (явления так (среди. р.); [3] нареч. „дома"; [4] трудный, тяжелый, злой; [5] „богом, богами" войне"; [8] священный; [9] нареч. „откуда"; [10] богов (род. мн.).

Таблица 1

Лат.	Гот.	Ст.-слав.
ное число		
lupus [1]	wulfs [1]	**вльчь** [1]
lupe	wulf	**вльче**
lupum	wulf	**вльчь**
jugum [2]	juk [2]	**иго**+ [2]
lupī	wulfis	**[вльча]**
lupō(d), rectē(d) [6]	hwaþrō,[9] [wulfis], wulfa	**вльча**
lupō, арх. Numasioi	wulfa, др.-в.-нем. wolfe	**вльчу**
bellī [7]	wulfa, англосакс. dæʒi	**вльцѣ**
sacrō(-sanctus) [8]	wulfa, др.-в.-нем. wolfu	**вльчомь**, лит. vilkù
ное число		
lupī+, оск. Núvlanús	wulfōs	**вльци**+
lupōs	wulfans	**вльчу**
juga	juka	**ига**
deum, deōrum+ [10]	wulfē, др.-в.-нем. wolfo	**вльчь**
lupīs (?)	[wulfam]	**вльцѣхь**
[lupıs]	wulfam (?)	**вльчомь**
lupīs	wulfam	**вльчы**, лит. vilkaīs

заимствованные из местоименного склонения, в квадратные скобки ([ ]) называемого падежного синкретизма). II. Переводы: [1] „волк“; [2] „иго“ или „от бога, от богов“; [6] нареч. „прямо“, „правильно“; [7] нареч. „на

Таблица 2

Падеж	Праиндоевр.	Др.-инд.	Греч.	Лат.	Гот.	Ст.-слав.
			Единственное число			
Имен.	*mātḗ(r) [1]	mātā́ [1]	μήτηρ [1]	māter [1]	fadar [2]	**мати** [1]
Зват.	*mā́ter	mā́tar	μῆτερ	māter (?)	fadar (?)	**[мати]**
Вин.	*mātérm̥	mātáram	μητέρα	mātrem	fadar (?)	**матерь**
Родит.	*mātrés, -ós и *mātr̥̄s	mātúr, авест. brāϑro [5]	μητρός, -τέρος	matris	fadrs	**матере**
Отлож.	*mātrés, ós и *mātr̥̄s	mātúr	μητρός, -τέρος	[mātre]	fadrs [fadr]	**матере**
Дат.	*mātrai	mātrḗ	[μητέρι, -τρι]	mātrī	[fadr]	**матери**
Местн.	*mātéri, -trí	mātári	μητέρι, -τρί	mātre	fadr	**матери**
Творит. . . .	?	mātrā́	[μητέρι, -τρί]	mātre	fadr	**матерьѭ**
			Множественное число			
Имен.	*mātéres	mātáras	μητέρες	mātrēs	fadrjus, прасев. dohtriR	**матери,** лит. móters
Вин.	*mātr̥ns и -*térn̥s(?)	mātr̥̄ṣ	μητέρας, θύγατρας [3]	mātrēs	fadruns	**матери**
Родит.	*mātrṓm	mātr̥̄ṇā́m	πατρῶν,[4] μητέρων	mātrum	fadrē	**матеръ**
Местн.	*mātr̥su и -si (?)	mātr̥̄ṣu	μητράσι	[mātribus]	[fadrum]	**матерьхъ**
Дат.-отлож. . .	Формант -bh- и -m-	mātr̥̄bhyas	[μητράσι]	mātribus	fadrum (?)	**матерьмъ**
Творит.	Формант -bh- и -m-	mātr̥̄bhiṣ	[μητράσι]	[mātribus]	fadrum	**матерьми**

Примечания. I. Объяснение знаков см. примечание к табл. 1. II. Переводы: [1] „мать“; [2] „отец“; [3] „дочерей“ (вин. мн.); [4] „отцов“ (род. мн.); [5] „брата“ (род. ед.)

Хотя изучение это в ряде случаев сводилось к простой инвентаризации форм, унаследованных индоевропейскими языками от эпохи древней общности, без попытки установления хронологической последовательности и внутренних закономерностей развития исследуемых явлений (такова, например, бругмановская сравнительная грамматика), ценность проделанной работы, несмотря на ее преимущественно описательный характер, не подлежит сомнению.

Для изучения исторической грамматики отдельных индоевропейских языков освещение состава и характера флективных форм, унаследованных от эпохи древней общности, составляет один из очень существенных моментов, необходимых для понимания внутренних законов развития грамматического строя этих языков на протяжении ряда эпох.

Было бы, однако, ошибочным полагать, что вопрос о происхождении индоевропейской флексии остался совсем обойденным в трудах по сравнительной грамматике, относящихся к рассматриваемому нами периоду. Хотя основное внимание было направлено на ту область фактов, исследование которой ближайшим образом определялось задачами исторического изучения основных элементов структуры конкретных индоевропейских языков и анализ которых мог опираться на более или менее достоверный материал реальных морфологических, фонетических и лексических соответствий между этими языками, проблемы генетического порядка не могли не вставать перед языковедами, подходившими к явлениям языка не статически, а с точки зрения их непрерывной изменчивости во времени.

Выдвинутая основателями сравнительного языкознания гипотеза о том, что образованию индоевропейской системы флективных форм предшествовало „дофлективное" состояние, сохраняет свое значение также и в исследованиях компаративистов конца XIX и начала XX в., однако уже вне какой-либо связи с теорией особого „органического" периода в развитии языков, являвшейся пройденным этапом языковедной науки.

В „Сравнительной грамматике" Бругмана гипотеза эта формулируется следующим образом: „Мы можем предположить для нашей языковой группы существование такого периода, когда суффиксальные и префиксальные элементы еще не прилипали тесно к словам. Формы слов этого периода принято называть корнями и соответственно с этим принято говорить о корневом периоде (Wurzelperiode) в развитии индогерманских языков. Этот период лежал далеко позади той

стадии развития, формы которой мы ближайшим образом восстанавливаем путем сравнения отдельных ветвей индогерманской языковой семьи и которую обычно называют индогерманским языком-основой".[1]

Возникновение индоевропейских флективных форм словообразования и словоизменения Бругман объясняет процессом словосложения, т. е. слияния синтаксически связанной группы основ в лексическое единство — слияния, имеющего своим результатом изоляцию целого в отношении к его составным элементам.

При этом Бругман полагает, что „это слияние слов совершалось с самого начала тем же путем, как в исторические эпохи развития отдельных языков части сложных слов, стоящие позади или в начале, превращаются в флективные, суффиксальные или префиксальные, элементы".[2]

Полемизируя с представителями старой индоевропеистики, Бругман подчеркивает: „Образование флексий не является делом какого-то определенного доисторического периода в развитии индогерманских языков, не является процессом, закончившимся к определенному моменту времени, но, однажды начавшись, совершалось снова и снова на протяжении всех эпох языковой истории и будет вероятно повторяться и в будущем, пока существуют и развиваются дальше наши языки".[3]

Бругман допускает, что попытки возвести падежные и иные суффиксы к самостоятельным некогда лексическим, единицам могут составлять одну из задач сравнительного исследования индоевропейских языков. Однако к практическому осуществлению таких попыток он относится скептически. Разрешить эту задачу, пишет он, „наука способна лишь в незначительной ее части, почти только по отношению к тем элементам, которые приобрели характер элементов флексии уже после образования отдельных языковых ветвей. Те составные части слов, которые мы привыкли обозначать как праиндогерманские суффиксы или префиксы и которые не поддаются этимологическому анализу в той их форме, в какой они выделяются из состава слова, или даже в том древнейшем их виде, в каком они восстанавливаются с помощью звуковых законов,

---

[1] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik..., Bd. I, 1897, стр. 32—33.

[2] Там же.

[3] Там же.

мы вообще не вправе выдавать за первоначально самостоятельные слова".[1]

В связи с этим Бругман указывает на сложность процессов развития морфологических элементов, на возможность сдвигов, обусловленных действием звуковых изменений, аналогии, а также перераспределением соотношений между отдельными частями слова. Все это, по его мнению, делает чрезвычайно сомнительными всякие предположения относительно происхождения большинства общеиндоевропейских флективных формантов.

Относительно более доступными для этимологических изысканий Бругман считает личные глагольные окончания и некоторые падежные суффиксы. Так, например, он вскользь замечает, что *-m* в др.-инд. (á)bharam, праиндоевр. *(é)bherom 'я нес' может быть этимологически связано с местоимением 1-го лица единственного числа *me-, а окончание местного падежа единственного числа *-i* может восходить к местоименной основе **i*-, **ei*-. Но специального обоснования подобного рода гипотезы ни в трудах Бругмана, ни в трудах его современников не получали.

В отношении попыток определить происхождение общеиндоевропейских основообразующих суффиксов Бругман занимает отрицательную позицию.

Гипотезой о „дофлективном" прошлом индоевропейских языков Бругман пользуется при рассмотрении вопроса об архаическом типе индоевропейского словосложения, замечая, что происхождение типа сложных слов с падежно неоформленным (чистая именная основа) первым элементом (например др.-инд. açva-yúj- 'коней запрягающий', ср. греч. аналогичное Ἱππό-ζυγος и др.) можно понять лишь в том случае, если допустить, что в отдаленном прошлом падежно неоформленные именные основы (например *eк̑u̯o- 'конь') могли употребляться в предложении в такой же функции, как позднее флективные падежные формы.[2]

Но в общем трактовке подобного рода вопросов индоевропеистика конца XIX в. уделяла сравнительно мало внимания. Скептическая позиция Бругмана была характерна для большинства языковедов этого периода.

Как уже отмечалось выше, основное содержание исследований по индоевропейской сравнительной грамматике в этот

---

[1] Там же.

[2] См.: K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik..., стр. 298—299.

период составляла реконструкция языкового состояния, которое должно было предшествовать образованию отдельных групп индоевропейских языков. Однако реконструкция эта была сопряжена с очень большими трудностями, обусловленными прежде всего самим характером того лингвистического материала, который находился в распоряжении у исследователей. При всем сходстве деталей морфологической структуры, наблюдаемом при сравнении индоевропейских языков, — сходстве, с необходимостью указывающем на общность их происхождения, сопоставляемые и тщательно анализируемые факты все же не давали возможности реконструировать структуру абсолютно единого во всех своих элементах древнего общеиндоевропейского языка.

Так, например, хотя исследование древнейших форм именной флексии в индоевропейских языках показало наличие не только единства типов склонения в зависимости от общей для всех этих языков системы именных основ, но и некоторого количества действительно тождественных падежных формантов (окончания именительного и винительного падежей в единственном и множественном числе, частично окончания родительного падежа и др.), однако общая картина индоевропейского склонения, вырисовывающаяся в результате сравнительно-исторического анализа фактов, весьма разноречива и никак не соответствует представлению о системе форм единого языка. Многообразие сохранившихся в отдельных языках древних падежных окончаний не дает возможности реконструировать общее для всех этих языков исходное состояние именной флексии. Благодаря этому соответствующие разделы в пособиях по индоевропейской сравнительной грамматике представляют собой как бы инвентарные списки различных, несомненно архаичных, но вряд ли принадлежавших когда-либо одному единому языку вариантов падежной флексии.[1]

Хотя морфологическая структура таких несомненно архаических по своему типу индоевропейских языков, как древнеиндийский, латинский, старославянский и др., отличалась разнообразием и богатством форм именного склонения, однако трудно себе представить реальный язык, система флексий которого вмещала бы в себе всю массу зафиксированных по отдельным языкам типов падежных окончаний.

---

[1] Ср. приведенные на стр. 140—142 сводные таблицы падежных форм, составленные Бругманом.

В этом отношении особенно большие трудности вызывает реконструкция исходных форм окончаний для такого падежа, как творительный единственного числа, о котором Мейе позднее писал, что вопрос об окончании его „остается открытым". Бругман дает следующий перечень окончаний, возводимых им к общеиндоевропейскому состоянию.[1] А) Образования с формантами *-bhi* и *-mi*. 1) *-bhi*: в гомер. греч. -φι и -φιν—θεόφι (ср. имен. п. θεός 'бог'), ἀγέληφι (ἀγέλη 'стадо, толпа'), ἶφι (ἴς 'сила', собств. 'мускул', 'жила'), ναῦφι (ναῦς 'корабль'), в арм. gailow (gail 'волк'), srtiv (sirt 'сердце'), akamb (akn 'глаз'), marb (mair 'мать'); 2) *-mi:* в ст.-слав. **влъкомь, пѫтьмь, каменьмь**, в лит. naktimì 'ночью', sūnumì 'сыном', akmenimì 'камнем'; из германских языков изолировано в англосакс. miolcum (mioluc, miolk 'молоко'), др.-в.-нем. zi houbitun 'в головах'. Б) Другие формы. 1) *-ō̃*(*-ē̃*) и *-ṓm* (в балт. яз.) для основ на *-o*, ср. др.-инд. вед. vṛ́kā 'волком', лат. в застывшей формуле sacrō sanctus 'священный', в гот. наречие galeikō 'сходно', др.-инд. наречие paççā 'позади' (*-ca* из **-kē*), лит. vilkù 'волком' из vilkṓm; 2) *-ā̃* и *ā́m* (в балт. и слав. яз.) для основ на *-a*, ср. др.-инд. áçvā 'кобылой', греч. дор. наречие κρυφᾶ (атт. -ῆ) 'тайно', атт. λάθρᾶ, гомер. λάθρῃ 'тайно', ст.-слав. **рѫкѫ**, лит. rankà 'рукой' из *ronkám и т. д.

Для остальных именных основ Бругман вообще не решается реконструировать общеиндоевропейскую форму окончания творительного падежа единственного числа, ограничиваясь лишь указанием на окончание *-a* в общеиндоиранском (арийском), ср. др.-инд. krátvā (krátu-ṣ, 'сила', 'желание'), mātrā́ (matá 'мать') и др.

Пестрота засвидетельствованных форм усугубляется еще фактами заимствования окончаний для творительного падежа из местоименного склонения, например др.-инд. vṛ́kēṇa 'волком' по аналогии с tḗna (твор. п. ед. ч. от sa 'тот'), др.-инд. áçvayā 'кобылой' по аналогии с táyā (твор. п. ед. ч. от sā́ 'та'), также ст.-слав. **рѫкоѭ** по аналогии с **тоѭ**, и т. д.

Существенное расхождение между индоевропейскими языками обнаруживается в образовании целого ряда падежных форм именного склонения. В славянских, балтийских и германских языках в образовании форм таких падежей, как творительный и дательный, используется суффикс **-m-*, в индоиранских, италийских, кельтских и армянском языках в ана-

[1] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik..., стр. 386—387.

логичной функции используется не менее древний суффикс *-*bh*-. Греческий язык со своей изолированной формой полунаречного характера с окончанием -φι (гомеровский падеж на -φι, например δακρυόφιν 'слезами', ὄχεσφιν 'колесницей', 'на колеснице', и т. д.) примыкает ко второй из вышеназванных групп. Ср. формы творит. п. ед. ч.: ст.-слав. **сынъ-мь** и арм. srti-w 'сердцем', формы творит. пад. мн. ч.: ст.-слав. **рѫка-ми**, лит. rañko-mis 'руками', гот. gibō-m 'дарам', 'дарами' (дат.-твор. п.) и др.-инд. áçvā-bhiḥ 'кобылами', др.-ирл. mnāib 'женщинам' (дат. п.), арм. srti-wkh 'сердцами'. Форма дат.-отложит. п. мн. ч.: ст.-слав. **рѫкамь**, лит. rañko-ms 'рукам' и др.-инд. áçvā-bhyaḥ 'кобылам', авест. bāzubyō 'рукам', лат. deā-bus 'богиням', ovi-bus 'овцам', галльск. Ναμαυσικα-βο, и др.

По поводу окончаний дательного и отложительного падежей во множественном числе Бругман лаконично замечает, что праиндогерманское состояние дативно-аблативной флексии „не ясно".[1] Тем не менее архаический характер падежно-наречных образований подобного рода не подлежит сомнению.

Из числа безусловно древних форм именного склонения выделяется ограниченностью своего распространения форма родительного падежа единственного числа в склонении тематических основ, имеющая окончание *-i*. Эта форма представлена в италийских и кельтских языках — лат. lup-ī 'волка', галльск. Ategnat-i (род. п. от Ategnatos), др.-ирл. огамич. maq-i 'сына', — а также в мессапском dazimaihi, dazihi (род. п. от Dazimas Dazes).[2]

Аналогичные факты обнаруживаются и при анализе глагольных форм.

Правда, архаическая система глагольных основ, наиболее полно сохранившаяся в древнеиндийском (ведийском) и древнегреческом языках, в общем обнаруживает для всей индоевропейской языковой группы свое исконное историческое единство. Однако вряд ли есть основания пытаться наделять структуру единого общеиндоевропейского языка полным списком всех архаических по типу своего образования глагольных основ, которые зафиксированы в качестве древнего наследия в каждом отдельном языке.

При изучении индоевропейской сравнительной грамматики особенное внимание привлекают к себе факты частичных

---

[1] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik. . ., стр. 397.

[2] См.: R. S. Conway, J. Whatmough, S. G. Johnson. The Prae-Italic dialects of Italy, t. II, p. 3. London, 1933, стр. 606.

• рѫкамъ

соответствий, охватывающих не всю массу индоевропейских языков, а лишь некоторые из них. Один из ярких примеров такого рода явлений составляют образования медио-пассива с формантом -r, которые, до открытия тохарских и хеттских фактов, рассматривались как специфическая особенность только италийских и кельтских азыков. Ср. др.-ирл. 3-е л. ед. ч. наст. вр. berir 'его несут', депон, sechithir 'он следует', лат. sequitur 'следует', оск. 3-е л. мн. ч. karanter 'питаются', и т. д. Правда, в древних индоиранских языках также засвидетельствованы глагольные образования на -r, например, в 3-м л. мн. ч. активного перфекта — др.-инд. āsúr, авест. åŋharə 'они были', др.-инд. vidúr 'они узнали' (ср. 3-е л. мн. ч. перфекта в латинском языке — vīdēre 'увидели', dīxēre 'сказали', и др.) и в некоторых других формах (во 2-м и 3-м л. двойств. ч. активного перфекта, в 3-м л. медиального перфекта и др.).

Однако только в италийских и кельтских языках (в настоящее время к ним добавляются также хеттский и тохарский — ср. хетт. ešari 'сидит', 'садится', kišari 'делается', 'становится', ešantari 'сидят', 'садятся', kišantari 'делаются', 'становятся', ḫuniktari 'повреждается', 'его повреждают', тохар. kaltr 'останавливается' и т. д.) образование глагольных форм с элементом -r получило специальное развитие в качестве особого типа спряжения, характерного для медио-пассивного залога.

Частичное распространение имеет образование форм прошедшего времени с помощью аугмента, представленного только в индоиранских, греческом и армянском языках, ср. др.-инд. á-bharat 'он нес', á-ricat 'он оставил', греч. ἔ-φερε, ἔ-λιπε, арм. e-ber, e-likh и т. д. Хотя Бругман и восстанавливает общеиндоевропейскую форму *é bherom 'я нес',[1] однако нет никаких оснований предполагать существование форм прошедшего времени, образованных с помощью аугмента в предыстории остальной массы индоевропейских языков, в которых не засвидетельствовано никаких следов подобного рода образований. Следует заметить, что и в древнейших памятниках индоиранских и греческого языков употребление форм с аугментом и без аугмента было в известной мере факультативно.

Несмотря на поражающее сходство структуры древних индоевропейских языков, как в общих чертах, так и в деталях, практика сравнительно-исторического анализа конкретных фактов соответствий между отдельными языками обнаружила чрезвычайно пеструю картину, одну из характерных черт

[1] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik. . ., стр. 485.

которой составляет частичный характер распространения целого ряда явлений. Факты такого рода неизбежно поставили перед исследователями вопрос о необходимости установления хронологических различий при определении элементов структуры, унаследованных индоевропейскими языками от эпохи доисторической общности.

Так, например, Бругман предлагает дифференцировать изучаемые сравнительной грамматикой индоевропейских языков явления на: а) более древние — „общеиндогерманские" (gesamtindogermanisch) и б) относительно более поздние — „частично-индогерманские" (partiellindogermanisch). Кроме того, он указывает на возможность выделения наиболее древнего слоя (путем анализа самого строения флективных форм). Относящиеся к нему явления он обозначает как „допраиндогерманские" (vorurindogermanisch).[1]

Вопрос о частичных соответствиях и расхождениях между отдельными группами индоевропейских языков — соответствиях и расхождениях, восходящих, повидимому, к реконструируемому состоянию древней лингвистической общности, непосредственно смыкается с вопросом о тех явных новообразованиях, изменениях, которые в процессе последующего развития индоевропейской языковой семьи также захватывали по несколько языков и языковых групп.

Сюда относится ряд явлений из области фонетики, например явления палатализации, приведшие к превращению одного из рядов индоевропейских заднеязычных согласных в свистящие и шипящие звуки в индоиранских, славянских, балтийских, армянском и албанском языках (вопроса о дальнейших процессах палатализации, наблюдаемых как в этих, так и других индоевропейских языках мы здесь не касаемся). Это явление, используемое как один из характерных признаков при классификации языков индоевропейской группы (языки centum и satəm), представляет собой яркий пример общего для целого ряда языков изменения, значительно преобразившего весь облик древней индоевропейской системы фонем и совершившегося, по всей вероятности, в весьма отдаленные эпохи истории этих языков.[2]

Всю группу индоиранских языков уже в глубокой древности захватил процесс совпадения различавшихся в общеиндо-

---

[1] См.: K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. . ., Bd. I, 1897, стр. 27.
[2] См. стр. 73—75.

европейскую эпоху звуков **e*, **o*, **a* в едином звуке *a* — факт, существенно изменивший в этих языках структуру индоевропейского вокализма.[1]

Специфическим только для италийских и кельтских языков новообразованием является создание форм будущего времени (в эпоху индоевропейской лингвистической общности форм будущего времени, повидимому, вообще не существовало) с помощью суффикса *-b-(f-)*, восходящего к индоевр. **-bh-*; ср. латинские формы будущего времени от производных глаголов amābō, audībō, фалиск. carefo, pipafo, с др.-ирл. léicfea, leiciub 'оставлю', и т. д.

Правда, в число подобного рода древних изменений, захвативших по несколько групп индоевропейских языков, входят несомненно изменения, совершавшиеся независимо в отдельных языках и языковых группах. Так, например, во многом сходные явления передвижения согласных протекали в древнегерманских языках и армянском, конечно, вне какой-либо конкретноисторической взаимосвязи. Характерное для древнегреческого и италийских языков оглушение индоевропейских звонких аспирированных согласных (**bh*, **dh*, **gh*), с последующим превращением их в спиранты, могло происходить параллельно, притом в различные периоды истории этих языков. В частности, процесс спирантизации оглушенных аспирированных совершился в италийских языках значительно раньше, чем в греческом.

Охватившее большинство индоевропейских языков (иранские, славянские, балтийские, германские, кельтские, армянский, албанский) явление деаспирации индоевропейских звонких аспирированных звуков (переход **bh*, **dh*, **gh* в *b*, *d*, *g*) также относится к числу звуковых изменений, совершившихся независимо в различных группах индоевропейских языков.

Поскольку множество подобного рода изменений в области фонетического состава и морфологической структуры индоевропейских языков совершалось в очень отдаленные эпохи их истории, намного предшествовавшие началу письменной традиции, исследование их непосредственно смыкается с анализом тех частичных схождений и расхождений между отдельными языковыми группами в составе индоевропейской лингвистической семьи, которые, повидимому, уже существовали в общеиндоевропейский период.

---

[1] См. стр. 52—55.

Таким образом, проблема реконструкции общеиндоевропейского языка оказалась чрезвычайно сложной. Анализ лингвистического материала привел к необходимости постановки вопросов хронологического порядка, а также вопроса о древних диалектных различиях, обусловивших частичный характер соответствий между отдельными группами индоевропейских языков.

Поэтому нас не должна удивлять та очень осторожная формулировка „праязыковой" проблемы, которую мы находим во „Введении" к бругмановским томам „Сравнительной грамматики индоевропейских языков".

Бругман указывает на растяжимость и неопределенность понятий „праиндоевропейский период" и „праиндоевропейский язык", а также на невозможность проведения четкой грани между праязыковым состоянием и началом развития отдельных языковых групп. „Диалектные различия, — пишет он, — существовали уже в ту древнейшую эпоху, которой достигают наши реконструкции, основанные на материале отдельных языков. С течением времени изменились лишь мера, характер и соотношение диалектных различий".[1] При этом Бругман считает необходимым особенно подчеркнуть, что реконструируемые праиндогерманские формы „не образуют, вместе взятые, языка, на котором мог бы говорить какой-то особый замкнутый языковой коллектив в какой-то определенный момент времени. Эти формы принадлежали скорее всего различным областям и различным эпохам".[2]

В своих лекциях по сравнительному языковедению Фортунатов еще в 1883 г. подчеркивал, что „открывая из сравнительно-исторического изучения языков индоевропейских общеиндоевропейский язык мы не должны искать в нем такого единства, которое исключает существование диалектов".[3]

Таким образом, сравнительно-исторический анализ фактов родства индоевропейских языков привел к выводу, что то языковое состояние, которое ближайшим образом реконструируется на основе этих фактов и которое предшествовало образованию отдельных индоевропейских языковых групп, не может трактоваться как структура единого во всех своих элементах

[1] K. Brugmann u. B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. . ., Bd. I, 1897, стр. 24.

[2] Там же.

[3] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1883—1884, стр. 62.

языка. Помимо необходимости учитывать хронологические различия изучаемых лингвистических фактов, с полной очевидностью обнаружилось существование диалектных различий уже в тот период индоевропейской лингвистической общности, изучение которого составляет главное содержание сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Проблема „индоевропейских диалектов" не явилась для сравнительного языкознания новой. Понятие о процессах последовательного диалектного дробления первоначального языкового единства заключено уже в шлейхеровской схеме „родословного древа". Оставляя сейчас в стороне характерный для Шлейхера биологизм в трактовке языковых явлений, сосредоточим наше внимание на чисто лингвистической стороне этой схемы. Мы видим, что Шлейхер пытался установить определенную последовательность в образовании „ветвей" от общеиндоевропейского ствола: сперва разделение на две большие ветви — азиатско-южноевропейскую и северноевропейскую. Из первой выделились затем азиатская (индоиранская) ветвь и южноевропейская, которая в дальнейшем расчленилась на итало-кельтскую, албанскую и греческую. Северноевропейская ветвь в свою очередь разделяется на германскую и балто-славянскую, которая затем выделяет из себя отдельные славянскую и балтийскую ветви.

Всем этим диалектным новообразованиям должны были соответствовать, по мысли Шлейхера и других лингвистов, принимавших эту схему, процессы дробления индоевропейского „пранарода" и переселения отдельных его частей из первоначальной азиатской „прародины".

Выдвигались и другие схемы разветвления индоевропейского „родословного древа", по-иному представлявшие последовательность новообразования отдельных языковых групп. Например, Фик предлагал схему первоначального разделения „праязыка" на азиатскую и европейскую (индоиранскую) группы, проводя, таким образом, резкую грань между индоевропейскими языками Европы и Азии.[1]

Ни одна из этих схем не могла удовлетворить исследователей индоевропейской сравнительной грамматики, хотя в принципе теория образования языковых групп путем последовательных процессов диалектного дробления у большинства из них возражений не вызывала.

---

[1] A. Fick. Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Göttingen, 1873.

С углублением сравнительно-грамматических изысканий все яснее и яснее обнаруживалась сложность отношений между индоевропейскими языками, обнаруживалось наличие целого ряда частичных соответствий и расхождений между ними, затруднявшее возведение родства этих языков к упрощенно-прямолинейным схемам „родословного древа“. Так, например, оказывалось, что славянские и балтийские языки по одним признакам сближались с индоиранскими языками (переход палатального ряда заднеязычных взрывных звуков в спиранты), а по другим (падежные образования с формантом *-*m*-) — с германскими. Кельтские языки по признаку наличия медиопассивных форм на *-r* сближались с италийскими, а по признаку перехода индоевропейских звонких аспирированных звуков в простые звонкие взрывные — с германскими, балтийскими и славянскими и т. д. и т. п. Многочисленные факты подобного рода явно не укладывались ни в одну из предлагавшихся упрощенных схем последовательного дробления индоевропейского праязыка на ряд крупных диалектных „ветвей“, которые затем должны были в свою очередь также прямолинейно дробиться на более мелкие группы и подгруппы. Вполне естественными поэтому были старания языковедов найти новое решение этого сложного вопроса.

Характерно, что элементы концепций, которые были противопоставлены теории шлейхеровского „родословного древа“ уже в начале 70-х годов („теория географического варьирования“ Г. Шухардта и „теория волн“ И. Шмидта), восходят к идеям самого же Шлейхера, высказывавшимся им в беседах со студентами, в числе которых находились и Шухардт и Шмидт. Шухардт вспоминает эти беседы: „Однажды сидели мы — нас было немного — за столом вместе с Шлейхером, и он изложил нам, отвечая на наши вопросы, свои взгляды на постепенное варьирование языков по всему земному шару, причем упомянул, между прочим, и о географии растений“.[1] И далее Шухардт замечает, что в то время „теория географического варьирования носилась, как говорят, в самом воздухе“.[2]

В 1872 г. И. Шмидт выступил с резкой критикой шлейхеровской и фиковской схем „родословного древа“ в неболь-

---

[1] H. Schuchardt. Der Individualismus in der Sprachforschung. Hugo Schuchardt-Brevier, 2-te Ausg., Halle (Saale), 1928, стр. 432—433.
[2] Там же, стр. 433.

шой работе, озаглавленной „Отношения родства между индогерманскими языками".[1]

Подвергнув анализу факты частичных соответствий между отдельными группами индоевропейских языков, Шмидт показал полную несостоятельность выделения „азиатско-южноевропейской" и „североевропейской" ветвей, предлагавшегося Шлейхером, так же как и противопоставления „европейского" и „азиатского" языковых единств, которое проводилось Фиком. Шмидту удалось убедительно показать наличие двусторонних (и более) связей в области лексики, грамматики, фонетики, объединяющих каждую отдельную языковую группу с другими, — связей, не сводимых к слишком прямолинейным схемам „родословного древа".

Большое внимание Шмидт посвятил рассмотрению особых соответствий, характерных для соотношений славянских и балтийских языков с германскими, с одной стороны, и индоиранскими — с другой. В качестве примера можно привести анализ старославянской формы дательного падежа множественного числа женского рода desĭnamŭ (**десьнамъ**) 'правым' (dextrabus). Шмидт указывает на наличие присущего только североевропейским языкам падежного суффикса (*-mŭ*, лит. *-mus*, гот. *-m*), характерной для всех европейских языков огласовки корня (ср. лит. dešinė̃, др.-в.-нем, zesawa, лат. dexter, греч. δεξιός) и в то же время типичного для индоиранских языков основообразующего суффикса -ĭnŭ (ср. др.-бактр. dašina-, санскр. dakšiṇa-).[2]

Рассмотрение подобного рода случаев сложного перекреста диалектных особенностей приводит Шмидта к следующему выводу: „Держась за мнение о том, что языки, существующие в историческое время, вышли из праязыка путем многократных раздвоений, т. е. принимая теорию родословного древа индогерманских языков, можно как угодно крутиться и вертеться, но, однако, никогда не удастся научно объяснить все подлежащие исследованию факты".[3]

Шмидт подчеркивает невозможность отрыва славянских и балтийских языков ни от индоиранских, ни от германских и предлагает рассматривать славяно-балтийскую группу как „органическое связующее звено" (die organische Vermittelung)

---

[1] J. Schmidt. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.

[2] Там же, стр. 16.

[3] Там же, стр. 17.

между индоиранскими и германскими языками. При этом балтийские языки ближе связаны с германскими, чем славянские, а славянские в свою очередь ближе связаны с индоиранскими и в особенности с иранскими. Точно так же мыслится и положение греческого как посредствующего звена между индийскими языками, с одной стороны, и италийскими — с другой; италийские в свою очередь смыкаются с кельтскими, кельтские с германскими и т. д. Таким образом, все индоевропейские языки оказываются связанными между собой цепью непрерывных переходов.

На основе представления о подобной непрерывности языковых связей и строится так называемая „волновая теория“ Шмидта, сущность которой заключается в следующем: индоевропейская речь уже в древности должна была распространиться по обширной территории. Внутри этой обширной территории распространения единого языка могли в отдельных местах возникать время от времени новые явления в области фонетики, грамматики, лексики. Распространение этих явлений Шмидт образно представлял с помощью аналогии с кругами, волнообразно расходящимися по воде. Сферы волнообразного распространения отдельных явлений перекрещивались.

Таким образом, концепции последовательного дробления первоначального языкового единства на отдельные группы Шмидт противопоставил схему постепенных, незаметных переходов между не имеющими четких границ диалектами внутри обширной области распространения индоевропейской лингвистической общности. Образование определенных границ между исторически известными индоевропейскими языками мыслилось Шмидтом как результат позднейшего обособления их друг от друга. Факты языкового родства трактовались Шмидтом как остатки древней сети непрерывных переходов, покрывавшей всю область распространения общеиндоевропейской речи.

При этом характерно, что Шмидт усматривал в географическом размещении народов, носителей индоевропейской речи, в исторически засвидетельствованные поздние периоды их существования непосредственное отражение того положения, которое их предки занимали по отношению друг к другу в древности.

Основной недостаток этой концепции заключается в ее полном отрыве от каких-либо представлений о реальных возможностях исторического развития народов, говорящих (и говоривших некогда) на индоевропейских языках. Недаром корни теории „лингвистической непрерывности“ или „географического

варьирования" восходят, как припоминает Шухардт, к воззрениям Шлейхера, пытавшегося трактовать языковые факты с естественноисторической точки зрения.

Предлагавшиеся Шлейхером и Фиком схемы „родословного древа" носили крайне наивный, упрощенный характер и легко опрокидывались с помощью более детального анализа лингвистических фактов. Главным препятствием к установлению подлинно научной, исторической классификации индоевропейских языков являлся (и является до сих пор) недостаток необходимых данных, связанный с тем, что на протяжении нескольких тысячелетий многие из индоевропейских языков постепенно исчезали, ассимилируясь в процессе скрещивания с родственными и неродственными языками. К тому же необходимо учитывать не только древние генетические связи между существующими в исторические эпохи индоевропейскими языками, но и возможность связей, возникавших в порядке экономического, политического и культурного общения племен и народов, носителей индоевропейской речи, в различные эпохи истории. Хронологический разрыв между началом появления письменности на отдельных индоевропейских языках также существенно усугубляет трудности, возникающие при попытках обрисовать историко-генетическое соотношение языковых групп в составе индоевропейской общности.

Этих трудностей не смогли преодолеть авторы различных схем „родословного древа", не учитывавшие всей сложности проблемы. Однако и „волновая теория" не внесла чего-либо существенного в решение вопроса о процессах образования родства индоевропейских языков. Она даже не могла играть роли рабочей гипотезы, так как совершенно обходила вопрос о том, каковы могли быть реальные исторические условия того постепенного распространения диалектных признаков, результатом которого явилось возникновение отдельных индоевропейских языковых групп.

Между тем, нельзя не заметить, что лежащее в основе схем „родословного древа" представление о постепенном диалектном дроблении первоначального языкового единства в связи с уходом отдельных групп населения, говоривших на общеиндоевропейском языке, с древней „прародины" на новые территории в сущности не противоречит исторической концепции новообразования племен и племенных языков путем разделения. Это понимал Фортунатов, который, освещая вопросы языкового родства, указывал, что „связь между отдельными говорами языка определяется отношениями, кото-

рые существуют между частями разросшегося общественного союза. Где эти отношения тесны, там жизнь отдельных говоров, способных постоянно дробиться, подчиняется одинаковым общим изменениям, зависящим от общих условий. Но рядом с этими общими изменениями каждый из говоров испытывает свои частные, подобно тому, как отдельные части общественного союза ведут каждая свою особую жизнь, зависящую от особых условий, общих для всего союза. Чем сильнее действуют эти особенные условия, тем слабее связь части союза с целым, тем свободнее развитие отдельных говоров. Наконец, когда та или другая часть вполне отделяется и теряет связь с целым союзом, язык такой части общества с течением времени, подвергаясь постоянным изменениям, может сделаться совершенно непонятным для старого общества, язык которого также испытывает, в свою очередь, целый ряд изменений. В этом постоянном дроблении языка на диалекты отражаются колебания, которые испытывает жизнь самого общества. Но не одно только дробление дает те элементы, из которых слагается новое общество. Новое общество возникает также из соединения отдельных союзов, из которых каждый входит в новый общественный союз со своим языком или диалектом. Эти диалекты начинают теперь вести общую жизнь, вследствие чего различия, существующие между ними, могут постепенно сглаживаться, при том влиянии, которое оказывает на них общая жизнь. Наконец, некоторые из диалектов могут с течением времени исчезнуть совершенно, если они недостаточно сильны, чтобы сохранить свою самобытность".[1]

Мы видим, что Фортунатов наряду с диалектным дроблением, которое является основным для процесса образования групп родственных языков фактором, указывает также на значение явлений объединения, концентрации родственных языков или диалектов, связанных с образованием новых общественных союзов. Несомненно, что история образования индоевропейской лингвистической группы состояла не только из фактов последовательного распада отдельных „праязыков" на все более и более мелкие диалектные группы и подгруппы, как это с наивной прямолинейностью представлял Шлейхер, предложивший знаменитую аналогию с разрастанием ветвей дерева. По всей вероятности на протяжении длительных, не

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций в Московском университете. 1879—1880, стр. 30—31.

засвидетельствованных памятниками письменности периодов существования племен и народностей, говоривших в древности на индоевропейских языках, не раз могло иметь место образование новых этнических единств не только путем дробления, но и путем слияния, концентрации родственных (а возможно иногда и неродственных) племен. Как замечает И. В. Сталин, племена и народности, начиная с глубокой древности, „дробились и расходились, смешивались и скрещивались“,[1] и процессы эти оказывали свое влияние на развитие языков. Нет сомнений в том, что сложная картина частичных соответствий в области лексики, грамматики и фонетики, характеризующая соотношения между отдельными группами индоевропейских языков, отразила наряду с процессами диалектного дробления языков древних племен и народностей также и процессы длительного взаимодействия между языками. При этом области географического распространения отдельных групп индоевропейских языков могли не раз изменяться в связи с переселениями племен на новые территории, что соответственно должно было оказывать влияние и на языковые отношения.

Схема „родословного древа“, если освободить ее от шлейхеровских идей об „органическом“ делении языка на „виды“ и „подвиды“, в сущности сводится к очень приблизительной и спорной, а также обычно географически весьма неопределенной фиксации линий расселения отдельных этнических групп из предполагаемого центра первоначального пребывания общественного коллектива, говорившего на общеиндоевропейском языке.

Недостатками построения Шлейхера являлись (не говоря уже о совершенно неудачных аналогиях из области естествознания), во-первых, неучет возможностей исторического взаимодействия между отдельными группами индоевропейских языков, создававших, помимо первоначального генетического родства, также языковое сближение на базе скрещивания, а во-вторых, противоречие предложенной им схемы дробления общеиндоевропейского языка на отдельные ветви с конкретным лингвистическим материалом, на что справедливо указал Шмидт в своей критике.

Научное положение о том, что новые языковые единицы могут возникать путем дробления, как известно, широко используется при изучении вопросов языкового родства. Но

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 27.

применяя это положение, необходимо всегда учитывать возможность сложного взаимодействия родственных языков в различные эпохи их истории, взаимодействия, связанного с конкретной историей народов, носителей этих языков.

Конечно, изучение в этом плане проблемы родства индоевропейских языков представляет до сих пор еще непреодолимые трудности, связанные с отсутствием достаточных сведений о древнейшей истории народов Европы и Азии, а также с отсутствием необходимых данных, свидетельствующих о древнем состоянии значительной части самих языков.

Однако практика исследовательской работы в области индоевропеистики показала, что сравнительно-историческое языкознание не может обходиться без схемы дробления языковых единств, хотя конкретное применение этой схемы при попытках классификации языков обнаруживает каждый раз и существенные недостатки, обусловленные слабостью исторической базы.

Изучение древнейшей истории отдельных языковых групп в тех случаях, когда она с большей или меньшей полнотой освещается с помощью письменных памятников и свидетельских показаний древних авторов, показало практическую полезность схемы языкового дробления, конечно с учетом конкретно-исторической специфики развития соответствующих племен и народностей.

Яркий пример в этом отношении представляет исследование древней истории восточнославянских языков в трудах А. А. Шахматова. Следуя за своим учителем Фортунатовым, Шахматов подчеркивал, что „сравнительный метод может давать непререкаемые результаты только тогда, когда он одновременно историчен“.[1] Одним из определяющих принципов историко-лингвистического исследования для Шахматова было требование изучать историю языка в связи с историей народа. Изучая древнейшие периоды истории русского языка, он указывал: „Определение относящихся к истории русского языка хронологических моментов, выяснение взаимных отношений русских наречий, указание на последовательность их образования и развития — все это приобретает осязательные очертания и твердую почву при условии тесного сближения представляющихся выводов с данными истории русского народа“.[2]

[1] А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка, ч. 1. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пгр., 1916, стр. 14.

[2] Там же, стр. 9.

Исследуя вопросы образования славянских племен и племенных языков, Шахматов указывал на связь „языковых делений с делениями племенными“. При этом он постоянно пользовался такими понятиями, как „общеславянский праязык“, „восточнославянский праязык“, „период общерусского единства“ и, наконец, „общерусский праязык“.[1] Но для него эти понятия представляли не абстрактную схему, но были наполнены конкретным содержанием, так как историю восточнославянских языков он изучал в неразрывной связи с историей восточнославянских племен и народностей.

Исследование этой проблемы показало, что при углублении в исторический и историко-лингвистический материал прямолинейная схема диалектного дробления сама по себе оказывается, однако, недостаточной. Шахматов осветил сложность исторического взаимодействия восточнославянских племен, в процессе которого имели место перегруппировка и сближение отдельных племенных языков, легшие в основу последующего образования русских, белорусских и украинских диалектов.[2]

Возвращаясь к полемике Шмидта со сторонниками теории „родословного древа“, иначе говоря — теории новообразования языков путем разделения, мы отмечаем, что теория эта, дополненная положением о возможности разнообразных случаев взаимодействия языков в порядке экономического, политического и культурного общения племен и народностей, не противоречит известным марксистским положениям относительно процессов образования племен и племенных языков в эпоху первобытно-общинного строя.[3] В развитии сравнительного языкознания эта теория сыграла положительную роль, хотя в конкретном ее применении не раз имели место заблуждения и даже чудовищные извращения фактов.

---

[1] Там же, стр, 10—16 и др.

[2] См.: А. А. Шахматов. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. СПб., 1899. Ср. также более поздние его работы, отражающие дальнейшую эволюцию его взглядов на происхождение русских наречий: „Введение“ к книге „Очерк древнейшего периода истории русского языка“ (Пгр., 1915); „Введение в курс истории русского языка“, ч. 1 (Пгр., 1916); „Древнейшие судьбы русского племени“ (Пгр., 1919). Критический разбор воззрений Шахматова см. в статье Р. И. Аванесова „Вопросы образования русского языка в его говорах“ (Вестн. Московск. унив., 1947, № 9).

[3] Фр. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, М., 1948, стр. 228—241.

Между тем, шмидтовская „теория волн“ с самого начала привнесла исторически несостоятельное представление о распространении единого общеиндоевропейского языка на обширной территории, предполагая, следовательно, уже для глубокой древности существование некоего сложившегося „народа“, что для эпохи первобытно-общинного строя, к которой восходит происхождение родства индоевропейских языков, является совершенно немыслимым постулатом. Возникновение и распространение языковых новообразований представляется Шмидтом как процесс, происходящий спонтанно, вне какой-либо связи с реальными изменениями в жизни общества. Вопрос о возникновении диалектов в этой теории в сущности подменен вопросом о возникновении отдельных диалектных особенностей, распространяющихся сетью незаметных переходов, совершенно независимо от реальных условий существования общественного коллектива, который мыслится как одно огромное нерасчлененное единство, распростертое на огромной территории.

С чисто лингвистической стороны недостаток „теории волн“ состоит прежде всего в том, что она в сущности снимает вопрос о диалектном своеобразии отдельных частей индоевропейской языковой общности, явившихся в дальнейшем исторической основой образования различных языковых групп.

В действительности зарождение индоевропейских племенных диалектов, связанное с новообразованием племен в эпоху первобытно-общинного строя, необходимо предполагает обособление некоторого комплекса лингвистических особенностей, составлявших специфику структуры каждого данного диалекта, в отличие от особенностей соседних диалектов. Наличие общих особенностей у ряда близко родственных индоевропейских диалектов и позднее — родственных языков не может служить основанием для утверждения об отсутствии в древности определенных граней между слагавшимися самостоятельными диалектными единицами, каждая из которых обладала своим собственным грамматическим строем и основным словарным фондом.

Однако, несмотря на присущие ей недостатки, шмидтовская „теория волн“ несомненно содействовала дальнейшей разработке теоретических основ сравнительного языкознания, заострив внимание на необходимости более углубленной трактовки вопросов индоевропейского языкового родства. Подчеркнув факты частичных соответствий и расхождений между различными группами индоевропейских языков, она выявила несостоятельность шлейхеровской схемы „родословного древа“ и способ-

ствовала более обстоятельному изучению сложных отношений, объединяющих между собой отдельные части индоевропейского лингвистического единства. Вопрос о диалектах, на которые уже в древности разделялась индоевропейская языковая общность, занял со времени появления работы Шмидта видное место в сравнительно-исторических исследованиях фактов языкового родства.

Теория Шмидта встретила критическое отношение со стороны представителей компаративистики. Основатель младограмматического направления А. Лескин подверг ее подробному рассмотрению в своей работе о славяно-литовском и германском склонении.[1]

Отмечая, что основной предпосылкой шмидтовского построения является предположение о непрерывной смежности областей, занимаемых народами, говорящими на индоевропейских языках, Лескин указывает, что такое предположение может быть допущено лишь для эпохи пребывания носителей индоевропейской речи на сравнительно ограниченной территории первоначальной „прародины". Последующая история развития отдельных индоевропейских языковых групп протекала не путем постепенного расширения занимаемых „индоевропейцами" смежных пространств, а в процессе многочисленных переселений в самые различные и часто очень отдаленные области, неизбежно создававших разрывы связей между частями первоначального лингвистического единства. Наблюдаемая в исторические эпохи территориальная смежность отдельных индоевропейских языковых групп, которой Шмидт придавал большое значение в своих построениях, по мнению Лескина, может быть результатом позднейших перемещений и сама по себе мало что говорит относительно доисторического прошлого индоевропейских языков.

Отбрасывая значительную часть аргументации Шмидта, Лескин снимает противоречие между самой идеей постепенных переходов, сопровождающих начальные моменты образования диалектных различий, и теорией новообразования диалектов и языков путем разделения, допуская шмидтовскую „непрерывность" лишь в очень узких пределах — исключительно для эпохи пребывания „индоевропейцев" на сравнительно ограниченной территории первоначальной „прародины".

Исходя из положения о существовании диалектных различий уже в этот период, Лескин заменяет шмидтовское объяс-

[1] A. Leskien. Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876.

нение отношений между индоевропейскими языками следующей формулировкой: „Некоторые явления, отдельные соответствия между индоевропейскими языками, быть может, объясняются тем, что разошедшиеся позднее части языкового единства, находясь на прародине, могли соприкасаться друг с другом; но позднейшее соотношение языков между собой не зависит от тех отношений, которые могли существовать первоначально, т. е. от отношений, предполагаемых между диалектами праязыка на территории прародины“.[1]

„Теория волн“ не получила дальнейшего развития в трудах самого И. Шмидта. В своих работах по сравнительной грамматике он примыкал к общему направлению исследований в этой области.[2]

Концепция Шмидта, как мы увидим ниже, приобрела чрезвычайную популярность лишь в современном зарубежном языкознании.

В конце XIX в. некоторые положения „волновой теории“ развивались П. Кречмером; однако его нельзя считать последовательным сторонником этой теории, так как в своих ранних работах ему удалось в значительной мере преодолеть ее односторонний схематизм и приблизиться к историческому пониманию проблемы родства индоевропейских языков.

В своем известном труде „Введение в историю греческого языка“[3] Кречмер, анализируя существующие теории происхождения индоевропейского лингвистического родства и справедливо критикуя примитивные схемы „родословного древа“, указывает тем не менее на необходимость признания того, что фактор новообразования языков путем разделения некогда играл существенную роль в их истории, ибо только происхождением родственных языков из одного источника может объясняться наличие общих черт в их грамматическом строе.[4]

---

[1] A. Leskien. Die Deklination. . ., стр. XV—XVI.

[2] Непосредственно близкая к взглядам Шмидта теория „географического варьирования языков“ излагалась в течение многих лет в работах Г. Шухардта, начиная с прочитанной им еще в 1870 г. лекции „О классификации романских диалектов“, впервые напечатанной только в 1900 г. (см.: Hugo Schuchardt-Brevier, 1928). Аналогичные взгляды высказывались и некоторыми другими исследователями романских языков (Г. Парисом и П. Мейером), что оказало влияние на формирование установок французской школы лингвистической географии.

[3] P. Kretschmer. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.

[4] Общность лексики могла, по его мнению, явиться результатом распространения заимствований, захватывавших большее или меньшее число языков.

В то же время Кречмер вслед за Шмидтом указывает на наличие частичных соответствий, а также более или менее сильных различий между отдельными группами индоевропейских языков; он подчеркивает необходимость учета всей сложности исторических взаимоотношений между языками и диалектами и говорит о возможности распространения отдельных диалектных особенностей в области фонетики и грамматики, а тем более элементов лексики в пределах географически смежных племенных единств в эпоху древности.

Понимая родство языков как „сумму их древнейших исторических отношений", он считает, что вопрос этот не может решаться с помощью одной какой-либо теории: „ответом на него должна являться вся древнейшая история самих языков".[1]

Допуская, что в предистории индоевропейских племен могли иметь место не только процессы разделения, но и процессы смешения, скрещивания, он предлагает изучать частичные соответствия между отдельными группами индоевропейских языков, видя в этом единственную возможность установить характер процессов их исторического взаимодействия, совершавшихся в далеком прошлом.

Его попытки изысканий в этой области, в частности попытка определить исторические связи древнегреческого с другими индоевропейскими языками, представляли бесспорный интерес.

В исследованиях по сравнительной грамматике индоевропейских языков, относящихся к концу XIX и началу XX в., противоречие точек зрения по вопросам образования языкового родства, заостренное в полемической работе Шмидта, было сглажено. Типичную для этого периода трактовку данного вопроса мы находим в „Сравнительной грамматике" Бругмана. Во „Введении" к 1-му тому Бругман указывает, что засвидетельствованное в историческое время распространение народов, говорящих на индоевропейских языках, не может быть первоначальным. Первоначально мы должны допустить, как утверждает Бругман, существование „одного пранарода или даже пранародца (Urvölkchen)",[2] который занимал сравнительно ограниченную территорию. С последующим расселением его по различным областям Европы и Азии были связаны процессы диалектной дифференциации, начало

---

[1] P. Kretschmer. Einleitung..., стр. 97.

[2] K. Brugmann. Grundriß der vergleichenden Grammatik..., Bd. I, 1897, стр. 21 и сл.

которых относится еще к эпохе пребывания на первичной „прародине". Диалектная дифференциация могла развиваться тремя путями: 1) распространение языковых новообразований в смежных областях и создание границ между возникающими диалектами; 2) прекращение языкового общения в результате переселений или благодаря образованию политических границ между отдельными смежными областями; 3) смешение с иноязычным населением, речь которого в той или иной мере могла оказать влияние на победивший язык.

Лингвистические материалы, которыми оперирует индоевропейская сравнительная грамматика, в той или иной мере отражают в себе процессы постепенного дробления первичного языкового единства. Поэтому сравнительно-грамматические исследования должны учитывать хронологическую разновременность и диалектную расчлененность изучаемых фактов.

В изложенной выше точке зрения, характерной для компаративистики рассматриваемого нами периода, получило, таким образом, отражение положение о существовании диалектов в „праязыковую эпоху", а также положение об иноязычном субстрате, смешение с которым могло оказать влияние на дальнейшее развитие отдельных индоевропейских языковых групп. Впоследствии, уже в новейшем сравнительном языкознании, положения эти выдвинулись на первый план при изучении вопросов индоевропейского языкового родства.

Теория „индоевропейских диалектов" была развернута уже в ранних работах крупнейшего французского компаративиста А. Мейе, начало научной деятельности которого относится к концу XIX в. Отличаясь в некоторых положениях от точки зрения Бругмана, теория „индоевропейских диалектов" Мейе в основном продолжает и развивает установки сравнительно-исторического исследования, сложившиеся в последних десятилетиях прошлого века.

Вопросу об индоевропейских диалектах Мейе посвятил специальную работу (собственно курс лекций, прочитанный в 1906—1907 гг.), которая была впервые напечатана в 1908 г., а затем неоднократно переиздавалась.[1] Хотя научная деятельность Мейе принадлежит уже новейшему этапу в развитии компаративистики, взгляды его по данному вопросу мы изложим в этой главе, так как они сложились еще в самом начале XX в. и как бы подводят итог тем исканиям в решении этой

---

[1] A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens. Paris, 1950.

проблемы, которые были характерны для индоевропеистов предшествующих лет.

Мейе считал, что общеиндоевропейский язык, восстанавливаемый благодаря системе соответствий между отдельными индоевропейскими языками и разделенный уже в древности на ряд диалектов, был распространен на довольно обширной территории, население которой состояло из значительного количества отдельных групп. Используя некоторые положения лингвистической географии, Мейе полагал, что диалектные различия, возникавшие на различных участках индоевропейской территории, могли бы быть в свое время прослежены с помощью изоглосс. Однако он не делал каких-либо выводов для конкретной методики сравнительно-лингвистического исследования из предположения об „индоевропейских изоглоссах", видя лишь их отражение в частичных соответствиях, объединяющих отдельные группы индоевропейских языков.

Своей задачей в этом исследовании Мейе считал прежде всего выделение определенной суммы фактов, которые могут быть отнесены к числу диалектизмов общеиндоевропейской эпохи.

В области морфологии к числу диалектных отнесены такие факты, как ограниченное распространение форм прошедшего времени с аугментом (только в индоиранских, армянском и греческом языках), раннее исчезновение форм древнего индоевропейского перфекта (в балтийских и славянских языках) или смешение их с аористными (в германских, италийских и кельтских), ликвидация основ на *-o-* женского рода в индоиранских, славянских, балтийских, германских и кельтских языках и длительное сохранение их в италийских и греческом, падежные формы с суффиксом *-bh-* в индоиранских, армянском, италийских, кельтских и греческом языках и с суффиксом *-m-* в славянских, балтийских и германских языках и ряд других явлений.

Анализируя фонетические соответствия, Мейе выделяет в первую очередь различия в трактовке заднеязычных звуков (деление языков на группы centum и satəm), причем эта „изоглосса" перекрещивается, как он полагает, с другой, фиксирующей область совпадения индоевропейских **a* и **o* (в германских, албанском, индоиранских, балтийских — в одном звуке *a*, в славянских — в одном звуке *o*), в то время как кельтские, италийские, греческий и армянский языки сохраняют эти оба звука неизмененными. Кроме того, рассматриваются такие явления, как различное развитие индоевропейских звон-

ких аспирированных звуков (утеря аспирации и сохранение звонкости в иранских, славянских, балтийских, кельтских, германских языках, переход в глухие аспирированные, с дальнейшей спирантизацией, в италийских и греческом), передвижения согласных в германских и армянском языках и др.

Анализу подвергаются также и частичные соответствия в области лексики.

В отличие от Бругмана и большинства других компаративистов Мейе полагал, следуя в этом отношении за Шмидтом, что определение территориально смежных диалектов „индоевропейской эпохи" облегчается тем, что позднейшее разделение индоевропейских языков якобы не нарушило их древнего взаиморасположения.[1] Такое представление кажется нам слишком упрощенным.

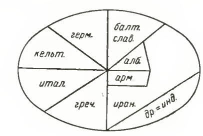
Основной интерес в исследовании Мейе представляет проводимый им анализ фактов частичных соответствий и расхождений в морфологии, фонетике и лексике, характеризующих соотношение отдельных групп индоевропейских языков и относимых к эпохе древней лингвистической общности.

Хотя Мейе и не удалось четко отдифференцировать древнейшие диалектные факты от позднейших сходных новообразований, возникавших параллельно в различных языковых группах, он, однако, более последовательно, чем многие другие компаративисты, развил положение о диалектных различиях, существовавших уже в общеиндоевропейскую эпоху.

Формулируя задачи своей работы, Мейе справедливо замечал, что „почти все существующие пособия размещают, по крайней мере с внешней стороны, в одном и том же плане

---

[1] Приводимая Мейе схема выглядит следующим образом (A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens, стр. 134):



явления различных эпох и различного характера".[1] Группируя диалектные факты, уже известные в значительной их части, он ставил себе целью показать возможность различить последовательные моменты в развитии индоевропейских языков в промежуток времени от периода единства до начала древнейших письменных памятников.

Заканчивая свой труд, Мейе сформулировал результаты исследований проблемы общеиндоевропейского языка, к которым пришло сравнительное языковедение уже к концу XIX в.: „Общеиндоевропейский язык, уже до начала разделения, состоял из сильно дифференцированных диалектов... мы не имеем права трактовать его как единый язык. Особенности, характеризующие каждую из крупных языковых групп — славянскую, германскую, балтийскую и т. д., — являются в значительной части продолжением явлений, которые, не будучи общеиндоевропейскими, относятся, однако, к индоевропейской эпохе (sont de date indoeuropéenne). И даже такие группы, как индоиранская и итало-кельтская, заключают в себе представителей различных индоевропейских говоров".[2]

И далее Мейе указывает, что рассмотрение диалектных различий, которое никогда не должно теряться из виду, „усложнит, но в то же время и уточнит изучение сравнительной грамматики индоевропейских языков".[3]

Такова была теоретическая постановка проблемы общеиндоевропейского языка, с которой сравнительно-историческое языкознание пришло к началу XX в., проделав огромный труд по описанию и систематизации фактов родства индоевропейских языков. Несмотря на все попытки реконструировать единую во всех своих элементах систему исходного для этих языков состояния древней общности, преобладающая масса фактического материала, которым располагает индоевропейская сравнительная грамматика, привела к установлению того, что в начале исторически прослеживаемого развития индоевропейских языков лежала общность целой группы близко родственных, но, однако, отличных друг от друга диалектов. Вопрос же о действительно едином общеиндоевропейском языке тем самым отодвинулся вглубь еще более далекой предистории.

При дальнейшей разработке вопросов родства индоевропейских языков проблема „индоевропейских диалектов" заняла

[1] A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens, стр. 15.
[2] Там же, стр. 135—136.
[3] Там же, стр. 136.

одно из центральных мест в исследовательской тематике. Характерно, что и другие проблемы, выдвинутые на первый план новейшей компаративистикой, были также поставлены еще в XIX столетии.

Так, например, проблема „неиндоевропейских субстратов", иначе говоря, вопрос о скрещиваниях индоевропейской речи с языками других лингвистических семей, которые могли происходить в процессе расселения древних индоевропейских племен по различным областям Европы и Азии, явилась далеко не новой для языкознания.

Предположения о роли скрещиваний в истории языков не раз высказывались на протяжении XIX в., особенно применительно к истории развития романских языков.

Постановку этой проблемы особенно заострил известный итальянский языковед Г. И. Асколи, посвятивший одно из своих „языковедческих писем" специально вопросу об „этнологических причинах языковых изменений".[1]

Асколи полагал, что в истории отдельных романских языков и диалектов скрещивание с речью ассимилированного кельтского населения сыграло исключительно большую роль; он старался доказать это с помощью анализа некоторых фонетических явлений.

Аналогичную гипотезу Асколи выдвинул и в отношении всей группы индоевропейских языков в целом, в особенности подчеркнув мысль о том, что своеобразие индоиранских языков в значительной мере определяется тем влиянием, которое некогда должна была оказать речь исконного неиндоевропейского населения Индостана и близлежащих областей, якобы „разложившая арийский языковой организм".[2] Особенности кельтского синтаксиса он также предложил объяснять скрещиванием с речью неиндоевропейского населения древней Европы.[3]

К концу прошлого века это положение превратилось в одно из общепринятых утверждений сравнительного языкознания, хотя никаких положительных доказательств того, что действительно своеобразие отдельных групп индоевропейских языков можно объяснять влиянием скрещивания с неиндоевропейской речью, приведено не было. Мы уже отмечали, что и Бругман в своей „Сравнительной грамматике" допускал предположение

[1] G. I. Ascoli. Sprachwissenschaftliche Briefe, стр. 13—56.
[2] Там же, стр. 52—53.
[3] Там же, стр. 56.

о смешении носителей индоевропейской речи с иноязычным населением, как об одном из возможных факторов, способствовавших диалектной дифференциации.

Постановка вопроса об относительном архаизме структуры различных членов индоевропейской лингвистической семьи, зависящем от той последовательности, в которой должно было происходить их отделение от первичного единства (ранее других отколовшиеся языковые группы, находясь как бы на периферии индоевропейской лингвистической общности, сохраняют более архаическое состояние структуры, чем те языки, которые дольше продолжали развиваться совместно), составляющая одно из теоретических „новшеств“ компаративистики XX в.,[1] также была выдвинута еще сравнительным языкознанием предшествующего периода.

Б. Гавранек[2] указывает на приоритет в разработке этой проблемы пражского лингвиста А. Людвига и ученика его И. Зубатого, которые еще в XIX в. развивали идею о том, что разделение индоевропейской языковой общности происходило не внезапным ударом, но постепенно, и что языки, ранее других вступившие на путь независимого развития, сохранили черты более архаической структуры.

Проблема изучения наиболее древних слоев индоевропейской морфологии оказалась, как известно, в центре внимания представителей новейшей зарубежной компаративистики. Однако основы исследования и этих проблем были также заложены в последние десятилетия XIX в. Разработка их группировалась прежде всего вокруг вопросов индоевропейского вокализма, неразрывно связанных с вопросами структуры корня и соотношения древнейших морфологических элементов в составе индоевропейского слова. Наиболее значительным трудом в этой области явилось упоминавшееся уже выше исследование Ф. Соссюра, посвященное „первоначальной системе индоевропейских гласных“,[3] определившее основное направление дальнейшей разработки этой проблемы.

Другой аспект исследования проблемы структуры индоевропейского корня был представлен в работах шведского

---

[1] См.: A. Meillet. Essai de chronologie des langues indoeuropéennes. Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, v. 32, 1931, а также работы итальянских неолингвистов.

[2] См.: B. Havranek. Sur la formation des langues indoeuropéennes par les colonisations successives. Charisteria Gvilelmo Mathesio, Praha, 1932, стр. 14—17 (с указ. библиогр.).

[3] F. de Saussure. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.

лингвиста П. Персона, который, развивая некоторые положения Г. Курциуса и А. Фика, разработал теорию „детерминативов", изложенную им в 1891 г. в работе, посвященной „распространению и варьированию корня".[1]

Сущность этой теории заключается в следующем: большое число корней, встречающихся в индоевропейских языках, заключает в себе элементы, первоначально к ним не принадлежавшие и имеющие суффиксальное происхождение. Это связано с общей тенденцией словообразовательных элементов сливаться с корнем в одно целое, образуя основы для дальнейшего словопроизводства. „Вторичные" корни, например *kert- 'резать' (наряду с *ker-), *merd- 'терять' (наряду с *mer-), *kleus- 'слышать' (наряду с *kleu-) и т. п., возникали в древности точно таким же образом, как в исторические эпохи в греческом языке из κλί-νω 'склоняюсь', 'наклоняю' возник вторичный корень κλιν-, в латинском языке из pa-scō 'пасу' — вторичный корень pasc- (pastum < *pasc-tum, pas-tor < *pasc-tor, ср. po-scō 'требую', 'спрашиваю', po-posci, др.-инд. pr̥-ch-, перф. pa-pra-cha) и т. п. В качестве элементов, расширяющих корень („корневых детерминативов") могли выступать как согласные, так и гласные.

Примеры: детерминатив *-g-* в корне ter-g-, tr-ō-g- — лат. tergĕre 'вытирать', греч. τρώγω 'грызу', τρώγλη 'дыра', 'нора', гот. þairkō 'дыра'; ср. ter-, trō- — греч. τείρω, τερέω 'тру, мучаю', лат. terō 'тру', 'сверлю', греч. τρώω, τι-τρώ-σκω 'раню', 'повреждаю', ст.-слав. **тьрж** 'тру', и т. д.; детерминатив *-p-* в корне k_2l-ep- 'утаивать', 'воровать': греч. κλέπτω 'ворую', гот. hlifan 'воровать', др.-прусск. au-klipts 'скрытый'; ср. лат. clam 'тайно', др.-ирл. celim 'скрываю', др.-в.-нем. helan 'скрывать', и т. д.

Подобно тому, как от одного корня с помощью различных суффиксов производятся различные основы, точно так же — полагает Персон — часто чередуются и различные детерминативы, присоединяясь к одному и тому же первичному корню. Детерминативы, так же как именные суффиксы, могут сочетаться друг с другом самыми разнообразными способами. Таким образом, из одного первичного корня часто возникает целый ряд вторичных, и этим объясняется чередование этимологически родственных, но не возводимых к одной праформе, корневых форм. Это явление, названное „корневой вариацией"

---

[1] P. Persson. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. Upsala, 1891. См. также более позднюю его работу: Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Upsala, 1912.

(Wurzelvariation) и широко распространенное в индоевропейских языках, необходимо учитывать при этимологических и грамматических изысканиях, чтобы, с одной стороны, избегнуть опасности, отрывать друг от друга родственные, хотя и не происходящие от одной праформы, слова, а с другой стороны, не пытаться связать друг с другом с помощью более или менее проблематических законов формы, расхождение которых определяется не действием звуковых законов, а различиями в образовании основ.

„Корневая вариация“ может быть самых разнообразных типов. Мы встречаем, например, чередование корней с различными консонантными детерминативами; санскр. çu-c/çu-dh-/çu-bh- ʻблестетьʼ, греч. Ϝελ-δ-/Ϝελ-π- ʻжелатьʼ, ʻнадеятьсяʼ, и т. д.; или чередование консонантного детерминатива с вокалическим: *dr-ém-/*dr-u- ʻбежатьʼ, *bhr-em/*bhr-u ʻкипетьʼ, ʻваритьʼ, и т. д.; или чередование вокалических элементов при одних и тех же согласных: *ter-, *trē-/*tr-i-/*tr-u- ʻтеретьʼ, ʻбуравитьʼ, *sker, *skrē-/*skr-i-/*skr-u- ʻрезатьʼ, ʻрасщеплятьʼ, ʻразделятьʼ, и т. д.

В обширных сводках материала, содержащегося в исследованиях Персона, есть некоторые ошибочные сопоставления. Тем не менее ему удалось сделать ряд верных наблюдений в отношении структуры индоевропейских корней, хотя такой важный фактор, как чередование гласных, обусловленное местом ударения в основе, выпал из поля его внимания. Поставленные Персоном вопросы получили дальнейшую разработку в трудах современных компаративистов.

Мы вкратце очертили общий круг вопросов, занимавших индоевропеистику конца XIX и начала XX в., и отметили основные линии, по которым шла их разработка. Как уже указывалось выше, это был период, когда изучение конкретных фактов истории и сравнительной грамматики индоевропейских языков производилось с чрезвычайной интенсивностью и глубиной проникновения в детали исторической эволюции звуков и форм.

Однако при всех бесспорных достижениях сравнительно-историческое языкознание и в этот период имело свои слабые стороны.

Одной из таких слабых сторон являлось отсутствие ясности в решении вопроса о возможности реконструкции исходного для исторического развития отдельных языков общеиндо-

европейского состояния, вопроса о достоверности результатов реконструкции.

Если для представителей предшествующего периода в истории сравнительного языкознания была характерна наивная вера в возможность восстановления общеиндоевропейского языка во всех элементах его структуры, ярче всего воплотившаяся в слишком прямолинейных и упрощенных реконструкциях Шлейхера, то уже начиная с 70-х годов XIX в. исследования в области сравнительной грамматики нередко стали сопровождаться сомнениями, неверием в возможность восстановления той языковой системы, которая некогда явилась общей исторической основой для развития языков индоевропейской группы.

Эти сомнения имели свое объективное основание в том, что, как уже было указано выше, сравнительный анализ грамматики, словаря и звукового состава этих языков выявил сложную картину частичных схождений и различий между отдельными языковыми группами, обнаружив этим невозможность реконструировать абсолютно единую во всех отношениях систему общеиндоевропейского языка.

Так, И. Шмидт уже в 1872 г. писал: „Достижимая для нас основная форма (Grundform) того или иного слова, основы или суффикса есть каждый раз не что иное, как конечный результат наших исследований соответствующего языкового элемента, и лишь как таковой имеет значение для истории языка. Но когда мы сопоставляем большее или меньшее количество основных форм и думаем при этом, что восстанавливаем большой или малый отрезок праязыка, существовавший в некое определенное время, всякая почва исчезает у нас из-под ног. Основные формы могли возникнуть в самое различное время, и мы никак не можем поручиться в том, что основная форма A оставалась еще неизменной тогда, когда возникала форма B, что одновременно возникшие C и D одинаково долго оставались без изменения и т. д.“.[1]

И далее: „Праязык, если мы рассматриваем его как нечто цельное, будет пока оставаться научной фикцией. Исследование, правда, значительно облегчается такой фикцией, однако то, что мы на сегодняшний день называем праязыком, не является исторической единицей“.[2]

Однако Шмидт не исключал возможности того, что в целом ряде случаев реконструкция слов и грамматических форм

[1] J. Schmidt. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, стр. 30—31.
[2] Там же, стр. 31.

действительно имеет своим результатом установление общего для различных индоевропейских языков единого исходного состояния. В других же случаях сравнительный анализ обнаруживает уже для индоевропейской эпохи картину диалектной раздробленности.

Резко скептическую позицию в отношении всяких реконструкций индоевропейских праформ занимал один из авторов „Сравнительной грамматики индогерманских языков", Б. Дельбрюк. Уже в первом издании своего „Введения в изучение языка" Дельбрюк утверждал, что „праязык есть не что иное, как выражение с помощью формул меняющихся воззрений различных ученых относительно объема и характера языкового материала, унаследованного отдельными языками из общего языка. Таким определением праязыка одновременно решается и вопрос об исторической ценности конструированных форм. Не подлежит сомнению тот факт, что праязык обладал большим количеством грамматически изменяемых слов и целым рядом слов неизменяемых. Но, конечно, нельзя определить, выглядели ли эти слова действительно так, как всякий раз утверждает исследование, состояние которого отражается в этих реконструкциях".[1]

Точка зрения эта развивалась и в последующих изданиях „Введения".

Подобного рода скептицизм представлял собой реакцию на те трудности, которые встречал на своем пути сравнительный анализ сложной и противоречивой картины соответствий между индоевропейскими языками, письменные памятники которых относятся к различным хронологическим периодам на протяжении около четырех тысяч лет. Призыв к известной осторожности в реконструкциях общеиндоевропейского языкового состояния, звучавший в высказываниях Дельбрюка и других представителей младограмматического направления, несомненно сыграл свою положительную роль в развитии сравнительно-исторического метода лингвистических исследований.

Однако доведение до логических выводов скептической установки Дельбрюка практически означало бы необходимость прекращения всякой положительной работы в области сравнительного языкознания. Не составляя самостоятельной цели исследования, методика реконструкции исторически не засвидетельствованного древнейшего состояния, исходного для по-

---

[1] B. Delbrück. Einleitung in das Sprachstudium, стр. 52—53.

следующего независимого развития группы языков, объединенных родством по происхождению, является необходимым элементом сравнительно-исторического анализа, имеющего своей задачей изучение истории языков и законов их развития.

Отрицая объективную ценность своих выводов относительно состава и характера форм общеиндоевропейского языка, индоевропеистика конца XIX в. устами одного из виднейших своих представителей Б. Дельбрюка фактически была склонна отрицать научную значимость той огромной работы по изучению родства индоевропейских языков, которая была проделана на протяжении ряда десятилетий, подрывая этим самым основы сравнительно-исторического языкознания. Из иронического высказывания Дельбрюка логически вытекала необходимость отказа от реконструкции общеиндоевропейских слов и форм ввиду того, что подобного рода изыскания якобы не дают объективно значимых результатов и потому в сущности бесплодны. Этим самым мог быть фактически поставлен крест на дальнейшем развитии компаративистики, успехи которой явились бесспорным достижением языкознания XIX в.

Однако в практике своей исследовательской работы представители индоевропеистики последних десятилетий прошлого столетия не отступили перед трудностями анализа фактов родства индоевропейских языков и продолжали свои изыскания в этой области, не отказываясь от методики реконструкции исходно общего для этих языков состояния. Значительная часть языковедов не разделяла скептицизма Дельбрюка и, углубленно изучая конкретные лингвистические материалы, верила в объективную ценность результатов своих исследований.[1] Тем не менее оттенок неверия в силы и возможности сравнительно-исторического анализа языковых материалов накладывал свой отпечаток на исследовательскую работу в области индоевропеистики, создавая известные предпосылки для того отхода от исторической проблематики, который характерен для новейшего зарубежного языкознания.

[1] Некоторые современники Дельбрюка объясняли крайний скептицизм его позиции в отношении реконструкций тем, что он, исключительно занимаясь вопросами синтаксиса, редко встречался с необходимостью самому реконструировать общеиндоевропейские звуки и формы. Поэтому, будучи хорошо знакомым с трудностями проводившегося другими языковедами сравнительного анализа фактов фонетики и морфологии, он сам стоял, в сущности говоря, в стороне от этой работы и поэтому позволял себе высказывать иронические сомнения по поводу ее результатов (см.: E. Hermann. Über das Rekonstruieren. Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch., Bd. 41, 1907, стр. 5).

Непоследовательность и двойственность установок в отношении к реконструкциям получили выражение и в труде А. Мейе „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков“, первое издание которого вышло в 1903 г. Общеиндоевропейский язык, писал Мейе, не известен; соответствия между отдельными языками — это „единственная реальность, которую может изучать компаративист“.[1] Но определяя „индоевропейский язык“ лишь как „совокупность соответствий“ между различными родственными языками, в практике проводимого им сравнительного анализа языковых фактов Мейе продолжал классическую традицию индоевропеистики и, тщательно отбирая факты, в сущности занимался не чем иным, как реконструкцией основных элементов языковой системы, составлявшей историческую основу дальнейшего развития отдельных индоевропейских языков.

В предшествующем изложении мы останавливались на тех выводах, к которым пришло языкознание конца XIX в. относительно материалов, находящихся в распоряжении исследователей индоевропейского языкового родства; это: а) констатация их (материалов) хронологической разнородности и б) вывод о наличии ряда диалектов в пределах той лингвистической общности, которая предшествовала образованию отдельных групп родственных языков.

Установление этих положений должно было оказать существенное влияние на методику реконструкций, повлечь за собой ее перестройку. Однако перестройка эта совершалась медленно и непоследовательно.

В отношении хронологической дифференциации изучаемых фактов далеко не всегда исследователи могли найти пути для претворения этого положения в конкретной методике сравнительно-исторического анализа. Установление соотношения между более архаичными общеиндоевропейскими и „частично индоевропейскими“ (диалектными) фактами также оказалось неразрешимой задачей для значительной части исследователей сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Недостатки компаративистики конца XIX и начала XX в. ярко проявились в сводных трудах Бругмана („Сравнительная грамматика индогерманских языков“ и „Краткая сравнительная грамматика индогерманских языков“). Несмотря

[1] A. Meillet. Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes. Paris, 1903, стр. VIII.

на то, что во вводных главах Бругман признавал необходимость учета вышеуказанных положений, подчеркивая и хронологическую разнослойность и диалектный характер значительной части подлежащих изучению языковых материалов, изложение самих фактов сравнительной грамматики индоевропейских языков Бругман в сущности строил в одном плане, почти не пытаясь дифференцировать эти факты. В результате этого бругмановский опыт создания индоевропейской сравнительной грамматики свелся к беспорядочному нагромождению огромной массы отдельных языковых фактов, спроецированных на единую плоскость общеиндоевропейского состояния, без выделения того, что действительно является общеиндоевропейским достоянием, унаследованным от неизмеримо более древней эпохи языкового единства, и тех элементов структуры, которые, хотя и относятся к общеиндоевропейскому периоду, имеют, однако, диалектный характер.

Изложение Бругмана наглядно показывает невозможность отнесения всей той массы лингвистического материала, которой располагают исследования по сравнительной грамматике индоевропейских языков, к структуре единого общеиндоевропейского языка. Никакой реальный язык не смог бы вместить в своей системе все то множество форм, которое ему приписывал Бругман, ставший в своем изложении на путь чисто эмпирической инвентаризации лингвистических фактов, которые хоть в какой-либо мере могут претендовать на „индоевропейскую древность".

Недостатки, присущие исследованиям по сравнительной грамматике, остро ощущались языковедами уже с конца XIX в.

Одной из насущных задач исследовательской работы в этой области становился пересмотр методики реконструкций. Полемизируя со скептическими высказываниями Дельбрюка, Э. Герман заявлял в 1907 г.: „К одному нас все же призывает скептицизм Дельбрюка: к пересмотру метода реконструкций. Если и в будущем в наших сочинениях еще будет продолжаться вечное неуверенное шатание из стороны в сторону, то это может объясняться лишь ошибочностью метода".[1]

Принимая положение о диалектной расчлененности общеиндоевропейского языка, Герман предлагал исходить из него в сравнительно-грамматических исследованиях и начи-

[1] E. Hermann. Über das Rekonstruieren, стр. 7.

нать с реконструкции системы каждого из индоевропейских диалектов в отдельности, опираясь прежде всего на действительное соотношение структурных элементов в системе реально засвидетельствованных языков и языковых групп.

Теоретические предложения Германа и приводимые им образцы освещения некоторых вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков представляют несомненный интерес для дальнейшей разработки методики сравнительно-исторического анализа. Однако они далеко не решают всей совокупности проблем, связанных с изучением элементов структуры, унаследованных индоевропейскими языками от эпохи древней общности. В частности, вопрос о наиболее архаических слоях морфологии, восходящих к структуре действительно единого общеиндоевропейского языка, отнюдь не исчерпывается тем, что некоторое количество реконструируемых форм, например *esmi, *esti, *o̯uis, *pro и т. д., не вызывает сомнения в их принадлежности к общему для всех индоевропейских языков исходному состоянию. Справедливо указывая на необходимость разграничения более достоверных и менее достоверных реконструкций, Герман в то же время излишне ограничивал возможности сравнительно-исторического анализа древнейших элементов индоевропейской лингвистической структуры, полагая, что языковое состояние, предшествовавшее образованию диалектных различий, лежит полностью за пределами достижимости средствами научного исследования.

Попытку применить в практике составления пособия по сравнительной грамматике полученные языкознанием конца XIX в. выводы относительно хронологической разноплановости и диалектной расчлененности генетически общих для индоевропейских языков элементов звукового состава, грамматики и словаря представляет „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков“ А. Мейе. Эта работа, дополнявшаяся автором в целом ряде последующих изданий, составляет как бы переходное звено между компаративистикой конца XIX—начала XX в. и новейшими исследованиями в этой области.

Учитывая несводимость к первичному единству целого ряда различий между отдельными группами индоевропейских языков — различий, восходящих к диалектным расхождениям общеиндоевропейской эпохи, Мейе ориентировал в то же время свое исследование главным образом на реконструкцию основных элементов системы того древнего индоевропейского

языка, который составил отправной момент для последующего развития выделившихся из него родственных языков.

Вводя в изложение фактов сравнительной грамматики понятие „системы“, Мейе развивал установки своего учителя, Ф. Соссюра, который некогда построил на этом понятии свое исследование древнейшего индоевропейского вокализма.

В противовес несколько скептическим замечаниям относительно условности формул реконструкций, содержащимся во вводных главах книги Мейе, все его положительное изложение пронизано стремлением установить действительный состав звуков и форм, который должен был характеризовать индоевропейскую речь в период ее древнего единства. Так, например, раздел фонетики заканчивается следующими словами: „Только что описанная фонетическая система имеет оригинальные черты: богатство системы смычных, произносимых с силою смыка; недостаток спирантов; частое употребление **s* и отсутствие самостоятельного **z*; монотонность вокализма без оттенков, ограниченного собственно звуками **e* и *o и изредка **a*; сложная система сонантов и звука **ə*; разнообразие структуры слогов с постоянно определенным количеством; точное разграничение слов в их отношении друг к другу; использование различий в высоте как одного из средств характеристики слов и грамматических форм; количественный характер ритма. Фонетический облик индоевропейского ничуть не походил на облик любого из современных представителей индоевропейской семьи языков“.[1]

Тщательным отбором и систематизацией фактов „Введение“ Мейе выгодно отличалось от аналогичных по заданию работ Бругмана, в которых хаотическое нагромождение материалов не дает возможности определить основные черты реконструируемой языковой структуры. Завершая целый период в развитии сравнительно-исторического языкознания и являясь четвертой по счету попыткой сводного изложения фактов сравнительной грамматики индоевропейских языков, исследование Мейе при всей его краткости и лаконичности представляло собой значительный шаг вперед в деле разработки основных принципов сравнительно-исторического метода в изучении вопросов языкового родства.

Однако и в этой работе мы не найдем полной последовательности в разработке тех положений, которые практика исследовательской работы в области индоевропеистики давно

[1] А. Мейе. Введение. . ., стр. 165.

уже выдвинула в порядок дня. Несмотря на то, что Мейе является автором труда, специально посвященного проблеме „индоевропейских диалектов", в изложении самих фактов индоевропейской сравнительной грамматики проблема эта все же получила недостаточное освещение. Посвятив свое „Введение" главным образом реконструкции системы общеиндоевропейского языка, Мейе не уделил достаточного внимания вопросу о хронологической разноплановости описываемых фактов. Хотя мы и найдем в этой книге ряд небольших экскурсов в древнейшее состояние индоевропейской речи, предшествовавшее образованию флективных форм, четкого разграничения элементов морфологической структуры, относящихся к разным хронологическим этапам существования индоевропейской лингвистической общности, Мейе дать все же не удалось.

Выработанная сравнительно-историческим языкознанием методика реконструкций не оказалась достаточно гибкой для того, чтобы учесть и охватить все разнообразие типов соответствий, которое отражает сложный исторический путь развития такой лингвистической семьи, как индоевропейская.

Усовершенствование сравнительно-исторического метода применительно к реальному многообразию фактов, в которых проявляется генетическое родство языков, является одной из первоочередных задач, решение которых необходимо для развертывания дальнейшей работы в области исторического языкознания.

Отсутствие ясности и последовательности в решении проблем, связанных с реконструкцией элементов структуры общеиндоевропейского языка, которая не являлась чем-то статически неизменным, но развивалась на протяжении длительных периодов, определялось не только трудностями в анализе многообразных и хронологически разноплановых лингвистических фактов. Недочеты в исследованиях проблемы родства индоевропейских языков, характерные для языкознания конца XIX в., имели своей главной причиной отсутствие подлинного историзма в трактовке вопросов языкового развития.

Узко эмпирический подход к анализу лингвистических фактов, составлявший один из принципов младограмматического направления, господствовавшего в сравнительном языкознании этого периода, не давал возможности охватить широкую историческую перспективу развертывания элементов исследуемой языковой структуры.

Этот коренной недостаток в методе сказывался и в разработке конкретной методики сравнительно-грамматических

реконструкций, препятствуя установлению твердых теоретических критериев в анализе фактов, относящихся к различным периодам и к различным формам существования индоевропейской лингвистической общности.

Эмпиризм, характерный для компаративистики конца XIX—начала XX в., ограничивал поле исследований описанием огромного количества отдельных языковых явлений, установлением ряда частных закономерностей. Сравнительное языкознание этого периода не пыталось разграничить в истории индоевропейских языков общее и отдельное, необходимое и случайное, не пыталось определить основное направление в развитии каждого из языков, определить характерное для каждого из них своеобразие в развертывании унаследованных от древности элементов структуры, не пыталось раскрыть внутренние закономерности, обусловливающие тесную взаимосвязь всех сторон языка, проявляющуюся не только в статике, но и в движении, в развитии.

Иными словами, старое сравнительное языкознание, оставившее после себя огромное богатство в виде капитальных исследований по вопросам истории и сравнительной грамматики индоевропейских языков, не нашло путей для постановки основного вопроса языковедной науки — вопроса о внутренних законах развития языка.

Недостатки старого сравнительного языкознания, связанные с узким эмпиризмом в трактовке языковых явлений, особенно яркое воплощение получили в многотомной и „Краткой“ сравнительных грамматиках индогерманских языков Бругмана. Эти труды скорее всего напоминают бесконечные инвентарные списки, в которых реальные очертания древней индоевропейской лингвистической структуры и закономерности исторического соотношения и развития отдельных языковых групп теряются в почти механическом перечне звуковых и морфологических соответствий, возведенных к индоевропейским праформам, которые в своей совокупности не дают почти никакого представления о том, какой в действительности могла быть система общеиндоевропейского языка.

Значительные шаги в сторону преодоления близорукого эмпиризма младограмматической школы мы находим в относящихся уже к новейшему этапу компаративистики трудах Мейе, посвященных истории и сравнительной грамматике отдельных групп индоевропейских языков (италийской, славянской, германской и др.). Заслугой Мейе явилась попытка

установить общие тенденции, характерные для развития и определяющие своеобразие каждой из этих групп. Сделанные им в этом направлении наблюдения и выводы представляют безусловный интерес и должны учитываться при дальнейшем исследовании вопросов развития структуры индоевропейских языков.

Однако в определении сущности и движущих причин, вызывающих действие выявляемых им в развитии отдельных языков тенденций, Мейе не подошел к постановке вопроса о внутренних законах языкового развития. Конечную причину преобразований, видоизменивших унаследованный от общеиндоевропейской эпохи облик структуры и определивших качественное своеобразие отдельных языков и языковых групп, Мейе ищет в воздействии чисто внешних факторов, придавая исключительное значение возможности весьма проблематичных доисторических скрещиваний индоевропейской речи с тем или иным иноязычным субстратом.

Недостатки сравнительно-исторического метода в старом его применении, в чем бы конкретно они ни проявлялись (в предшествующем изложении отмечалось, что каждый период в развитии компаративистики характеризовался своими существенными недочетами), в конечном счете могут быть определены как непоследовательность в проведении принципа историзма. Эта непоследовательность была обусловлена тем, что представителям идеалистической языковедной науки было чуждо понимание сущности языка как общественного явления и законов соотношения и исторического развития основных элементов его структуры.

Марксистское положение о том, что язык и законы его развития можно понять лишь при изучении его в неразрывной связи с историей общества, с историей говорящего на этом языке и творящего его народа, также было чуждо старому языковедению, находившемуся в плену разного рода идеалистических концепций исторического процесса.

Более того, при попытках освещения отдельных периодов языковой истории, в частности при попытках осветить вопрос о происхождении родства индоевропейских языков, буржуазная наука нередко выдвигала совершенно антиисторические, в корне чуждые марксизму социологические концепции.

Сравнительно-исторический метод лингвистических исследований разрабатывался в процессе напряженного труда многих поколений языковедов, которые своими исследованиями лингвистического материала содействовали накоплению кон-

кретных знаний по истории и сравнительной грамматике групп родственных языков. Для того чтобы устранить присущие этому методу недостатки, необходимо понять, какие трудности приходилось преодолевать ученым, его разрабатывавшим, в чем заключалась ошибочность общетеоретических концепций идеалистической науки, которые неизбежно накладывали свой отпечаток на конкретную лингвистическую работу в разные периоды развития сравнительного языкознания.

Преодоление этих недостатков и дальнейшее развертывание положительной работы в области изучения вопросов языкового родства, существенно важных для изучения законов языкового развития, составляет одну из задач, стоящих перед марксистским языкознанием. Осуществление этой трудной задачи требует значительных усилий и может быть достигнуто лишь в результате углубленных исследований всей суммы теоретических проблем, связанных с вопросами родства языков и вопросами методики сравнительно-исторических исследований.

Глава III

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ РОДСТВА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Одной из характерных тенденций, наблюдающихся в современном западноевропейском и американском языкознании, является стремление уйти от разработки проблем исторического характера. С этим связано и падение интереса к вопросам языкового родства, в том числе к вопросам сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Если в XIX в. вопросы сравнительного языкознания преобладали на страницах многочисленных лингвистических журналов, в настоящее время число статей по компаративистике, публикуемых в периодических изданиях, относительно невелико; в то же время непрерывно возрастает количество публикаций в области „структурального анализа" и идеалистической „семантики". Выход отдельных монографий, посвященных вопросам сравнительного языкознания, давно уже стал довольно редким событием.

Ослабление работы по изучению вопросов языкового родства признают сами представители зарубежной компаративистики. Так, А. Мейе, рецензируя „Индогерманский ежегодник" („Indogermanisches Jahrbuch"), уже в 1932 г. отмечал крайнюю скудость содержащихся в нем указаний относительно исследований по сравнительной грамматике индоевропейских языков — „очень явный признак ослабления работы в этой области".[1]

Высоко оценивая заслуги немецких компаративистов XIX в., Мейе указывал в то же время на упадок исследований по сравнительной грамматике индоевропейских языков, харак-

[1] Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, v. 33, 3, 1932, стр. 19.

терный для современного немецкого языкознания: „За последние тридцать лет было выдвинуто слишком много необоснованных гипотез, слишком много ученых теорий было нагромождено в пустом пространстве, слишком много было составлено собраний фактов, дающих мало результатов. Все это оставляет впечатление машины, утомленной долгим употреблением и теряющей свою производительность.[1]

Дж. Лэйн, один из немногочисленных лингвистов, продолжающих в настоящее время в США работу по сравнительному языкознанию, жалуется на то, что среди американских языковедов все более распространяется отношение к проблемам индоевропейской сравнительной грамматики как к „анахронизму", „голосу из девятнадцатого века" и т. п.[2]

В своей статье Лэйн пытается заинтересовать начинающих американских лингвистов перспективами исследования такого малоразработанного раздела сравнительной грамматики индоевропейских языков, как синтаксис, и указывает на „романтичность" изучения проблемы происхождения индоевропейской флексии.[3]

Однако замена сравнительно-исторического метода изучения языковых фактов так называемым дескриптивным анализом является отнюдь не случайным увлечением некоторых американских лингвистов.[4] Сознательный отказ от принципа историзма в лингвистических исследованиях есть одно из проявлений характерного для многих современных буржуазных ученых стремления по возможности уйти от попыток постановки вопроса об исторических закономерностях развития общественных явлений, к числу которых принадлежит и язык.

Именно поэтому разработка вопросов сравнительно-исторического языкознания и расценивается рядом представителей современной американской лингвистики как ненужный „анахронизм"; именно поэтому интересы учащейся в американских университетах молодежи преимущественно направляются на теоретически бесплодные упражнения над малочисленными и

[1] Linguistique historique et linguistique générale, v. II, Paris, 1938, стр. 157.

[2] George S. Lane. On the present State of Indo-European Linguistics. Language, v. 25, 4, 1949, стр. 333.

[3] Там же, стр. 337.

[4] См.: М. М. Гухман. Против идеализма и реакции в современном американском языкознании. Изв. Отд. лит. и яз. АН СССР, т. XI, вып. 4, 1952; О. С. Ахманова. О методе лингвистического исследования у американских структуралистов. Вопр. языкозн., 1952, № 5.

притом сознательно изолированными фактами того или иного языка с помощью дескриптивного анализа, а также на идеалистические „откровения" реакционной „семантической" философии.

Одним из конкретных проявлений антиисторических установок, характерных для реакционных представителей современного зарубежного языкознания, следует считать поход, объявленный против компаративистики XIX в. и в особенности против представителей младограмматического направления, с их установкой на тщательное изучение конкретных языковых фактов в их историческом развитии.

В статье, озаглавленной „Силы и головы в истории индогерманского языкознания"[1] и носившей характер введения к изданному в 1936 г. сборнику в честь Г. Хирта, Штегман фон Прицвальд в свое время изложил историю сравнительного языкознания в Германии в идеалистическом и сугубо шовинистическом духе. Характерно, что в этой статье были резко противопоставлены „идеалистическая" и „позитивистская" линии в развитии немецкой компаративистики. К „идеалистической" линии были отнесены прежде всего Гримм, с его романтическими взглядами на язык, а также частично Курциус (главным образом, видимо, потому что он резко полемизировал с младограмматиками), к „позитивистской" — Бопп и младограмматики. Проведя это размежевание и развязно спекулируя на именах выдающихся представителей немецкой науки прошлого, автор статьи призывал немецких лингвистов возродить идеалистические принципы реакционного романтизма.

Резко отрицательное отношение к „позитивизму" младограмматиков и основным принципам разрабатывавшегося ими сравнительного языкознания характеризует также теоретическую позицию некоторых датских структуралистов, пытающихся увести лингвистическую науку от изучения конкретных лингвистических фактов в их историческом многообразии в область оголенных от языкового материала схоластических построений. Так, например, В. Брёндаль в своей программной статье[2] писал, что „вдохновленная интересом к м е л к и м п о д л и н н ы м ф а к т а м, к точному и тщательному наблюде-

[1] K. S t e g m a n n von P r i t z w a l d. Kräfte und Köpfe in der Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft. Germanen und Indogermanen, Festschrift für H. Hirt, Bd. II, Heidelberg, 1936, стр. 1—24.

[2] V. B r ö n d a l. Linguistique structurale. Acta linguistica, v. I, Copenhague, 1939.

нию... сравнительная (и историческая) грамматика является чисто позитивистской. Она интересуется почти исключительно фактами, доступными для непосредственного наблюдения, и особенно звуками языка... Повсюду исходят от конкретного и чаще всего при нем и остаются".[1]

И далее: „В этих тенденциях компаративистов подчеркивать — а часто и преувеличивать — важность истории, конкретного и законов легко узнать идеи, дорогие для позитивизма".[2] Младограмматиков Брёндаль обвинял в том, что они в своих исследованиях придавали слишком большое значение изучению конкретных фактов и установлению закономерностей их исторического развития. Он считал, что „позитивистские" принципы сравнительного языкознания уже не могут обеспечить „подлинного прогресса современной науки", которая в лингвистике, как и в других областях, вдохновляется „чисто антипозитивистским духом".[3] Изучение языковых явлений в их постепенном развитии Брёндаль предлагал заменить рассмотрением отдельных вырезанных из „временного потока" (le flux du temps) состояний языка в их статике и, с другой стороны, „внезапных прыжков" (des sauts brusques) из одного состояния в другое.[4] Вместо изучения реального многообразия лингвистических фактов предлагалось искать „общее понятие" (le concept général), независимое от всех индивидуальных проявлений того же объекта, и т. д. и т. п.

Обрушивая свои нападки на „позитивизм" сравнительного языкознания, Брёндаль и его единомышленники борются против тех элементов материалистического подхода к изучаемым явлениям, которые стихийно проявлялись в трудах языковедов прошлого, старавшихся добросовестно изучать конкретные лингвистические факты и устанавливать хотя и частные, но все же важные для науки закономерности их исторического развития.

Рекламируемая в програмных выступлениях крайних представителей структуралистского направления „новая" лингвистическая наука предстает в виде лишенных реального содержания, оторванных от реального процесса исторического развития языка и общества схем, в которых космополитически стерта национальная и историческая специфика даже тех крайне малочисленных языковых фактов, которые все же иногда привлекаются.

[1] V. Bröndal, ук. соч., стр. 2.
[2] Там же, стр. 3.
[3] Там же, стр. 4.
[4] Там же, стр. 4—5.

Таким образом, выросшая на основе метафизического соссюровского учения о синхронии и диахронии, комментированием которого не устают заниматься современные схоласты, идеалистическая структуралистская концепция в корне противоречит марксистской теории языка, которая с необходимостью предполагает исторический подход к изучению языковых явлений.

Резко воинствующую позицию в отношении младограмматической традиции сравнительно-исторических исследований заняло также выступившее в начале 20-х годов нашего столетия так называемое „неолингвистическое направление", сформировавшее свои установки на основе идеалистической философии Б. Кроче и некоторых положений лингвистической географии. Полемике с младограмматиками один из основателей этого направления М. Бартоли посвятил специальную главу в своем „Введении в неолингвистику".[1]

Особенно показательны в этом отношении статьи Дж. Бонфанте, который, излагая теоретические основы неолингвистического направления, с предельной ясностью обнажил их реакционно-идеалистическую сущность.[2]

Бонфанте резко заостряет коренное противоречие между субъективным идеализмом неолингвистической концепции („язык, как продукт эстетического творчества индивидов") и материалистическим подходом к анализу языковых явлений. Младограмматиков, с их стремлением добросовестно описать и исторически объяснить возможно большее количество конкретных лингвистических фактов, Бонфанте объявляет представителями „узколобого материалистического догматизма".[3] „Неограмматическая[4] концепция языка, — пишет он, — в целом является строго материалистической и детерминистской".[5] Неолингвисты же ищут в каждом языковом изменении причины духовного (spiritual) порядка.

---

[1] M. Bartoli. Introduzione alla neolinguistica. Genève, 1925, стр. 48—64.

[2] G. Bonfante. The Neolinguistic Position. Language, v. 23, 4, 1947 и др.

[3] Там же, стр. 356.

[4] Неолингвисты заменяют традиционный термин „младограмматики" (Junggrammatiker) термином „неограмматисты", противопоставляя его, таким образом, термину „неолингвисты".

[5] G. Bonfante. The Neolinguistic Position, стр. 346. См. также высказывание М. Бартоли: „Неограмматики являются материалистами в языкознании" (M. Bartoli. Introduzione alla neolinguistica, стр. 63).

Трудно согласиться с неолингвистом Бонфанте в том, что концепция младограмматиков в целом якобы являлась материалистической. Теоретическую слабость младограмматического учения составляли, как известно, именно его идеалистические основы. Однако Бонфанте безусловно прав в том отношении, что в исследовательской практике младограмматиков нашли свое выражение элементы материалистического отношения к изучению реально данных лингвистических фактов, стремление раскрыть исторические закономерности развития отдельных сторон языка.

Коренное отличие младограмматических исследований языкового материала от поверхностных изысканий представителей неолингвистического направления с достаточной убедительностью формулирует сам Бонфанте: „В общем, неограмматисты, будучи позитивистами, считают, что долгом ученого является исключительно собирание материала и составление справочных пособий, в которых материал легко может быть найден,— грамматик, учебников, словарей, лингвистических атласов и т. п. Неолингвисты, которые являются идеалистами, утверждают, что накопление материала, как бы тщательно и обширно оно ни было, никогда не сможет разрешить проблему без живой искры человеческой идеи, которая выходит за пределы рассматриваемого вопроса, с тем чтобы погрузиться в пульсирующую реальность говорящего, без того чтобы пережить внутреннюю драму грека, латинянина или англичанина, который впервые употребил соответствующее слово или выражение, или поговорку".[1] В этой декларации, под покровом пышных фраз ясно выступает псевдонаучная позиция современного идеалиста, которому дела нет до изучения конкретных фактов, до познания подлинной сущности и исторических закономерностей развития явлений и который заведомо отказывается от испытанных в науке методов анализа материала.

Нигилистическое отношение неолингвистов к результатам научного исследования, неверие в объективность научного познания явлений ярко характеризует следующее замечание Бонфанте: „Что касается слова «достоверно» (certain), то неолингвисты никогда не употребляют его, хорошо зная, что ничто не бывает достоверным".[2]

Противопоставляя „догмам" младограмматиков „неолингвистическую" трактовку различных вопросов языкознания,

---

[1] G. Bonfante. The Neolinguistic Position, стр. 354.
[2] Там же, стр. 371.

Бонфанте откровенно обнажает реакционную сущность своей идеалистической концепции. Так, например, он обвиняет младограмматиков в том, что они рассматривают язык и языковые изменения как „явление, принадлежащее коллективу (a collective phenomenon) и управляемое законами коллектива“. Между тем, неолингвисты утверждают, что язык творится индивидами и придают особенное значение при этом новаторской деятельности „великих личностей“ и „королей“. Роль народа, являющегося, согласно принципам марксистского языкознания, творцом и носителем языка, неолингвистами отрицается.

Антинародная позиция неолингвистов находит себе выражение в отрицании понятия языкового единства. „Для неограмматиков, — пишет Бонфанте, — такие слова, как французский язык, итальянский, английский, обозначают реально существующие вещи и реальное единство. Между тем, в реальности всякий лингвистический атлас — и даже повседневное наблюдение — показывает, что здесь нет единства, но есть огромное количество диалектов, изоглосс, переливов, колебаний разного рода, необъятный бурный океан спорящих сил и противоборствующих тенденций“.[1]

Не может быть сомнений в том, что неолингвистическая концепция противоречит марксизму, который учит, что на всех этапах развития — от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным — „язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества“.[2]

Последовательность космополитических установок неолингвистического направления выражается в отрицании реальных границ между языками „не только одной и той же группы (например между французским, провансальским, итальянским и т. д.)“. „Их нет, — утверждает Бонфанте, — также и между языками одной и той же семьи (например между французским и немецким или между немецким и чешским) и даже между языками различных семей (например между русским и финским)“.[3] „В этом вопросе неолингвисты, — пишет он далее, — в своей борьбе против монолитной концепции языка у неограмматиков предвосхитили один из важнейших принципов Пражской школы — принцип лингвистического союза“.[4]

[1] Там же, стр. 348.
[2] См.: И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 12.
[3] G. Bonfante. The Neolinguistic Position, стр. 349.
[4] Там же.

Отвергая традиционную концепцию родства языков и обвиняя младограмматиков в „шлейхерианстве“, неолингвисты весьма примитивно считают этническое смешение основной причиной лингвистических изменений и усматривают в каждом языке результаты смешения или скрещивания разнородных элементов (так, например, французский язык, по мнению Бонфанте, это латинский + германский, испанский — латинский + арабский, итальянский — латинский + греческий и оско-умбрский, чешский — славянский + германский, болгарский — славянский + греческий, русский — славянский + финно-угорский и т. п.).

Исходя из идеалистического положения о том, что все в языке есть якобы результат „свободного духовного творчества индивидов“, неолингвисты приходят к утверждению, что каждое слово, каждый языковый факт в сущности является „заимствованием“ (a borrowing).[1] С этим положением органически связано отрицание единства, целостности языковой структуры и антиисторическая трактовка вопроса об отношениях, существующих между языками. Далее нам еще предстоит специально остановиться на том, как эти основные принципы неолингвистической концепции конкретно претворяются в изучении вопросов родства индоевропейских языков.

Пренебрежительно третируя младограмматиков и называя их „бесплодными в области теоретического мышления“, Бонфанте объявляет учение о звуковых законах „незащитимым с философской точки зрения и вредным для лингвистического исследования“.[2] При этом Бонфанте утверждает, что неолингвисты совершили полный переворот в науке, преодолев младограмматическую „догму“. Вслед за этим он наивно провозглашает, что младограмматики создали лишь один метод лингвистического исследования, да и то „вредный“ („метод звуковых законов“), а он, Бонфанте, нашел целых восемь(!) новых методов изучения языковых явлений.[3]

Далее Бонфанте издевается над тем, что младограмматики „разбивают единство языка“, выделяя особо фонетику, морфологию, синтаксис и лексику. „Для неолингвистов, — заявляет он, — язык есть язык — то есть целостность его эстетического выражения; мы находим ее во всей полноте

[1] G. Bonfante. The Neolinguistic Position, стр. 352.
[2] Там же, стр. 345.
[3] Там же, стр. 358.

в каждой строчке поэмы, в каждой речи, в каждой поговорке. Никакая самая лучшая английская грамматика не сможет заменить чтения Шекспира или Шелли или самой скромной болтовни лондонского обывателя".[1]

Неограмматики, утверждает Бонфанте, „были действительно только грамматистами, но не лингвистами"; лишь неолингвисты могут быть названы, по его мнению, лингвистами в истинном смысле слова и т. д. и т. п.

Следует заметить, что другие представители неолингвистического направления в общем скромнее в своих высказываниях, и некоторые из них, например В. Пизани, в меньшей мере порывают с традициями сравнительного языкознания, чем Бонфанте, который откровенно топчет ногами наследие европейской науки XIX в. Однако факт остается фактом. Бонфанте в своей откровенности обнажил идеалистическую сущность концепции, выдвинутой представителями неолингвистической школы. Не подлежит никакому сомнению, что объявленный неолингвистами поход против младограмматических принципов старого сравнительного языкознания является непосредственным выражением реакционных тенденций, характерных для некоторой части представителей современного зарубежного языкознания, отказывающихся от принципа историзма в изучении лингвистических явлений.

Констатируя характерное для зарубежного языкознания XX в. ослабление исследовательской работы в области компаративистики, мы не можем, однако, отрицать того, что некоторая часть современных языковедов Запада продолжала и продолжает эту работу. В изучении проблемы родства индоевропейских языков мы можем выделить две основные линии исследований: а) исследования, продолжающие традиции предшествующего сравнительно-исторического языкознания, и б) исследования, порывающие с этими традициями и идущие по пути создания разного рода новых „оригинальных" теорий, в разной мере оторванных от анализа конкретного лингвистического материала.

Исследования, в которых продолжает находить себе применение сравнительно-исторический метод, представляют объективную научную ценность и в той или иной мере продвигают вперед работу в области компаративистики. В этом отношении несомненное значение имеют труды, в которых углубляется и

---

[1] Там же, стр. 367.

расширяется, в связи с использованием новых материалов, изучение вопросов истории языков и вопросов сравнительной грамматики отдельных языковых групп. Можно назвать имена таких лингвистов XX в., как А. Мейе, Ж. Вандриес, Э. Бенвенист, А. Эрну, Р. Шантрэн, Г. Педерсен, Ф. Зоммер, Я. Вакернагель, А. Дебруннер и другие, которые своими исследованиями внесли значительный вклад в изучение конкретных фактов истории индоевропейских языков. Последовательно применяя методику сравнительно-исторического анализа при изучении богатого лингвистического материала, ученые эти, своими тщательными описаниями фактов грамматики, фонетики, лексики, а также попытками вскрыть закономерности исторического развития отдельных языков и языковых групп, существенно продвинули вперед индоевропеистику — важную отрасль сравнительно-исторического языкознания.

Большое значение имеет также работа по изучению оставшихся неизвестными языковедам XIX в. материалов тохарского и в особенности хеттского (несийского) языков. Значительная часть выходивших в течение ряда лет специальных исследований по этим языкам в основном развивает в применении к новым для индоевропеистики фактам принципы исследования, выработанные сравнительно-историческим языкознанием XIX в.[1] Положительные результаты в изучении скудных остатков таких древних малоазийских языков, как лувийский, палайский, ликийский, лидийский и другие, также достигаются лишь на основе применения испытанной уже в языкознании методики сравнительно-исторического анализа.

Вовлечение в кругозор лингвистического исследования фактов хеттского языка поставило компаративистов перед необходимостью пересмотра некоторых вопросов индоевропейской сравнительной грамматики и содействовало значительному повышению интереса к изучению проблемы архаичных элементов морфологической структуры, унаследованных индоевропейскими языками от эпохи древней общности.

Результатом этого было появление ряда специальных работ по вопросам сравнительной морфологии и сравнительной фонетики, наиболее значительными из которых мы считаем вышед-

[1] См. работы Б. Грозиого, И. Фридриха, Х. Педерсена, Ф. Зоммера, Э. Стертеванта и др.

шие в 30-е годы монографии „Индоевропейские этюды“ Ю. Куриловича[1] и „Происхождение образования имен в общеиндоевропейском языке“ Э. Бенвениста.[2] Вслед за этими работами появились и другие исследования, посвященные проблеме индоевропейских ларингальных звуков и их роли в фонетической системе общеиндоевропейского языка.[3]

Но наряду с исследованиями, построенными на основе анализа богатого лингвистического материала и в той или иной мере продолжающими традиции младограмматического (в условном значении этого термина) подхода к анализу языковых фактов, однако обогащенного и усовершенствованного введением понятия о тесной взаимосвязи отдельных элементов языковой системы, уже начиная с 20-х годов в зарубежной компаративистике расцвет получили также разного рода мало обоснованные гипотезы относительно происхождения грамматического строя индоевропейских языков (см. „Индогерманскую грамматику“ Г. Хирта и др.), лингво-географические („ареальные“) изыскания представителей неолингвистического направления, порывающие с традициями детального сравнительно-исторического изучения основных элементов языковой структуры, структуралистские построения, сводящие до минимума количество привлекаемых языковых фактов, и т. п.

Характеризуя современное состояние зарубежной компаративистики, мы специально остановимся на трактовке двух проблем, занимающих центральное место в тематике новейших исследований по вопросам родства индоевропейских языков: а) проблемы древнейших элементов индоевропейской морфологической структуры и б) проблемы исторических отношений между отдельными группами индоевропейских языков.

---

[1] J. Kuryłowicz. Etudes indoeuropéennes, I. Kraków, 1935.

[2] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en Indo-Européen, I. Paris, 1935.

[3] См.: H. Hendriksen. Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngaltheorie. Det Kgl. Danske Vidensk. Selskab. Hist.-filolog. Medd., 28, 2, København, 1941; E. H. Sturtevant. The Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore, 1942; L. Zgusta. La théorie laryngale. Arch. Orient. XIX, 1951; W. P. Lehmann. Proto-Indo-European Phonology. Austin (Texas), 1952.

Изучение проблемы древнейших элементов индоевропейской морфологической структуры

Развернувшиеся в компаративистике XX в. исследования структуры индоевропейского корня и древнейшего характера основообразования были подготовлены трудами по теории индоевропейского вокализма Соссюра и других исследователей конца XIX в.,[1] а также изысканиями П. Персона,[2] посвященными проблеме так называемых детерминативов (древнейших суффиксальных элементов, сливающихся с корнем в одно целое).

Хотя освещение этих вопросов занимало некоторое место и в „Сравнительной грамматике" Бругмана, сводная работа Мейе („Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков") уделяет трактовке их значительно большее внимание, отражая в последовательном ряде изданий успехи в разработке проблемы морфологической структуры индоевропейского слова.

В главе о „форме корней" Мейе пишет: „Противопоставляясь суффиксу и окончанию, корень образует целое, но сам по себе он часто может быть разложен. Так, греч. ϝέλπ-ω 'обнадеживаю', ϝέ-ϝολπ-α 'я обнадежил', ϝελπ-ίς 'надежда' предполагают корень *welp-, но сопоставление с лит. vil-iù 'надеюсь', vil-tis 'надежда' позволяет выделить элемент *wel- 'надеяться' или в более общем смысле 'желать': лат. uelle 'хотеть', гот. wiljan, др.-сл. **вел-ѣти** и т. д.; в корне *wel-p- мы можем, следовательно, различить более простой корень *wel- и его «определитель» *-p-; тот же самый простой корень является с другим определителем *-d- в греч. ϝέλδ-ομαι 'желаю', гомер. ἐϝέλδ-ωρ 'желание'".[3] И далее: „Так как «определитель» есть морфологический элемент, то он должен подлежать действию общих законов вокализма и представлять чередование **e*, **o*, нуль. И действительно, если мы сравним корни *plek- и *pelt- и выделим их общую часть *pel-, *pl-, то увидим, что *plek- содержит определитель *-ek- с его чередованиями: греч. πλέκ-ω

---

[1] F. de Saussure. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879. — H. Hübschmann. Das indogermanische Vokalsystem. Straßburg, 1885. — H. Hirt. Der indogermanische Ablaut. Straßburg, 1900, и др.

[2] P. Persson. 1) Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. Upsala, 1891; 2) Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Upsala, 1912.

[3] А. Мейе. Введение..., стр. 193.

'плету', πλοκ-ή 'плетение', 'ткань', умбр. (tu-) plak 'двойной' (из *pl°k-). Поэтому *-t- в приведенных примерах[1] представляет нулевую ступень огласовки".[2]

Тут же Мейе указывает на фонетическое соотношение, играющее очень важную роль в структуре архаического индоевропейского основообразования: „В «определителе», равно как и в корне, может быть *e; но корень в своем фактическом виде допускает лишь одно *e".[3] Один и тот же морфологический элемент не может одновременно содержать два *e/*o, если первая часть имеет ступень *e или *o, то вторая часть необходимо должна иметь нулевую ступень.[4]

Это положение, имеющее большое значение для морфологии древних индоевропейских языков, было в дальнейшем развито и уточнено в исследованиях Бенвениста и Куриловича.

Углубляя анализ морфологического строения составных элементов древнего индоевропейского слова, Мейе намечает возможности более глубокого проникновения в их историю. Указывая, что каждая из составных частей индоевропейского слова — корень, суффикс и окончание — играет свою особую роль (корень указывает общее значение слова, суффикс его определяет точнее, а окончание совместно с чередованиями гласных и с местом повышения тона определяет роль слова в предложении), Мейе добавляет далее, что хотя эти три части составляют одно целое и отделимы друг от друга только путем научного анализа, в более или менее отдаленном прошлом они были независимыми друг от друга словами.

Индоевропейский корень Мейе трактует как наследие дофлективного периода, возвращаясь, таким образом, к одной из старых проблем индоевропеистики, которую лишь вскользь затрагивали представители младограмматического направления. Корень, пишет он, „не является только абстракцией. У большинства корней были именные и глагольные формы с нулевым суффиксом, постепенно исчезавшие по мере развития отдельных диалектов, но представлявшие существенный элемент в общеиндоевропейском; корень, следовательно, сам по себе и без присоединения суффикса выступал как основа, т. е. являлся конкретной реальностью. Таков корень *ed- в санскр. ád-mi 'ем' или *wek^w- в лат. uox 'голос'. Корень сам

---

[1] Ср. лат. plec-t-ō 'плету', др.-в.-нем. fleh-t-an 'плести', и др.

[2] А. Мейе. Введение. . ., стр. 194.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 180.

по себе выражает действие; в сопровождении глагольных окончаний он обозначает процесс; в сопровождении именных окончаний он обозначает внутреннюю силу, определяющую действие (как, например, лат. lūx 'свет', uōx 'голос'); во второй части сложения он обозначает действующее лицо (как, например, вед. vr̥tra-hán 'поражающий Виртру', лат. parti-ceps 'имеющий часть', au-spex- 'наблюдающий птицу').[1]

Считая установленным тот факт, что основа, не снабженная окончанием, представляет собой „доиндоевропейскую форму слова", он продолжает: „В индоевропейском многие основы состояли из одного только корня; тем самым проглядывает древнее состояние языка, когда каждый корень мог служить основой, не будучи снабжен суффиксом. Из этого следует, что каждый корень был словом как именного, так и глагольного значения, примерно как английское love".[2]

И отсюда вывод: „Эти наблюдения позволяют угадать за индоевропейским флективным типом, типом столь своеобразным, предшествующее состояние языка типа более обычного, где слова были неизменяемые или мало изменяемые".[3]

Хотя Мейе, ограничиваясь этими замечаниями, не углубляется в исследование проблемы дофлективного состояния индоевропейской речи, проблема эта, как показывают работы других представителей новейшей компаративистики, заняла видное место в тематике изысканий по сравнительной грамматике индоевропейских языков. Таким образом, сравнительное языкознание вновь пришло к постановке вопроса о происхождении индоевропейской морфологической структуры, увлекавшего в свое время Боппа и его современников.

Следует заметить, что за сто лет, прошедшие со времени исследований Боппа, техника сравнительно-грамматического анализа и уровень изучения фактов исторической морфологии и фонетики индоевропейских языков значительно повысились.

Для представителей французской компаративистики характерно преобладание интереса к морфологической стороне изучаемых явлений. Так, например, А. Кюни, формулируя задачи „дограмматических" (prégrammaticales) исследований (имеется в виду изучение элементов индоевропейской морфологической структуры, восходящих к состоянию, предшествовавшему образованию флексиии), писал: „В понимаемой таким образом

---

[1] А. Мейе. Введение..., стр. 169.
[2] Там же, стр. 171.
[3] Там же.

«дограмматике» (prégrammaire) морфология занимает больше места, чем фонетика, и значение ее важнее. Часто говорят о лингвистике — этот упрек можно было бы сделать и «дограмматике», — что «это только фонетика» (ce n'est que de la phonétique). Это также неверно, как неверно говорить о геологии, что это кристаллография. Единственно верным является то, что нельзя заниматься ни геологией без кристаллографии, ни лингвистикой без фонетики. Во всяком случае, морфология остается наиболее важной частью, потому что лишь с ее помощью удалось доказать родство различных индоевропейских языков и лишь к ней надо прибегать, чтобы показать взаимосвязанность высших лингвистических единств".[1]

Морфологическому подходу к исследованию архаической структуры индоевропейского слова, характерному для работ Мейе и его школы, некоторые представители новейшей компаративистики противопоставляют чисто фонетическую трактовку фактов индоевропейской морфологии. Такое различие подходов к анализу в сущности одного и того же круга вопросов обнаруживается при сравнении работы Э. Бенвениста „Происхождение образования имен в общеиндоевропейском языке"[2] с вышедшей одновременно работой Ю. Куриловича „Индоевропейские этюды".[3]

Известный польский языковед Ю. Курилович справедливо полагает, что „относительная хронология фактов, как фонетических, так и морфологических, должна составлять центральную проблему для всякого исследования, ставящего себе целью описание общеиндоевропейского языка (la langue-mère indoeuropéenne).[4] Непосредственной задачей своего труда он считает рассмотрение с хронологической точки зрения некоторых проблем фонетики и морфологии имени; предлагаемые им решения должны отвести анализируемым фактам

[1] A. Cuny. Études prégrammaticales sur le domaine des langues indoeuropéennes et chamito-sémitiques. Paris, 1924, Предисловие, стр. XI. Говоря о „взаимосвязанности высших лингвистических единств", Кюни имеет, в частности, в виду предполагаемое им родство индоевропейских и хамито-семитических языков, попытке доказательства которого он посвятил данное (как и ряд последующих) исследование. Проводимый Кюни тонкий анализ структуры индоевропейских и хамито-семитических корней не привел, однако, к решению этой крайне сложной проблемы. См. также A. Cuny. Invitation à l'étude comparative des langues indoeuropéennes et des langues chamito-sémitiques. Paris, 1946.

[2] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-Européen, I. Paris, 1935.

[3] J. Kuryłowicz. Etudes indoeuropéennes, I. Kraków, 1935.

[4] Там же, Предисловие, стр. III.

„определенное место в цепи доисторической эволюции индоевропейского языка“.[1]

Однако характерной чертой его исследования является несколько односторонний подход к изучению вопросов морфологической структуры индоевропейского слова — исключительно с фонетической точки зрения. Звуковой состав морфологических элементов и характер ударения представляют для Куриловича основные факторы, определяющие направление их развития.

Несколько глав в книге Куриловича специально посвящены вопросам доисторической фонетики индоевропейских языков. Основное место в этой части работы принадлежит главе об „исчезнувших консонантических элементах“, в которой излагается интересная теория Куриловича относительно согласного (консонантного) характера так называемого „индоевропейского шва“ ($ə$), иначе говоря, развиваемая им „ларингальная гипотеза“. Положения, лежащие в основе этой теории, были в свое время впервые высказаны Соссюром в его исследовании о первоначальной системе индоевропейских гласных звуков.[2] Анализируя состав и соотношения гласных в древних индоевропейских языках, Соссюр установил наличие, рядом с основными чередующимися гласными *e*/*o*, также дополнительных вокалических элементов, условно обозначенных им как *A* и *Ǫ*, и отвел им место среди так называемых „сонантических коэффициентов“ (*i*, *u*, *r̥*, *l̥*, *n̥*, *m̥*), различные сочетания которых с основными гласными *e*/*o* создали, в зависимости от положения ударения, все разнообразие древнего индоевропейского вокализма. Таким образом, Соссюру удалось чисто теоретически наметить пути дальнейших исследований системы индоевропейского вокализма, указав на возможность происхождения некоторых гласных из первоначально консонантных элементов.

Решающим для дальнейшей разработки этой проблемы явилось вовлечение в сферу исследования материалов хеттского языка. Куриловичу принадлежит открытие того, что хеттскому звуку *ḫ* существуют соответствия в других индоевропейских языках.

На этом открытии Курилович построил свою теорию „ларингальных согласных“, условно обозначаемых им как $ə_1$,

[1] J. Kurylowicz, ук. соч., Предисловие, стр. III.
[2] F. de Saussure. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.

$ə_2$, $ə_3$, — теорию, оказавшуюся весьма плодотворной для объяснения целого ряда непонятных прежде явлений фонетики и морфологии древних индоевропейских языков, хотя многое в ней до сих пор еще остается неясным и спорным.

Реконструкция особой серии ларингальных[1] согласных, существовавших в звуковом составе общеиндоевропейского языка, позволила продолжить и углубить начатое Соссюром исследование системы закономерностей, определявших фонетическую структуру индоевропейского слова.

В самых общих чертах древний индоевропейский вокализм предстает перед нами в трактовке Куриловича, основанной на открытии нового, неизвестного прежде ряда согласных звуков, в следующем виде: за основу, как и у Соссюра, берется чередование гласных в ударных и неударных слогах. Основной гласный может выступать или в виде *e* или в виде о.[2]

Принципиально новым является выяснение роли ларингальных звуков в образовании различных типов огласовки. Как и всякие согласные, ларингальные могут замыкать собой слог.

В этих случаях сочетания различных типов *ə* с основным гласным создают в индоевропейских языках долгие гласные. Так $e + ə_1 > \bar{e}$, $e + ə_2 > \bar{a}$, $e + ə_3 > \bar{o}$, $o + ə_1 > \bar{o}$. Всякий слог начинается с согласного и замыкается согласным. В доисторическом состоянии индоевропейских языков не могло быть слогов, а следовательно и слов, которые начинались бы с гласного звука. Поэтому всякое слово в исторических индоевропейских языках, начинающееся с гласного, рассматривается как утерявшее начальный согласный звук. Утерянные согласные — это и есть ларингальные звуки ($ə_1$, $ə_2$, $ə_3$), которые частично сохранились в хеттском языке (ср. хетт. ḫarkiš 'белый' и греч. ἀργός 'белый', 'блестящий', ἄργυρος, лат. argentum 'серебро'; хетт. ḫant- 'передняя сторона' и др.-инд. ánti, греч. ἀντί, лат. ante и т. д.).

Гласный *e-* в начале слова должен восходить к сочетанию $ə_1e$-, гласный *a-* (происхождение этого звука долго вызывало в компаративистике недоумение и противоречивые тол-

---

[1] Термин „ларингальные согласные" условен. Звуковое качество этих фонетических единиц подлежит еще уточнению.

[2] В отличие от Соссюра Курилович связывает, опираясь на хиртовскую теорию индоевропейского вокализма, возникновение основного чередования гласных *e*/o также с различиями в ударении и считает, что о развилось в определенный период фонетической эволюции общеиндоевропейского языка из *e*, оказавшегося в неударенном слоге. Таким образом, основным гласным остается только *e*.

кования) возводится к сочетанию $ə_2e$-, *o*- (первоначальное, а не ступень чередования с гласным *e*) — к сочетанию $ə_3e$-. Различные ступени ослабления под влиянием перемещения ударения создали все остальные варианты огласовки, наблюдаемые в древних индоевропейских языках.

Гипотеза Куриловича, впервые опубликованная им еще в 1927 г.,[1] имела большое значение для дальнейшего изучения проблемы индоевропейского вокализма, а также для исследования вопросов структуры индоевропейского корня. Так называемая ларингальная теория получила дальнейшую разработку в трудах целого ряда ученых и является одной из центральных проблем современной компаративистики.[2]

Значительную часть своей работы „Индоевропейские этюды“ Курилович посвятил рассмотрению проблемы корня, вопросу о происхождении именной флексии, а также различным типам „именной деривации“ (la dérivation nominale). Все эти вопросы Курилович трактует, исходя из своей теории „ослаблений гласных звуков“ (les affaiblissements vocaliques), т. е., иначе говоря, пытается решить проблему развития основных элементов грамматического строя индоевропейских языков на основе критериев фонетического порядка.

Такая постановка вопроса не может не вызывать принципиальных возражений. Хотя изменения, происходящие в морфологической структуре, часто бывают тесно связаны с теми изменениями, которым подвергается звуковая система данного языка, однако ошибочными, как нам кажется, являются попытки поставить развитие грамматического строя в причинную зависимость от факторов фонетического порядка. „Грамматика, — отмечает И. В. Сталин, — есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления“.[3] Грамматический строй языка и его основной словарный фонд „составляют основу языка, сущность его специфики“.[4]

Развертывание и совершенствование основных элементов существующего языка составляет сущность процесса языко-

---

[1] ə indo-européen et h hittite. Symbolae Grammaticae in honorem Ioann. Rozwadowski. Kraków, 1927.

[2] См. изложение истории этого вопроса: H. Hendriksen. Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngaltheorie. København, 1941; E. H. Sturtevant. The Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore, 1942; L. Zgusta. La théorie laryngale. Arch. Orient. XIX, 1951. W. P. Lehmann. Proto-Indo-European Phonology. Austin, 1952.

[3] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.

[4] Там же, стр. 26.

вого развития. Внутренние законы этого развития не могут быть односторонне сведены к формулам фонетических переходов, обобщающим лишь факты эволюции звуковой стороны языка, но не раскрывающим коренных изменений языковой структуры.

Характерный для Куриловича преимущественно фонетический подход к анализу морфологических явлений ярко выступает в его определении понятия „индоевропейского корня“.[1] „Семантическому“ (т. е., иначе говоря, морфологическому) определению корня как основной части слова, не подлежащей дальнейшему разложению в пределах данной лингвистической системы, Курилович противопоставляет как „более плодотворное“ для сравнительной грамматики чисто фонетическое определение: „Корень — это часть слова (речь идет о простом слове), которая включает: 1) начальный согласный или начальную группу согласных, 2) основной гласный, 3) конечный согласный или группу согласных. Конечная группа может состоять не более чем из двух согласных элементов, из которых первый имеет большее раскрытие, чем второй. Это значит, что первый согласный элемент — это *i̯*, *u̯*, *r*, *l*, *n*, *m*, а второй — это согласный в узком смысле слова: взрывной, *s* или ларингальный ($ə_1$, $ə_2$, $ə_3$)“.[2] Таким образом, фонетический комплекс, соответствующий этим условиям, например *tend ‘натягивать’, должен рассматриваться как корень, хотя бы рядом и существовала нерасширенная форма *ten. В то же время комплекс *noqᵘt ‘ночь’ не является корнем, потому что его конечная группа согласных не соответствует предложенной Куриловичем формуле корня. Вопроса о корнях как о ядре словарного состава языка для Куриловича таким образом не существует.[3]

Характерно, что понятие „корневых детерминативов“ или „распространителей“, разработанное предшествующей компаративистикой, Курилович устраняет. „Не требуется никакого сравнительного рассмотрения двух корней. Корень — это понятие чисто фонетическое“.[4]

[1] Критику теории корня у Куриловича см. в книге: А. А. Белецкий. Принципы этимологических исследований. Киев, 1950, стр. 21—23.

[2] J. Kuryłowicz, ук. соч., стр. 121.

[3] Несколько позднее Курилович предложил также и морфологическое определение корня как „части слова, не мотивированной продуктивным или живым процессом деривации“ (V-ème Congrès International des Linguistes, Première publication, Réponses aux questionnaires, Bruges, 1940, стр. 12).

[4] J. Kuryłowicz, ук. соч., стр. 122.

В чисто фонетическом плане ставится и вопрос о происхождении корней. Опираясь на теорию индоевропейского вокализма Г. Хирта, Курилович берет за основу условно сконструированные фонетические комплексы, „базы". Эти фонетические комплексы делятся на два или три элемента, каждый из которых должен представлять собой сочетание какого-либо согласного с основным гласным *e*: *$ə_1$e-se; *pe-le-$ə_1$e; *$ə_1$e-ne-k̂e. О происхождении этих комплексов Курилович не ставит вопроса, считая, что само по себе понятие такой „базы" не играет никакой роли в занимающих его разысканиях. Оно интересует его лишь постольку, поскольку сконструированные им фонетические комплексы являются источником образования различных форм корней, возникающих благодаря определенным положениям ударения. Так, например, из комплекса („базы") *$ə_1$e-se развиваются два корня или две формы корня (по мнению Куриловича, это лишь вопрос терминологии) *$ə_1$es и *$ə_1$se, из *pe-le-$ə_1$e — *pel$ə_1$ и *ple$ə_1$, из *$ə_1$e-ne-k̂e — *$ə_1$enk и *$ə$nek. Слог, на который пришлось ударение, сохраняет основной гласный *e*, в остальных слогах гласные редуцируются. Корни делятся на „легкие" и „тяжелые".

Опираясь на построения Хирта, Курилович полагает, что в разные периоды доисторического развития индоевропейской речи имел место ряд последовательных „ослаблений гласных", происходивших под влиянием смещения ударения. „Образование корней" явилось результатом первого из таких „ослаблений". Последующие „ослабления" должны были создавать, по мнению Куриловича, возможности для дальнейшей дифференциации фонетико-морфологических единств, возводимых в конечном счете к отвлеченно сконструированным фонетическим комплексам — „базам". Таким образом, понятие „корня" в том чисто фонетическом значении, которое придает ему Курилович, является лишь промежуточным этапом в этом процессе и не играет по существу никакой самостоятельной роли.

С изменением фонетической структуры комплексов в зависимости от положения ударения, определяющего соотношение гласных и согласных в их составе, Курилович связывает процессы морфологической деривации — образование тематических и атематических основ, прилагательных, падежных форм и т. п. И в этой части своей работы[1] он неизменно

---

[1] J. Kuryłowicz, ук. соч., главы: Remarques sur la flexion nominale, стр. 131—168; Notes de dérivation nominale, стр. 169—251.

опирается на сконструированную им систему фонетических отношений, обусловленных доисторической акцентуацией. В его изложении процесс развития основных элементов индоевропейского корнеслова, словообразования и флексии предстает в виде целого ряда алгебраических формул, основанных на предпосылках фонетического порядка и подчиняющихся выведенной им общей формуле „деривации“. Эта формула звучит следующим образом: „Когда форма B усваивает известную функцию формы A, т. е. когда она захватывает функциональную область формы A, между формой A и формой B (как формой производной) устанавливается отношение деривации, если только формы A и B являются родственными с формальной точки зрения“.[1]

Курилович допускает, что изменения акцента должны были сопровождаться семантическими изменениями и дифференциациями. Но реконструируемые им изменения функции падежных форм, например гипотеза о развитии формы индоевропейского именительного падежа из формы более древнего „активного падежа“ субъекта при переходном глаголе[2] и т. п., представляют отнюдь не результат сравнительно-исторического анализа реальных лингвистических фактов. В своих морфологических построениях Курилович исходит из сконструированных формул, в основе которых лежит общая схема фонетических изменений, вызванных сдвигами акцентуации, и мыслит себе процесс доисторического развития грамматической структуры индоевропейского языка как ряд формальных замен одних морфологических образований другими. „К формальным отражениям (répercussions), дающим создание нового падежа, приводит прежде всего замена одной падежной формы (A) другой падежной формой (B). Общая формула $\mathrm{A}_{\mathrm{B}}^{(x)} > B^{1}$ заставляет нас предполагать, что трансформация падежной формы B в B^{1} распространяется на все случаи употребления падежной формы B. Таким образом, здесь пред нами лишь смещение функций форм A и B ($> B^{1}$), а именно сужение функциональной области A и расширение функций B ($> B^{1}$). Но если только часть форм B, образующая определенную семантическую группу (внутри категории B), распространяет свои функции за счет соответствующих форм A, то результатом этого является расщепление падежной

[1] Там же, стр. 171.
[2] Там же, стр. 161—165

формы B на B и B^1, и отсюда появление нового падежа и т. д.".[1]

Вся история образования индоевропейской падежной флексии подводится Куриловичем под эту формулу и предстает в виде ряда подстановок, замен одних форм другими. Понятие исторического развития, развертывания и совершенствования элементов морфологической структуры языка, понятие о семантике грамматических категорий, отражающих в своем развитии результаты абстрагирующей работы человеческого мышления, в концепции Куриловича отсутствуют. В схематизме этой концепции несомненно сказались структуралистские увлечения ее автора.

Однако при всем том исследование Куриловича содержит много бесспорно интересных наблюдений над соотношением морфологических элементов в составе архаического индоевропейского слова. Это определяется также и характером самого лингвистического материала, давно уже нуждавшегося в детальном фонетико-морфологическом обследовании.

В истории образования индоевропейской морфологической структуры ударение, фонетически синтезирующее состоящее из разнородных элементов (корня, разного рода основообразующих аффиксов, флексии) слово, несомненно должно было играть большую роль. Положением ударения определяется и характер гласных звуков — чередование различных ступеней огласовки в ударенных и неударенных слогах. С этим связаны определенные, чисто количественные соотношения между слогами, своего рода „равновесие", существующее между отдельными компонентами индоевропейского слова.

Постановку этой проблемы намечал в свое время еще Бопп, формулируя свой закон „тяжести окончаний".[2] Но на тогдашнем уровне сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков еще не была подготовлена почва для исследования подобного рода вопросов. Начиная с конца XIX в., проблема эта стала назревать, особенно в связи с углублением изысканий в области структуры индоевропейского основообразования. Многое здесь было уже отмечено в работах Соссюра и Мейе, но многое здесь все еще продолжало и продолжает оставаться неясным.

---

[1] J. Kuryłowicz, ук. соч., стр. 236.

[2] Fr. Bopp. Vocalismus oder sprachvergleichende Kritiken über J. Grimm's deutsche Grammatik und Graff's althochdeutschen Sprachschatz mit Begründung einer neuen Theorie des Ablautes. Berlin, 1836.

Разработка Куриловичем вопросов о характере древнего ударения и о ларингальных звуках способствовала более глубокому освещению проблемы индоевропейского вокализма, с изучением которого неразрывно связано исследование формальной структуры индоевропейского слова. Идя по пути фонетического анализа соотношения древнейших морфологических элементов в составе слова, Курилович сделал ряд интересных и тонких наблюдений. Однако односторонний фонетический подход к изучаемым явлениям, стремление свести содержание процесса развития грамматического строя языка к ряду алгебраических формул, выводимых сперва путем умозрительных операций и лишь потом прикладываемых к реальному богатству фактов индоевропейской морфологии,— все это ограничивает возможности действительно исторического подхода к анализу изучаемых явлений.

Следует также заметить, что исследование Куриловича, несмотря на стремление автора к строгой математической точности выводов, заключает в себе некоторые недостаточно обоснованные на конкретном лингвистическом материале гипотезы (например гипотезу о происхождении индоевропейского именительного падежа из „активного"). Однако, несмотря на спорность некоторых содержащихся в ней положений, книга Куриловича, вносящая много нового в трактовку вопросов фонетической структуры древнейшего индоевропейского основообразования, безусловно заняла видное место среди новейших трудов в области компаративистики.[1]

Аналогичные проблемы, однако, подходя к ним с другой стороны — преимущественно с морфологической точки зрения и с опорой на анализ наиболее архаических явлений в грамматической структуре индоевропейских языков, — трактует ученик Мейе, известный французский компаративист Э. Бенвенист, в своем исследовании „Происхождение образования

[1] В 1952 г. появилась новая крупная работа Куриловича, посвященная специально проблеме древнего индоевропейского ударения (J. Kuryłowicz. L'accentuation des langues indo-européennes. Kraków, 1952). Эта проблема трактуется автором в тесной связи с вопросами морфологической структуры слова в древних индоевропейских языках. Новое исследование Куриловича продолжает и развивает ту же линию изучения архаических фактов индоевропейской морфологии, что и более ранние его работы. Однако, чтобы не углубляться в очень специальную область сравнительной акцентологии, в нашем обзоре мы не останавливаемся на анализе положений этого исследования. См. подробную рецензию на вышеуказанную работу Куриловича, опубликованную В. В. Ивановым в журнале „Вопросы языкознания", 1954, № 4, стр. 125—136.

имен в общеиндоевропейском языке".[1] Отмечая, что предшествующая компаративистика почти совсем забросила изучение вопроса о структуре индоевропейских форм, Бенвенист подчеркивает, что в его работе индоевропейский язык рассматривается „не как перечень неподвижных символов, но как язык в становлении, обнаруживающий в своих формах такое же разнообразие происхождения и хронологических дат, как всякий исторически засвидетельствованный язык, и подлежащий, хотя и будучи реконструированным, генетическому анализу".[2] Бенвенист отправляется от тех элементов морфологической структуры древних индоевропейских языков, которые представляются ему наиболее архаическими, для того чтобы достигнуть, „двигаясь вперед медленно и неравномерно", древнейшего состояния индоевропейской речи, которое определяется разработанной им теорией корня.[3]

Свое исследование Бенвенист начинает с анализа так называемого гетероклитического склонения, которое в трудах по сравнительной грамматике и до него обычно трактовалось как один из наиболее архаических участков индоевропейской морфологии. Речь идет об именах, образующих падежные формы с помощью чередования различных основ. Так, например, в целом ряде слов среднего рода, основа совпадающих по форме именительного и винительного падежей единственного числа характеризуется формантом *-r*, а основа всех остальных падежей — формантом *-n*: греч. ὕδωρ 'вода' — род. п. ед. ч. ὕδατος (<*ὕδντος), хетт. wātar — род. п. wetenaš; ср. др.-инд. род. п. udnáḥ, местн. п. udán; умбр. имен.-вин. п. útur, абл. une. В готском языке обобщена и проводится по всей парадигме форма на -n: watō — род. п. watins; в древневерхненемецком — форма на *-r*: wazzar. Ср. также хетт. paḫḫur 'огонь' — род. п. paḫḫuenaš; греч. πῦρ, тохар. por, умбр. pir, ирл. ūr, др.-в.-нем. fuir — гот. fōn, род. п. funins; лат. femur 'бедро' — род. п. feminis; греч. гомер. ἦμαρ 'день' — род. п. ἤματος, и т. д.

Точно так же чередуются форманты *-i* и *-n*: др.-инд. ásthi 'кость' — род. п. asthnáḥ; греч. ἄλφι 'ячменная мука' — род. п. *ἄλφατος (имен.-вин. п. мн. ч. ἀλίφατα) и т. д.

По различным языкам в ряде случаев закрепилась лишь одна из двух чередующихся форм основы: греч. ἔαρ, εἶαρ,

---

[1] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en Indo-Européen, I. Paris, 1935.

[2] Там же, стр. 2

[3] Там же.



род. п. ἔαρος (<*wēsr-) 'весна', лит. vasarà, лат. uēr (<*wēsr-), но др.-инд. vasan-tá-, русск. **весна**; др.-инд. вед. hā́rdi, хетт. kardi-, арм. sirt (<*kērdi-), греч. καρδία 'сердце', но гот. hairtō, род. п. hairtins (осн. *kērd-en-) и т. д.

По вопросу о гетероклитическом склонении существует довольно большая литература. Бенвенист признает неудачными все делавшиеся до сих пор попытки объяснить это явление. „Если столько попыток потерпело неудачу, то это потому, что сама проблема ставилась в искусственные рамки. Пережитки пытались объяснить, исходя из функций регулярных типов, иначе говоря, пытались подчинить архаизмы норме последующих эпох. Между тем, нужно наоборот, отбросив освященные традицией схемы, описать сперва, насколько возможно широко и полно, то состояние вещей, которое надлежит понять само по себе; затем необходимо охарактеризовать каждую морфему в ее различных функциях, где их только можно определить, и также по отношению к системе, в которой она участвует; только тогда, наконец, можно будет рассмотреть в деталях разновидности чередования".[1]

Таким образом, Бенвенист с самого начала ставит перед собой задачу изучить функции древнейших морфологических элементов и их соотношение в системе языка. Этой установкой определяется насыщенность анализа, проводимого Бенвенистом, конкретными материалами древних индоевропейских языков, с обильным привлечением новых для компаративистики хеттских фактов.

Чередование формантов *r/n* и *i/n* Бенвенист прослеживает не только внутри парадигм архаического склонения, но и между образованиями имен существительных от одного и того же корня в различных индоевропейских языках, а также в образовании прилагательных производных от существительных, например, греч. χειμέριος, χειμερινός 'зимний', χίμαρος 'годовалый козленок', ср. греч. χειμών 'зима', др.-инд. héman 'зимой', heman-tá-, хетт. gimant- 'зима', и т. д.

Факты гетероклизии Бенвенист подразделяет на три группы.

1. Чистая форма корня в именительно-винительном падеже единственного числа среднего рода и основа на *-n* в косвенных падежах: др.-инд. doṣ- (средн. р. > муж. р.) 'рука' — dosán-. В этой группе насчитывается всего четыре примера.

2. Формант *-r* в именительно-винительном падеже един-

[1] E. Benveniste. Origines de la formation des noms..., стр. 4.

ственного числа среднего рода и формант *-n* в косвенных падежах. По сравнению с первой группой, характеризующейся чистой формой корня в именительно-винительном падеже, формант *-r* выступает как некоторое вторичное наращение.

Группу эту Бенвенист расширяет включением в нее части имен среднего рода с основой на *-es-*, часто сосуществующих параллельно с архаическими формами на *r/n*: др.-инд. uṣás-/uṣar- 'заря', áhas-/ahar- 'день'; греч. μῆχος/μῆχαρ 'хитрость', 'орудие' (ср. μηχανή 'хитрость', 'орудие'); πῖος/πῖαρ 'жир'; ὕδος/ὕδωρ 'вода', и т. д. Сюда же он относит такие слова, как греч. γέρας 'почет', 'награда', γῆρας 'старость', δέμας 'тело', и др., рассматривая их как старые основы на *-r*, перешедшие в тип склонения основ на *-s*.

В эту же группу относятся основы на *-r*, осложненные дополнительным суффиксальным элементом: др.-инд. ásṛ-k 'кровь', род. п. asnáḥ; yákṛ-t 'печень', род. п. yaknáḥ, и др.

Параллельным вариантом чередования *r/n* является чередование l/n: греч. χθαμαλός 'низкий', 'низменный', фракийское хтоническое божество Σεμέλη — др.-инд. kṣāman, jman, авест. zəman 'земля'; др.-в.-нем. himil — гот. himins 'небо'; греч. μεγαλο- — лат. magnus 'большой', и др.

3. Основы с формантом *-i* в именительно-винительном падеже единственного числа среднего рода.

В этой связи Бенвенист сопоставляет основы на *-i* среднего рода с аналогичными основами на *-u* и устанавливает между ними существенное морфологическое различие: формант *-u* не чередуется с *-n*. В то время как формант *-i* в asthi появляется только в форме именительно-винительного падежа единственного числа формант *-u-* никогда не может отсутствовать. Отсюда формальное противопоставление: ásthi — asthán, но *gonu — *gonwen- (греч. γόνυ — γούνατος 'колено'), т. е. формант **-en* заменяет собой *-i* в основах среднего рода на *-i*, но прибавляется к форманту *-u-* в основах на *-u*.

При этом Бенвенист дает очень интересную трактовку различных вариантов склонения на *-i* и *-u*, связанную с излагаемой им в дальнейшем общей теорией строения индоевропейского корня.

В результате сравнительного анализа образования основ на *-i* и *-u* Бенвенист приходит к следующему выводу: морфологические элементы *-i* и *-u* ведут себя как согласные в архаических словах среднего рода и как гласные в производных образованиях. Кроме того, существует различие

в употреблении: *-*y* может прибавляться к форме именительно-винительного падежа среднего рода как „распространитель" (élargissement), не влияя на остальную флексию (ср. др.-инд. asthi, hárdi и др.), но может служить также суффиксом, появляясь во всех формах; *-*w*- может быть только суффиксом, который как таковой прикрепляется к основе и проходит через всю флексию. Поэтому существует тип морфологического чередования **i/n*, но не существует типа **u/n*.

Далее Бенвенист переходит к вопросу о местном падеже единственного числа, связывая его с проблемой „неопределенного падежа" (cas indéfini) и проникая, таким образом, в „дофлективный" период индоевропейской речи. Он предполагает, что в древнем состоянии общеиндоевропейского языка падежно неоформленные именные основы могли использоваться в различных синтаксических функциях, преимущественно обстоятельственного характера.

С основами среднего рода на *-r* он сопоставляет и отождествляет характерные для древнеиндийского языка формы местного падежа с нулевым окончанием (собственно наречия): vanar 'в лесу', vasar 'весной', áhar 'днем', а также греческие наречия νύκτωρ 'ночью', ἦμαρ 'днем' (ср. τὸ ἦμαρ 'день'), εἶθαρ 'тотчас' и др. С формами на *-n* он также сопоставляет соответствующие падежно неоформленные наречные образования („формы местного падежа без окончания") в древнеиндийском языке: áhan 'днем', udán 'в воде', hemán 'зимой', āsán 'во рту', akṣán 'в глазу', çīrṣán 'на голове', и др.

С образованиями на *-i* сопоставляются широко распространенные формы местного падежа единственного числа с окончанием *-i*, характерные для ряда древних индоевропейских языков: др.-инд. áhani 'днем', āsáni 'во рту', греч. χαμαί 'на земле', и др.

Бенвенист находит, что само понятие местного падежа и роль его в падежной системе индоевропейских языков крайне преувеличены в существующей литературе по компаративистике. Отмечая, что падежные функции анализируемых им форм очень широки и никак не ограничиваются чисто локальным значением или вообще значением какого-либо одного определенного падежа, он предлагает рассматривать их как пережитки неопределенного падежа (cas indéfini), сохранявшего еще неоформленность, унаследованную от дофлективного периода.

Вместе с „неоформленными образованиями местного падежа" и формами местного падежа с окончанием *-i* в кате-

горию остатков от дофлективного периода попадают также и существительные среднего рода, обладающие гетероклитическим склонением (см. выше) или вовсе не имеющие форм косвенных падежей (например, греч. τὸ ὄναρ 'сон'). Таким образом, и формы именительно-винительного падежа единственного числа среднего рода типа греч. ὕδωρ, хетт. watar 'вода', др.-инд. ásthi 'кость', и „неоформленные образования местного падежа" типа др.-инд. vanar 'в лесу', áhar 'днем', udán 'в воде', āsán 'во рту', и греческие наречия на *-r*, и формы местного падежа с окончанием *-i* — все это оказывается пережитками единой по своему происхождению категории древнего неопределенного падежа, различаясь лишь чередованием основообразующих элементов.

Доведя таким образом свой морфологический анализ до гипотетического состояния индоевропейской речи, предшествовавшего выработке именной флексии, Бенвенист переходит к вопросу о строении индоевропейского корня. В отличие от Куриловича он не объявляет корень исключительно „фонетическим понятием". Однако он считает необходимым определить его фонетико-морфологическую структуру.

Основываясь на достижениях предшествующей компаративистики в области изучения вопросов индоевропейского вокализма, а также на теории ларингальных согласных Куриловича, он строит следующую схему, в общем совпадающую со схемой Куриловича: „Мы предполагаем известным и установленным, что *e*, *a*, o (не чередующееся с *e*) и *ē*, *ā*, ō представляют собой *e*, которому предшествуют или за которым следуют три формы *ə*; таким образом, $ə_1 + e = e$; $ə_2 + e = a$; $ə_3 + e = o$; $e + ə_1 = ē$; $e + ə_2 = ā$; $e + ə_3 = ō$".[1]

Таким образом, *ed- возводится к *$ə_1$ed-, ср. *sed-; *ag- = *$ə_2$eg-, ср. *teg-; *ok^w- = *$ə_3ek^w$-, ср. *sek^w-; *dhē- = *dhe$ə_1$-, ср. *dher-; *bhā- = *bhe$ə_2$-, ср. *bher-; *pō- = *pe$ə_3$-, ср. *pet-.

Сравнением с корнями, в которых выступают обычные согласные, подчеркивается консонантный характер *ə*. Морфологический характер имеет только чередование *e*/o. Все остальные чередования гласных — результат всевозможных комбинаций основного гласного *e* с различными разновидностями *ə*.

---

[1] E. Benveniste. Origines de la formation des noms. . ., стр. 148—149.

Исходя из этой схемы, Бенвенист строит далее следующую теорию соотношения древнейших морфологических элементов в составе индоевропейского слова — теорию, существенно отличающуюся от чисто фонетических построений Куриловича: основа состоит из трех элементов — корня, суффикса и „распространителя“ (élargissement — Бенвенист заменяет этим термином термин „корневой детерминатив“, слишком широко и неточно применяющийся в существующей лингвистической литературе). И корень и суффикс могут иметь чередование огласовок. Распространитель никогда не имеет огласовки, являясь чисто консонантным элементом. Корень представляет собой закрытый слог, всегда начинающийся с согласного (в том числе с ə). И в качестве суффикса и в качестве распространителя может выступать любой согласный, включая ə, и сонант. Огласовки корня и суффикса находятся в строгом соответствии: если в корне полная ступень огласовки (*e*/o) и на нем стоит ударение, то в суффиксе выступает нулевая ступень, и наоборот. Таким образом, различаются два состояния основы — тема I и тема II.

Примеры (основа состоит из корня и суффикса): *wér-g- (греч. Fέργον 'дело') — *wr-ég- (греч. ῥέζω 'делаю'); *sén-w- (др.-в.-нем. senawa, senwa 'жила') — *sn-éu- (греч. νεῦρον 'жила'); *tér-ə$_1$- (греч. τέρετρον 'бурав') — *tr-éə$_1$- (греч. τρή-σω, буд. время от τιτράω 'сверлить'); *pél·ə$_2$- (хетт. palḫ- 'широкий') — *pl-éə$_2$- (лат. plānus 'плоский', 'ровный'); *gén-ə$_1$- (греч. γενε- 'род' и т. д.) — *gn-éə$_1$- (греч. γνη-, ср. γνήσιος 'природный', 'родной', 'истинный' и т. д.); *ə$_2$ér-g- (хетт. ḫark-, греч. ἀργ- 'белый', ср. ἄργυρος 'серебро') — *ə$_2$r-ég- (др.-инд. raj-atám 'серебро').

Пример корня, снабженного суффиксом с полной ступенью огласовки и распространителем: *pr-ék-s- (др.-инд. prákṣ- в prákṣyati 'будет спрашивать').

Примеры корней, снабженных, кроме суффикса, распространителем в виде назального инфикса:

Тема I	Тема II	Глагольная основа настоящего времени с назальным инфиксом
*wér-w-	*wr-éu-	*wr̥-n-éu- (др.-инд. vr̥ṇóti 'покрывает')
*kér-w-	*kr-éu-	*kr-n-éu- (др.-инд. kr̥ṇóti 'делает')
*léi-k^w-	*ly-ék^w-	*li-n-ék^w- (др.-инд. riṇakti 'оставляет').

Древнейшие индоевропейские основы включают в себя, как показывает Бенвенист, лишь по одному суффиксу и по одному распространителю. Таковы основы первичных глаголов

и архаических именных типов, восходящие к древнему дофлективному состоянию и образующиеся с помощью одних и тех же элементов. Слова среднего рода с формантами *-r* и *-i*, о которых речь была выше, а также соответствующие формы местного падежа, представляют собой, таким образом, древнейшие основы, состоящие из корня, суффикса и распространителя (*-r*, *-i*), и являются пережитками неопределенного падежа, т. е. падежно неоформленного имени. От таких первичных основ в дальнейшем образовывались вторичные, производные. Нагромождение различных суффиксов и распространителей свидетельствует, по мнению Бенвениста, о более позднем происхождении соответствующих именных и глагольных форм, относящемся уже к флективному периоду развития индоевропейской морфологической структуры.

Таково основное содержание книги Бенвениста „Происхождение образования имен в общеиндоевропейском языке". В этой книге привлекает внимание также целый ряд деталей исследования, попытка вскрыть функции некоторых основообразующих элементов (например аффикса *-dh-* как показателя среднего залога), сопоставление различных именных и глагольных образований и т. д.

Исследование Бенвениста представляет собой интересный опыт постановки вопроса о том, из каких элементов слагалась древнейшая морфологическая структура, лежащая в основе развития морфологической структуры отдельных индоевропейских языков и каково было соотношение этих элементов еще в доисторический период существования индоевропейской речи.

В этом отношении особенный интерес вызывает постановка вопроса о пережитках дофлективного состояния, которые Бенвенист устанавливает путем анализа архаических типов именных и наречных образований в отдельных индоевропейских языках.

Гипотеза о том, что в предистории индоевропейского грамматического строя существовала некогда категория неопределенного падежа, иначе говоря, было возможно употребление падежно неоформленного имени в различных синтаксических функциях, не является в языкознании новой. Она была навеяна сравнением с грамматической структурой тюркских языков, где существует подобного рода употребление (падежно неоформленное имя может выступать в функции подлежащего, определения, недефинированного прямого дополнения).

Понятие неопределенного падежа было впервые введено в лингвистическую литературу О. Бётлинком, описавшим строение якутского языка.[1] „Casus indefinitus, — писал он, — не имеет особого окончания, а является голой именной основой. Я назвал именную основу, когда она выступает в предложении как значимое слово, падежом потому, что форма эта, так же как другие падежи, выражает отношения, и потому, что об основе, как таковой, в предложении, собственно, не может быть речи. Я назвал этот падеж неопределенным (indefinitus) потому, что область его не так тесно ограничена, как область остальных падежей. Этот падеж обозначает, например, не только субъекта предложения, но вообще агенса действия; так же собственника вещи, название которой с соответственным аффигированным поссессивом просто приставляется к нему позади; а в определенных случаях даже и объект транзитивного глагола".[2]

Бётлинк полагал, что casus indefinitus является „основной формой" или „нефлективным падежом" имен и сохранился от древнего периода, „когда флексия еще не была развита".[3]

Точка зрения Бётлинка и его материалы по падежным отношениям в якутском языке были популяризованы в известной работе по теории падежей Хюбшмана,[4] в которой автор ссылался на аналогичные факты также из других неиндоевропейских языков и подчеркивал „преимущество" индоевропейских, обладающих так называемыми „грамматическими падежами" в тех случаях, где неиндоевропейские языки пользуются падежно неоформленными именами.

Но характерно, что сам Бётлинк (являясь, между прочим, автором резких критических высказываний в отношении реакционной теории Штейнталя о качественном различии языков „формальных" и „лишенных формы"[5]) провел аналогию между якутским casus indefinitus и некоторыми фактами индоевропейских языков.[6]

Эта аналогия не могла не привлечь внимания индоевропеистов. Вопросу о пережитках дофлективного периода

---

[1] O. Böhtlingk. Über die Sprache der Jakuten. Middendorf, Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens, Bd. III. St.-Petersburg, 1851.

[2] Там же, стр. 255.

[3] Там же, стр. 366.

[4] H. Hübschmann. Zur Casuslehre. München, 1875.

[5] O. Böhtlingk, ук. соч., стр. 1 и сл.

[6] Там же, стр. 214 и др.

в древнейшей истории общеиндоевропейского языка уделяли внимание Бругман, Мейе и многие другие. Проблему неопределенного падежа специально трактовал в своих сравнительно-грамматических работах Г. Хирт, хотя в его сопоставлениях было много поверхностного и неубедительного.

Мы видим, таким образом, что исследование Бенвениста имеет за собой в этом отношении довольно давнюю научную традицию. Можно, конечно, спорить о том, насколько оправдано само применение термина „неопределенный падеж“ (casus indefinitus), основанное на внешней аналогии с падежными отношениями тюркских языков. Однако Бенвенисту несомненно лучше, чем его предшественникам, удалось проанализировать структуру архаических типов индоевропейских именных основ и наречных образований (включая формы местного падежа) и указать на присущий им обстоятельственный оттенок грамматического употребления.

Исследование Бенвениста поставило на реальную историческую почву трактовку давно уже поднимавшегося в компаративистике вопроса о пережитках того состояния в структуре древних индоевропейских языков, когда именная флексия не была еще окончательно выработана, когда наряду с употреблением дифференцированных с помощью специальных показателей падежных форм было еще возможно употребление в довольно широких синтаксических функциях формы имени, внешне совпадающей с основой. Выделив группы имен, сохранивших остатки падежной неоформленности и сопоставив с ними архаические образования наречного типа, Бенвенист наметил возможности для исторической трактовки вопроса о генезисе и развитии некоторых падежных категорий в древних индоевропейских языках.

Предлагаемая Бенвенистом теория индоевропейского корня также представляет значительный интерес для изучения древнейших элементов морфологической структуры индоевропейских языков.

Характерной чертой исследований Бенвениста, являющегося одним из наиболее выдающихся представителей того немногочисленного отряда современных зарубежных лингвистов, которые продолжают исследовательскую работу в области сравнительно-исторического языкознания, является тонкость и глубина историко-морфологического анализа, опирающегося на обильный фактический материал. Широко используя достижения предшествующих работ в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, Бенвенист продолжает

традиции классической компаративистики и не изменяет принципам исторического подхода к изучаемым фактам.

Однако стремясь установить закономерности развития индоевропейской морфологической структуры в древнейшие периоды ее существования, Бенвенист чрезмерно упрощает картину соотношения и исторического развертывания основных ее элементов. При этом он слишком свободно оперирует языковыми материалами, засвидетельствованными в эпохи, неизмеримо далекие от того архаического периода, который он пытается реконструировать в своем исследовании. Характерно, что, стараясь определить древнейшее соотношение элементов индоевропейской морфологической системы, Бенвенист подчас забывает о том, что анализируемые им архаические лингвистические факты всегда так или иначе включены в морфологическую систему языка того периода, от которого до нас дошли соответствующие письменные памятники.

Известный швейцарский компаративист А. Дебруннер в своей рецензии на книгу Бенвениста отмечает, что „теория Бенвениста слишком неподвижна" (starr), что Бенвенист, занятый систематическим рассечением слов, „часто упускает из виду сами слова", что он слишком часто переносит законы строения корня, действовавшие, может быть, в „прапраиндоевропейский период", на исторические эпохи существования индоевропейской речи, для которых характерно вполне развитое флективное строение.[1]

Эти упреки не лишены основания и говорят о том, что исторический подход Бенвениста к исследованию фактов индоевропейской морфологии не является вполне последовательным.

Следует также отметить недостаточную широту используемых Бенвенистом лингвистических материалов. Свой анализ он проводит преимущественно на основе фактов древнегреческого, древнеиндийского, древнеиранского (авестийского), латинского и хеттского языков. Материалы языков славянских, балтийских, германских, армянского, кельтских привлечены очень скупо.

Правда, те языки, на материале которых Бенвенист строит свой сравнительно-грамматический анализ, отличаются особой архаичностью флективной структуры и несомненно дают больше возможностей проникнуть в глубь доисторического состояния индоевропейской речи. Однако такое ограничение

---

[1] См.: Indogerman. Forsch., Bd. 55, 3/4, 1937, стр. 318.

объекта исследования придает выводам Бенвениста несколько односторонний характер, заставляет читателей сомневаться в том, действительно ли реконструируемая Бенвенистом архаическая морфологическая система представляла собой исходное для всей группы индоевропейских языков состояние.

Кроме того, оценивая результаты интересного исследования Бенвениста, следует отметить, что недостаточное использование славянских материалов составляет особенно существенный пробел, так как факты славянских языков, до сего времени сохраняющих многие элементы древней индоевропейской грамматической структуры, имеют особую важность для разработки коренных проблем индоевропеистики.

По этому вопросу можно, как нам кажется, согласиться с основными положениями статьи Л. А. Булаховского „Значение славянских языков для реконструкции древнейшей системы родственных языков", в которой указывается: „Наряду с санскритом, древнегреческим и балтийскими языками, в меньшей мере латынью и готским, славянским принадлежит исключительно важное значение во всем, что касается реконструкции древнейшей индоевропейской языковой системы".[1]

Наконец, следует отметить также, что, исследуя факты древней индоевропейской морфологии, Бенвенист никак не высказывает своего отношения к давно уже поставленной в науке проблеме диалектных различий, существовавших в период индоевропейской общности. Без учета этой проблемы сравнительно-грамматические реконструкции неизбежно оказываются исторически неполноценными.

На этот упрек можно возразить тем, что Бенвенист исследует наиболее древние элементы индоевропейской морфологической системы, восходящие к периоду существования действительно единого языка, не подвергшегося еще диалектной дифференциации. Однако Бенвенист не проводит подобного разделения анализируемых им фактов индоевропейской морфологии и рассматривает их исключительно в одном плане — как факты развития единой во всех своих элементах языковой системы.

Между тем, обратившись к явлениям, на которые Бенвенист опирается в своих реконструкциях, можно усомниться в том, насколько всеобщий характер они могли иметь в древнейшие

---

[1] Докл. и сообщ. Филолог. фак. МГУ, вып. 1, 1946, стр. 8.

периоды существования индоевропейских языков. Так, например, архаизм проходящего по всем этим языкам морфологического чередования основ с формантами *-r* и *-n* не подлежит сомнению. Но что касается гетероклитического склонения с характерным для него распределением различных форм основы по падежам, трудно утверждать, существовал ли этот тип именной флексии в той морфологической системе, которая некогда являлась абсолютно исходным для последующего развития всех индоевропейских языков состоянием.

Изучение фактов хеттского языка показывает своеобразное и исключительное для индоевропейских языков распространение этого типа именной флексии, приобретшего в хеттском чрезвычайную широту употребления. Гетероклитические основы на *-r/-n* являлись в хеттском одним из наиболее продуктивных словообразовательных типов, что, конечно, представляло собой результат позднейшего самостоятельного развития элементов архаической индоевропейской структуры.

Из остальных индоевропейских языков лишь греческий и в значительно более слабой мере древнеиндийский и латинский обнаруживают остатки гетероклитической флексии. В других индоевропейских языках (например в старославянском, литовском, древнегерманских), при всем архаизме сохранившихся различий падежной флексии в зависимости от типов структуры именных основ, следы чередования формантов *-r/-n* можно обнаружить лишь в словообразовании.

Сказанным отнюдь не оспаривается правильность выводов Бенвениста относительно того, что в древнейшую эпоху существования индоевропейской речи ее морфологическая структура включала в себя падежно неоформленные именные образования с чередующимися аффиксами *-r*, *-n*, *-i* и т. д. Однако необходимо лишний раз подчеркнуть важность всестороннего исторического подхода к анализу сравниваемых фактов морфологии родственных между собой, но давно разошедшихся и выработавших целый ряд своеобразных структурных особенностей индоевропейских языков.

Работы Бенвениста и Куриловича вносят существенный вклад в изучение вопроса о характере древнейших элементов грамматического строя индоевропейских языков, углубляя

формальный анализ морфологической структуры архаического индоевропейского слова.

В меньшей мере это можно сказать о трудах известного немецкого компаративиста Г. Хирта, также посвященных проблеме происхождения индоевропейской флексии. Вышедший из школы младограмматиков, Хирт начал свою научную деятельность с исследований вопросов доисторической индоевропейской акцентологии[1] и вокализма,[2] в которых он развивал линию детального, хотя и односторонне-фонетического анализа строения древнейших слоев индоевропейского основообразования. Недостатком этих исследований являлся их излишний схематизм, вызванный тогда уже сказывавшейся склонностью автора к универсальным построениям, к уходу от конкретной реальности исторически засвидетельствованных лингвистических фактов в туманные дали глоттогонических гипотез. Однако в общем исследования эти не выходили из рамок сложившейся к тому времени младограмматической традиции изучения вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Выдвинутая Хиртом теория различных по своему звуковому составу первичных „баз“, из которых в результате последовательного ряда „вокалических ослаблений“, вызванных доисторическими сдвигами акцентуации, должны были возникнуть исторически известные корни и основы отдельных индоевропейских языков, оказала при всей своей спорности известное влияние на дальнейшую разработку этого рода вопросов (ср. вышеизложенную концепцию Куриловича).

Однако уже начиная с опубликованной в 1905 г. статьи „О происхождении индоевропейской глагольной флексии“,[3] Хирт открывает серию своих глоттогонических опытов, в которых он порывает с характерной для индоевропеистики конца XIX в. традицией детального сравнительно-исторического анализа языковых фактов и пытается сразу разрешить все загадки происхождения и исторического развития индоевропейских грамматических форм. Результаты своих изысканий Хирт изложил в публиковавшейся в тече-

---

[1] H. Hirt. Der indogermanische Akzent. Heidelberg, 1895.

[2] H. Hirt. Der indogermanische Ablaut, vornehmlich in seinem Verhälnis zur Betonung. Straßburg, 1900.

[3] H. Hirt. Über den Ursprung der Verbalflexion im Indogermanischen. Ein glottogonischer Versuch. Indogermanische Forschungen, Bd. 17, 1904—1905.

ние 20—30-х годов „Индогерманской грамматике“,[1] в „Руководстве по прагерманскому языку“,[2] а также в изданной уже посмертно (в обработке его ученика Х. Арнца) обобщающей работе „Основные проблемы индогерманского языкознания“.[3]

Главные свои выводы Хирт кратко формулировал в следующих словах: „Во-первых, глагол, по моему мнению, имеет именное происхождение, и это проявляется еще по многим его чертам уже в исторические эпохи. А во-вторых, индогерманская флексия является результатом сравнительно позднего развития, и правильного понимания этого вопроса можно достигнуть, только если исходить из безфлексивного периода (von einer flexionslosen Zeit)“.[4]

Обоснованию этих положений Хирт посвящает свою „Индогерманскую грамматику“, которая является пятой по счету (после соответствующих трудов Боппа, Шлейхера, Бругмана и Мейе) попыткой сводного изложения фактов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Характерно, что через сто лет, протекших со времени создания „Сравнительной грамматики“ Боппа, Хирт вновь возвращается к бопповским принципам изложения материала, подчиняя это изложение задаче установления происхождения флективных форм. Хирт сам неоднократно подчеркивает свое обращение к вопросам, „ответить на которые пытались Бопп и его последователи и которые затем в течение долгого времени совсем не поднимались языковедами. Может быть, тогда еще не пришло время для их постановки, а может быть, в этом заключалось известное удобство, страх перед ответственностью“.[5] „Я же, — заявляет Хирт, — не боюсь ответственности, так как твердо убежден в том, что наступило время вновь обратиться к этим проблемам“.[6]

Но если неудачи Боппа в разрешении поставленной им задачи — раскрыть первоначальное строение флективных

---

[1] H. Hirt. Indogermanische Grammatik. Bd. I—VII. Heidelberg, 1927—1937.

[2] H. Hirt. Handbuch des Urgermanischen, Bd. I—III. Heidelberg, 1931—1934.

[3] H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, herausgegeben und bearbeitet von H. Arntz, Straßburg, 1939.

[4] H. Hirt. Handbuch des Urgermanischen, вл. III, стр. VII.

[5] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III, стр. V.

[6] Там же.

форм — определялись недостаточной степенью изученности фактов истории индоевропейских языков, несовершенством техники сравнительно-исторического анализа и если бопповская „Сравнительная грамматика“ при всех ее недостатках представляла собой блестящее начало систематических исследований в области компаративистики, то „Сравнительная грамматика“ Хирта может служить примером отказа от классических традиций сравнительно-исторического языкознания.

Глоттогонические изыскания Хирта довольно легковесны по материалу и часто строятся на научно непроверенных гипотезах автора, которые при этом излагаются в качестве конечных достижений в решении всех важнейших проблем индоевропеистики.

Сущность концепции Хирта сводится к следующему: пережитки дофлективного состояния индоевропейской речи еще явственно выступают в виде всевозможных остатков неопределенного падежа. Падежно неоформленные имена и разного рода частицы (указательные по своему происхождению) явились основой образования всех индоевропейских грамматических форм. Присоединяясь к неоформленным именам, частицы, или, иначе говоря, „детерминативы“ (разновидность суффиксов, лишенная, как полагает Хирт, „какого-нибудь определенного значения“), создавали разнообразие форм, которые первоначально почти не различались между собой по значению. В виде таких частиц, или „детерминативов“, могли, утверждает Хирт, выступать *om*, *ām*, *a*, *ī*, *i*, *u*, *k*, *g*, *t*, *d*, *p*, *b*, *m*, *n*, *r*, *l*, s, *w*, т. е. „почти все индоевропейские звуки“.[1] Таким образом Хирт, объясняет происхождение различных типов именных основ, наречий, а также и падежных форм. „Флексия возникла не путем присоединения значимых элементов — это можно показать лишь в нескольких случаях, — но благодаря присоединению элементов, которые первоначально не имели с падежным значением ничего общего. Это доказывается уже тем, что одни и те же элементы могут обозначать различные падежи и что тот или иной определенный падеж обозначается совсем не одними и теми же элементами, как этого можно было бы ожидать. После того, как в одном случае присоединился один элемент, а в другом случае — другой, возникло приспособление (Anpassung). Присоединенный элемент стал восприниматься как падежный суффикс, как это всегда слу-

---

[1] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III, стр. 85.

чалось и в дальнейшем. Можно сказать, что адаптация является нормальной формой образования падежей также и в исторические периоды развития индогерманского языка".[1]

Возможность приспособления случайно возникших сочетаний для выражения определенных падежных значений объясняется, по мнению Хирта, тем, что уже до этого существовало „ощущение падежей".

Иначе говоря, Хирт полагает, что значение падежа могло существовать совершенно независимо от звукового оформления, еще до создания определенной падежной формы. Он мыслит себе грамматические значения как некие изначально данные семантические категории, якобы существующие в сознании говорящих. Эта точка зрения не соответствует научному пониманию неразрывной связи, единства грамматического значения и формы и приводит Хирта к ошибочной трактовке вопросов развития грамматического строя индоевропейских языков.

Одним из основных положений Хирта является его утверждение о первоначальном семантическом тождестве именительного, винительного и родительного падежей. Он пытается доказывать это, обращаясь к данным морфологии и синтаксиса. Главным аргументом морфологического порядка является, по его мнению, тождество форм именительного и винительного падежей у слов среднего рода, а также внешнее сходство окончаний родительного падежа с окончаниями именительного и винительного падежей. На основании поверхностных сопоставлений, Хирт утверждает, что для образования окончания родительного падежа единственного числа был использован тот же детерминатив *-s*, что и для образования окончания именительного падежа, для образования формы родительного падежа множественного числа тот же элемент *-om*, что и для формы именительно-винительного падежа среднего рода (от основ на *-o-*) и т. п.

Совершенно ясно, что такого рода чисто внешние сопоставления, не находящие себе опоры в истории соответствующих форм,в сущности ничего не доказывают.

Еще слабее попытки Хирта аргументировать выдвигаемые гипотезы фактами синтаксического порядка. Предполагаемое им первоначальное тождество именительного и винительного падежей он пытается доказывать кажущимся ему тождеством в употреблении этих падежей после междометия (ср. лат.

[1] Там же, стр. 180.

ah me miserum! и o magna vis veritatis!), кажущимся ему смысловым тождеством личных и безличных конструкций и, наконец, наличием в древних индоевропейских языках конструкций винительного с инфинитивом, синтаксическое значение которых он явно не желает понимать, трактуя их как пережиток недифференцированности форм винительного и именительного падежей.

Характерно следующее рассуждение по поводу безличных конструкций: „Существует некоторое количество глаголов, которые могут сочетаться как с винительным, так и с именительным падежами. Я имею в виду так называемые безличные глаголы.

„Мы можем сказать: es friert mich 'мне холодно' и ich friere 'я мерзну', и винительный падеж передает здесь то же самое, что и именительный. Уже в архаической латыни при глаголах piget, pudet и т. д. встречается также личная конструкция...

„Я тщетно вопрошаю сам себя: какое здесь различие между именительным и винительным падежами? Смысл один и тот же, говорю ли я: es friert mich или ich friere, mich hungert или ich hungere. Почему по-латыни говорится me pudet 'мне стыдно', а по-гречески αἰσχύνομαι 'стыжусь'? В подобного рода случаях винительный падеж имеет без сомнения то же значение, что и именительный".[1]

Таким образом, кажущуюся ему синонимичность значений двух грамматических конструкций Хирт, не считаясь с фактами исторической грамматики, считает достаточным основанием для утверждения об их первичном тождестве.

Аналогичным способом Хирт пытается доказывать и кажущееся ему первоначальное тождество родительного с именительным и винительным падежами, приводя безличные конструкции типа лат. tui me miseret 'тебя мне жаль', характерное для славянских языков употребление родительного падежа в отрицательных предложениях и т. п. — все это как пережитки первоначальной падежной недифференцированности.

Научная шаткость такого рода изысканий и проявляемое автором их пренебрежение к элементарным сведениям из области синтаксиса совершенно очевидны.

Значительное место в глоттогонических изысканиях Хирта занимает теория именного происхождения личных глагольных форм в индоевропейских языках, которую он

[1] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. VI, стр. 80.

развивал в течение ряда лет, отправляясь от некоторых положений Вундта.[1] И в этом случае Хирт решает проблему исключительно просто: именные формы употреблялись первоначально „в глагольном значении, и благодаря случайному приспособлению инфинитивов и причастий возникли глагольные формы“.[2]

Единственной задачей исследования является, по мнению Хирта, определить конкретные формы инфинитивов и причастий, которые лежат в основе каждой из личных глагольных форм. Хирт в этом отношении не оставляет ничего неразрешенным и с необычайной легкостью раскрывает происхождение всех форм, совершенно не заботясь об их конкретной грамматической семантике.

Так, например, в 1-м лице латинского перфекта dīxī он находит инфинитивную форму типа греч. γράψαι, а в 1-м лице латинского перфекта ēgī — инфинитив типа agī; индоевропейскую форму 1-го лица (прошедшего времени) bher-om, греч. ἔφερον, др.-инд. á-bharam он отождествляет с инфинитивными образованиями типа умбр. erom, оск. ezûm; формы 3-го лица единственного числа с окончаниями *-ti* рассматриваются как древние именные образования абстрактного значения с суффиксом *-ti-* и отождествляются со славянскими инфинитивами на *-ti*. Медиальная форма 3-го лица греч. (ἔ)φατο, лат. datu(r), ст.-сл. **беретъ** трактуется как неопределенный падеж глагольных прилагательных (verbale), типа греч. φατός; формы 3-го лица множественного числа с формантом *-nt-* (лат. ferunt) определяются как формы причастий с суффиксом *-nt-* и т. д. и т. п. Главным аргументов в пользу того, что некогда инфинитивы играли в предложении роль, аналогичную роли личных глагольных форм, Хирт выдвигает все те же конструкции винительного с инфинитивом. Латинские обороты типа „eius rei populum Romanum esse testem“ („римский народ был свидетелем этого дела“, Цез., I, 14) он, попросту исходя из перевода, считает наследием дофлективного периода. „Дело здесь обстоит очень просто: винительный является в такого рода выражениях субъектным падежом, а инфинитив стоит в значении verbum finitum“.[3]

Все сложнейшие проблемы индоевропейской сравнительной грамматики решаются Хиртом одинаково легко и просто.

[1] Там же, Bd. IV, стр. 84.

[2] H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, стр. 212.

[3] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. VI, стр. 191.

Возникновение залогов (актива и медия) также трактуется как результат „случайного приспособления" для выражения определенных функций первоначально тождественных по значению именных форм (инфинитивов). Аналогичным образом объясняется происхождение видовых различий и т. д.

Как известно, факты сравнительной грамматики индоевропейских языков не дают основания реконструировать единые формы инфинитивов для общеиндоевропейского исходного состояния. Давно уже установлено, что различные инфинитивные образования являются продуктом относительно позднего самостоятельного развития в отдельных группах языков.[1]

Правда, некоторые архаические типы имен действия, по всей вероятности, восходят к древней эпохе общеиндоевропейского единства. Но какие основания предполагать, что путем механического сложения случайно приспособившихся изолированных падежных форм этих имен могла возникнуть та стройная система личной глагольной флексии, которая характеризует морфологическую структуру индоевропейских языков уже в древнейшем их состоянии? Как могло в реальности произойти такое четкое распределение так называемых „инфинитивов" по лицам и числам глагола (такой-то „инфинитив" призван быть формой 1-го лица единственного числа, такой-то — 2-го и т. д.)? Так мог бы скомандовать прусский офицер („die erste Kolonne marschiert, die zweite marschiert" и т. д.), но вряд ли такого рода процессы могли иметь место в подлинной языковой истории.

Созданная Хиртом „лоскутная" теория образования индоевропейской глагольной флексии путем приспособления отдельных падежных форм имен со значением действия кажется нам совершенно фантастичной.

Выше уже говорилось о том, что в компаративистике давно сложилось мнение относительно дофлективного периода, существовавшего в предистории индоевропейской речи. Исследование пережитков этого относительно древнего (хотя отнюдь не „первобытного") состояния открывает возможности для постановки такой важной проблемы, как вопрос о генезисе и относительно ранних этапах развития основных элементов структуры индоевропейских языков. Детальный сравнительно-морфологический анализ наиболее архаических типов осново-

---

[1] См.: J. Jolly. Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen. München, 1873.

образования и флексии является необходимой опорой для такого исследования. При этом нет никакой надобности излишне архаизировать реконструируемое дофлективное состояние. Невыработанность флексии отнюдь не означала еще отсутствие в языке других средств для выражения необходимых грамматических отношений.

Приходится отметить, однако, что рисуемая Хиртом картина дофлективного прошлого индоевропейских языков никак не отвечает тем представлениям о процессах языкового развития, которые выработало сравнительное языкознание путем наблюдений над фактами языковой истории.

Образованию флексии, по мнению Хирта, предшествовало некое аморфное в полном смысле слова состояние. Согласно его представлениям, грамматический строй индоевропейской речи, притом еще не в очень глубокой древности, должен был представлять собой хаотическую диффузную массу абсолютно не дифференцированных между собой именных форм. В то же время независимо от этой аморфной груды безразлично употреблявшихся форм в психике говорящих уже тогда должны были существовать грамматические значения („ощущения падежей“ и т. п.), которые Хирт представляет себе по образцу грамматических значений, присущих современному немецкому языку. Создание грамматических категорий есть, согласно этой теории, всего-навсего лишь результат случайного приспособления к готовым, существовавшим уже в языке грамматическим значениям множества первоначально не различавшихся между собой форм, возникавших в результате сочетания основ с лишенными какого-либо определенного значения суффиксальными элементами (детерминативами).

Теоретическая беспомощность характеризует все построения Хирта, наивно убежденного в том, что ему якобы удалось совершить „переворот“ в компаративистике и осветить происхождение грамматического строя индоевропейских языков.

Характерно, что идея о том, что грамматические формы могут возникать путем приспособления существующих уже в языке, но семантически не дифференцированных морфологических образований для выражения тех или иных грамматических значений, является отнюдь не новой в языкознании. Аналогичные мысли, в частности мысль о возникновении индоевропейских личных глагольных форм на базе разного рода инфинитивных образований, развивал еще в начале 70-х годов

прошлого века известный пражский санскритолог А. Людвиг,[1] на теорию „адаптации" которого изредка ссылается и сам Хирт. Изыскания Хирта дают в сущности мало нового в сравнении с отвергнутыми компаративистикой гипотезами Людвига. Критика, которой Б. Дельбрюк подверг в свое время теорию „адаптации",[2] звучит вполне актуально и в отношении построений Хирта, претендующего на новаторство в языкознании.

Характерно, что Хирт, реконструируя путем довольно примитивных формальных сопоставлений фантастическую предисторию индоевропейской флексии, категорически отказывается даже от тех немногих гипотез в этой области, которые допускали представители младограмматической компаративистики. Так, например, он категорически отбрасывает несомненно правдоподобную гипотезу о местоименном происхождении части индоевропейских личных глагольных окончаний, а также предположение об исторической связи окончания *-m*, характерного для винительного падежа единственного числа слов мужского и женского рода с окончанием *-m*, выступающим в именительно-винительном падеже основ на -o- среднего рода.

Разрыв с предшествующей традицией сравнительно-исторического языкознания особенно ярко проявляется в применяемом Хиртом методе исследования, который имеет мало общего с тем добросовестным отношением к анализу конкретных языковых фактов, которое характеризовало труды лучших представителей индоевропеистики прошлого и продолжает еще сохраняться в трудах некоторых современных компаративистов. В отношении используемого в них лингвистического материала книги Хирта довольно легковесны; читатели не найдут в них обстоятельного изложения фактов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Факты эти, субъективно отобранные и поверхностно сопоставленные, преподносятся лишь в виде отдельных иллюстраций к априорным положениям автора, утверждающего, что „читатель должен освободиться от всего ранее усвоенного и от так называемых достоверных сведений",[3] для того чтобы полностью воспринять предлагаемую ему новую теорию.

---

[1] A. Ludwig. Der Infinitiv im Veda nebst einer Systematik des litauischen und slavischen Verbs. Prag, 1871; его же: Agglutination oder Adaption? Eine sprachwissenschaftliche Streitfrage. Prag, 1873.

[2] См.: B. Delbrück. Einleitung in das Sprachstudium. 1880, стр. 66—71.

[3] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. IV, стр. 101.

Чтобы создать видимость разрешения всех далеко еще не изученных проблем индоевропейской сравнительной грамматики, Хирт иногда не останавливается перед ссылками на некие, никем еще не установленные звуковые законы, загадочное действие которых должно обеспечить подтверждение его необоснованных гипотез,[1] перед обращением к пресловутому эллипсису и т. п.

Таким образом, мы видим, как автор новейшего сводного труда по сравнительной грамматике индоевропейских языков в сущности порывает с достижениями предшествующей компаративистики, возвращаясь к тому уровню лингвистического исследования, когда языкознание не обладало еще методом детального сравнительно-исторического анализа языковых фактов.

Показательно отношение Мейе к глоттогоническим изысканиям Хирта. Рецензируя „Индогерманскую грамматику", он писал: „Мало вероятия в том, чтобы легко можно было вскрыть именное происхождение индоевропейского глагола. Устанавливаемые Хиртом соответствия не доказывают ничего; в основе своей они сводятся к тому, что одни и те же звуковые элементы используются как в оформлении имени, так и в оформлении глагола... Начало доказательства можно было бы иметь лишь в том случае, если бы каждая именная форма давала представление о специальном значении той глагольной формы, с которой она сближается; однако, дело обстоит не так. Хирт сближает ведический инфинитив áje (с которым принято сопоставлять лат. agī) и форму 1-го лица ед. ч. среднего залога áje; однако не видно, чем значение инфинитива áje (и, может быть, лат. agī) может быть связано со значением 1-го лица ед. числа; здесь перед нами омофония — и притом не вполне достоверная, так как первоначальный тембр гласного, выступающего в конечном дифтонге ведической формы áje, не известен. Однако простая омофония никогда не считалась достаточным основанием для приемлемой этимологии. Все сближения у Хирта одного и того же типа. То, что Хирт считает доказательством, в реальности есть лишь длительная иллюзия, жертвой которой он, не понятно почему, оказался".[2]

---

[1] Там же, стр. 193.

[2] Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, v. XXIX, 2, 1928—1929, стр. 66. См. также отрицательную рецензию Р. Кента (Language, v. XI, 2, 1935).

Мы посвятили специальное внимание „Индогерманской грамматике“ Хирта в связи с тем, что выход этого обширного по своему объему труда представлял собой знаменательное для современной зарубежной компаративистики явление, свидетельствуя об известном снижении уровня сравнительно-грамматических исследований. Только этим можно объяснить тот факт, что наивные и теоретически беспомощные построения Хирта частью языковедов (главным образом из числа его непосредственных учеников и последователей) были восприняты как некий новый этап в изучении вопросов грамматического строя индоевропейских языков.

Так, например, с интерпретацией лингвистических взглядов Хирта выступал целый ряд языковедов — Х. Арнц,[1] К. Карстин[2] и др.; некоторые идеи Хирта использованы в исследовании Фр. Шпехта „Происхождение индогерманского склонения“.[3] Хиртовские положения развивались и в ряде статей, публиковавшихся в американских периодических изданиях.[4] Все это говорит о том, что основанные на поверхностном подходе к фактам истории языков глоттогонические гипотезы Хирта нашли себе известный отклик среди некоторой части современных лингвистов.

Мы остановились лишь на нескольких исследованиях, представляющих наиболее характерные для новейшей компаративистики линии изысканий. Обзор опубликованных зарубежными лингвистами за последние два-три десятилетия работ, специально посвященных вопросам сравнительной грамматики индоевропейских языков, показывает, что проблема происхождения древнейших элементов индоевропейской морфологической структуры занимает в них центральное место. Изучению этой проблемы посвящались как серьезные работы, так и поверхностные, уже не связанные с традициями классического сравнительного языкознания.

Само по себе выдвижение вопросов генетического порядка, изучение таких проблем, как проблема структуры индоевро-

---

[1] См. обработанное им посмертное издание книги Хирта: H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft. Straßburg, 1939.

[2] C. Karstien. Indogermanisch und Germanisch. Festschrift für Hirt, Bd. II, 1936, и другие работы.

[3] Fr. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944. (2-е изд. — 1947).

[4] Например: C. M. Lotspeich: Indo-European deictic particles. Language, v. VIII, 2, 1931 и др.

пейского корня, проблема исторического соотношения именных и глагольных образований, проблема происхождения флексии и др., являются вполне закономерными в деле дальнейшего развертывания и углубления исследовательской работы в области сравнительной грамматики индоевропейских языков. Для понимания того, как происходило последовательное развитие основных элементов грамматического строя индоевропейских языков — начиная с глубокой древности вплоть до современного состояния — несомненное значение имеют попытки формального анализа основных компонентов структуры архаического индоевропейского слова и соотношения различных типов древнего основообразования, содержащиеся в ряде новейших работ по сравнительному языкознанию.

Разработка вопросов относительной хронологии изучаемых явлений (в основном из области морфологии и фонетики) также существенно продвинулась вперед в результате новейших исследований, особенно в связи с использованием неизвестных прежде материалов хеттского языка. Заслуживает также внимания все чаще высказываемая мысль о том, что абсолютное единство индоевропейской речи (в период, предшествовавший началу диалектного дробления) характеризовалось еще отсутствием выработанной системы флексий, которая является специфическим признаком структуры древних индоевропейских языков.

Однако такая исключительная концентрация исследовательских интересов на вопросе о древнейшем состоянии индоевропейской речи, реконструкция которого иногда превращается в составление своего рода алгебраических формул, оторванных от реального многообразия фактов исторической морфологии и фонетики конкретных индоевропейских языков, также в некоторой степени может рассматриваться как один из признаков отхода современной буржуазной лингвистики от изучения вопросов языковой истории. Особенно это показательно для опытов структуралистской трактовки проблем сравнительной грамматики.

Так, например, Л. Ельмслев в статье, посвященной „фонетической системе индоевропейского языка", сводит эту систему к одному гласному *a*, который мог в зависимости от условий выявляться или в виде нуля, или в виде фонем *a*, *e*, o, $\bar{a}$, $\bar{e}$, $\bar{o}$, которые с „кенематической[1] точки зрения

[1] „Кенема" — новый фонологический термин, вводимый Ельмслевом.

представляют лишь его механические варианты".[1] „Примитивный" индоевропейский язык характеризовался, по мнению Ельмслева, фонетической системой, состоявшей всего лишь из одного гласного, с которым могла сочетаться синкретическая „кенема".

Ясно, что подобного рода умозрительные построения, выхолащивающие всякое реальное содержание из реконструированной некогда Соссюром схемы индоевропейского вокализма, не могут иметь положительного значения для изучения истории индоевропейских языков.

Характерным для большинства исследований, посвященных вопросам развития архаических элементов индоевропейской морфологической структуры, является недостаток внимания к семантической стороне изучаемых явлений. Авторы таких исследований, как правило, ограничиваются формальным анализом фонетического и морфологического состава и соотношения рассматриваемых языковых элементов, оставляя в стороне вопрос о характере и направлении развития грамматических значений, которые этими элементами выражаются.

Исключение в этом отношении представляет исследование Бенвениста „Имена деятеля и имена действия в общеиндоевропейском языке".[2] В этой работе автор, опираясь на богатый фактический материал нескольких древних языков, проводит тонкий анализ семантики словообразовательных типов, играющих важную роль в общеиндоевропейской морфологической структуре.

Для изучения вопросов исторического развития грамматического строя индоевропейских языков такого рода исследования, основанные на детальном анализе конкретных языковых фактов и использующие лучшие традиции классического сравнительного исторического языкознания, могли бы несомненно иметь очень положительное значение. Однако в современном языкознании появление таких трудов становится все более и более редким событием.

---

[1] L. Hjelmslev. Le système phonique de l'indo-européen. Aarsskrift for Aarhus Universitet, IX, 1937, стр. 43.

[2] E. Benveniste. Noms d'agent et noms d'action en indoeuropéen. Paris, 1948.

Изучение вопроса об отношениях между отдельными группами индоевропейских языков

В первом десятилетии XX в. сравнительное языкознание окончательно пришло к выводу о том, что к началу распадения древней индоевропейской общности уже не существовало единого индоевропейского языка, а лишь ряд сильно различавшихся между собой диалектов, которые в дальнейшем послужили основой для образования отдельных лингвистических групп — славянской, германской, балтийской и т. д. Особенности, характеризующие каждую из таких групп, в значительной своей части являются продолжением явлений, хотя и не общеиндоевропейских, но восходящих, однако, к древнеиндоевропейской эпохе.

Эта точка зрения была последовательно сформулирована в специально посвященной этому вопросу работе Мейе „Индоевропейские диалекты“,[1] впервые вышедшей в 1908 г. Исследование Мейе содержит наиболее систематическое изложение лингвистических фактов, непосредственно относящихся к данной проблеме (за исключением материалов тохарского и хеттского языков, которые в то время еще не были известны); поэтому оно не утратило своего значения и до настоящего времени, о чем свидетельствует факт двукратного его переиздания (в 1922 и в 1950 гг.), хотя ряд положений в нем нуждается уже в существенных уточнениях.

Анализируя соответствия в области грамматики, фонетики, лексики, характеризующие соотношения между отдельными группами индоевропейских языков, Мейе полагает, что общеиндийскому и общеиранскому состоянию предшествовал период более древней индоиранской общности; итало-кельтский период предшествовал периоду общеиталийскому и общекельтскому. Наличие особых древних связей он предполагает также для славянских и балтийских языков, хотя и высказывается против теории славяно-балтийской генетической общности.

В то же время Мейе считает возможным установить следы изоглосс, отражающих еще более древние диалектные связи между отдельными индоевропейскими языками, существовавшие в период смежного пребывания представителей раз-

---

[1] A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens. Paris, 1908.

личных диалектных групп в составе общеиндоевропейского лингвистического единства.

В результате проведенного им анализа фактов Мейе приходит к выводу, что „основные линии демаркации проходят между западными диалектами, с одной стороны, и восточными, с другой“.[1] Характерными особенностями „восточной“ группы индоевропейских языков, к которой он относит индоиранские, славянские, балтийские, армянский и албанский языки, Мейе считает особые изменения заднеязычных согласных, охватывающие факты разного рода, тенденцию к переходу *s* в *š* (и *z* в *ž*) в известных условиях и употребление окончаний, образованных с помощью форманта *bh* (или *m*), с точными падежными и числовыми значениями. „Эти различные черты являются почти несомненно новообразованиями и, следовательно, свидетельствуют о значительной общности“.[2]

В особую „западную“ группу Мейе включает германские, кельтские и италийские языки, основываясь на следующих характерных особенностях: превращение **-tt-* в *-ss-*, формы перфекта, часто лишенные удвоения, и образование категории прошедшего времени путем комбинации перфектных и аористных форм, чередование **-yo-* с **-ī̆-* в суффиксе производных основ настоящего времени, редкость словообразовательного типа λόγος, употребление суффикса *-tūt-* и наконец словарные соответствия.

Греческий язык остается, таким образом, вне выделяемых „восточной“ и „западной“ группировок.

Нетрудно заметить, что в качестве основного признака при объединении языков в „восточную“ группу берутся явления палатализации, к числу которых прежде всего относится характерное для ряда языков доисторическое превращение части заднеязычных звуков (так называемого „палатального ряда“) в свистящие и шипящие. Иначе говоря, за основу берется традиционное деление индоевропейских языков на группы centum и satəm. Ср. лат. centum 'сто', греч. ἑκατόν, ирл. cet, гот. hund — др.-инд. çatám, авест. satəm, ст.-слав. **съто**, лит. šimtas.

Открытие в Синьцзяне письменных памятников неизвестного прежде индоевропейского языка, условно и неточно

[1] A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens. Paris, 1950, стр. 131. (Цитируется по изданию 1950 г., воспроизводящему основной текст первого издания).

[2] Там же.

обозначенного как тохарский, и установление его принадлежности к группе centum (тох. **A** känt 'сто', и др.) пробило серьезную брешь в этой классификации. После того как найденные на крайнем востоке территории древнего распространения индоевропейской речи тохарские тексты обнаружили состояние заднеязычных звуков, характерное для таких языков, как латинский и греческий, обнаружили наличие медио-пассивных форм на -r (например тох. **B** kal-tr 'останавливается'), до этого считавшихся исключительной принадлежностью итало-кельтских языков, обнаружили ближайшие лексические соответствия не с индоиранскими языками (как этого можно было бы скорее всего ожидать), а с индоевропейскими языками Европы, — упрощенная классификация индоевропейских языков на „западную" и „восточную" группы стала уже невозможной.

Этим не опровергается правильность некоторых выводов Мейе относительно общности процессов палатализации заднеязычных (с переходом в аффрикаты, шипящие и свистящие звуки), а также относительно тенденций к превращению *s* в *š* и *z* в *ž* — явлений, характерных для части индоевропейских языков: индоиранских, славянских, балтийских и др. Однако наличие сходных явлений в позднейшей истории романских языков (судьба латинского *c* перед гласными переднего ряда, ср. лат. centum, но франц. cent, итал. cento и др.), а также непоследовательность и явная разновременность процессов палатализации заднеязычных согласных в славянских и балтийских языках (например, в балтийских языках отсутствует характерный для славянских и индоиранских переход *k* в *č* перед гласными переднего ряда), наличие исключений в основной формуле соответствий (например др.-инд. çváçuraḥ, çvaçrū́ḥ, лит. šẽšuras, но русск. **свекор, свекровь**, ср. лат. socer, женск. р. socrus и т. д.) — все это говорит против слишком упрощенного и схематичного возведения явлений такого рода к диалектным особенностям общеиндоевропейской эпохи.

Открытие в Малой Азии памятников хеттского (несийского) языка, который, как и тохарский, оказался принадлежащим к языкам типа centum, обнаружил такие особенности, как сохранение древних лабио-велярных звуков (ср. хетт. ku̯iš 'кто', ku̯it 'что' — лат. quis, quid), и оказался обладающим целой системой медио-пассивных форм с суффиксом *-r*, также явилось новым доказательством исключительной сложности вопроса о доисторических связях отдельных групп индоевропейских языков.

Особенно большое внимание привлек к себе вопрос о местоположении тохарского языка среди остальных звеньев индоевропейского лингвистического единства. Вокруг этого вопроса сконцентрировались усилия целого ряда лингвистов, старавшихся определить доисторическое соотношение между отдельными группами индоевропейских языков. Так, например, Х. Педерсен уже в 1913 г. высказывал мысль о ближайшем родстве тохарского с кельтскими языками.[1] Очень скоро после этого Мейе выдвинул предположение о промежуточном положении тохарского между итало-кельтскими, славянскими и армянским языками.[2] Далее последовало выступление Ю. Покорного, который пытался доказать тесное родство тохарского с фрако-фригийскими (включая армянский) языками.[3] Затем Педерсен в работе, специально посвященной проблеме индоевропейских диалектов,[4] вновь выдвинул идею ближайшего родства тохарского с кельтскими языками; при этом он указывал также на наличие специальных связей между тохарским и хеттским, развивая свое положение об особой архаичности так называемых „окраинных языков" (см. ниже). Тесные генетические связи между тохарским и хеттским языками пытался установить также В. Петерсен.[5]

Наконец Бенвенист, подвергнув анализу фонетические, морфологические и лексические соответствия тохарского с другими индоевропейскими языками, пришел к выводу, что тохарский должен был занимать промежуточное положение между славянскими и балтийскими языками, с одной стороны, и греческим, армянским и фрако-фригийским (которые он лингвистически объединяет между собой), с другой. При этом он тоже допускает возможность существования ближайшего родства между тохарским и хеттским. „Тохарский являлся древним членом доисторической группы (к которой, может быть, также принадлежал и хеттский), граничившей, с одной стороны, с балтийским и славянским,

---

[1] H. Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, Bd. II. Göttingen, 1911—1913, стр. 673 и сл.

[2] Indogermanisches Jahrbuch, Bd. I. Berlin—Leipzig, 1914, стр. 17.

[3] J. Pokorny. Die Stellung des Tocharischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Berichte des Forschungs-Instituts für Osten und Orient, Wien, 1919.

[4] H. Pedersen. Le groupement des dialectes indo-européens. Det Klg. Danske Vidensk. Selskab. Hist.-filolog. Medd., XI, 3, København, 1925.

[5] W. Petersen. Hittite and Tocharian, Language, v. IX, № 1, 1933.

а с другой стороны, с греческим, армянским и фрако-фригийским".[1]

Все подобного рода попытки остаются, однако, пока всего лишь гипотезами. Лингвистическое положение тохарского языка в кругу языков индоевропейской группы и исторические судьбы его носителей продолжают оставаться одним из наиболее загадочных и сложных вопросов индоевропеистики.[2]

Много разногласий вызвал также вопрос о хеттском языке. Хотя принадлежность его к индоевропейской лингвистической группе давно уже не вызывает сомнений, намечающиеся особые связи его с такими языками, как италийские, кельтские, славянские, балтийские, греческий, армянский, до сих пор еще в достаточной степени не изучены.

При сопоставлении хеттского с другими индоевропейскими языками выявились некоторые своеобразные черты его структуры. Эти черты выражаются: а) в наличии в хеттском некоторых грамматических форм, отсутствующих в других языках индоевропейской группы, и б) в отсутствии в хеттском целого ряда грамматических форм, составляющих специфическую принадлежность морфологической структуры древних индоевропейских языков.

В связи с этим при определении отношения хеттской языковой структуры к реконструируемому на основе данных других языков общеиндоевропейскому исходному состоянию обнаружились две противоположные точки зрения. Согласно одной из них, своеобразные черты хеттского языка трактуются как наследие более древнего, еще „доиндоевропейского" состояния. Другая же теория рассматривает строй хеттского языка как своеобразный продукт дальнейшего развития общеиндоевропейской языковой структуры, причем в процессе этого развития имели место как сохранение ряда древних явлений, так и утеря некоторых форм, а также ряд новообразований.

Первая из точек зрения особенно настойчиво отстаивалась американским хеттологом Э. Стертевантом. В „Сравнительной грамматике хеттского языка"[3] Стертевант выдвинул

---

[1] E. Benveniste. Tokharien et Indo-Européen. Hirt-Festschrift, B. II, 1936, стр. 237.

[2] См.: А. А. Фрейман. Тохарский вопрос и его разрешение в отечественной науке. Уч. зап. Лен. унив., сер. востоковед. наук, вып. 3, 1952.

[3] E. H. Sturtevant. A Comparative Grammar of the Hittite Language. Philadelphia, 1933.

схему, согласно которой „праиндоевропейский“ и „прахеттский“ рассматриваются как две самостоятельные ветви еще более древнего „индохеттского языка“. По этой схеме хеттский язык, с одной стороны, оказывался сохранившим более древние, чем общеиндоевропейские, „праиндохеттские“, черты; с другой же стороны, отличия его от других индоевропейских языков объяснялись более отдаленной степенью родства.

Схема эта встретила критическое отношение со стороны многих представителей компаративистики. Дальнейшее углубление сравнительно-исторического исследования хеттских лингвистических материалов показало, что все элементы морфологической структуры этого языка имеют основу, общую с остальными индоевропейскими языками, что отсутствие тех или иных форм во многих случаях объясняется их утерей и что специфические хеттские новообразования возникли путем использования морфологических элементов, имеющих себе соответствия в других языках индоевропейской группы. Эта концепция была наиболее детально разработана Педерсеном в книге „Хеттский и другие индоевропейские языки“,[1] где он дал подробный сравнительно-исторический анализ хеттской морфологии. Точка зрения Педерсена получила широкое признание, и в настоящее время большинство исследователей отводит хеттскому равное с другими языками положение в составе индоевропейской группы.

Изучение новых языковых материалов неизбежно ставит перед исследователями новые сложные проблемы, однако до разрешения их еще очень далеко. Дешифровка и лингвистическое определение ряда не известных прежде индоевропейских языков древней Малой Азии (помимо хеттского) — так называемого „иероглифического хеттского“, лувийского, палайского, ликийского, лидийского — с необходимостью требует усиления внимания к вопросам исторического соотношения между отдельными звеньями индоевропейской группы. Исключительно важная проблема фракийского и фригийского языков и их соотношения с армянским все еще продолжает оставаться одним из наименее разработанных вопросов сравнительного языкознания.

---

[1] H. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938. См. также: T. Milewski. L'indohittite et l'indoeuropéen. Bull. International de l'Acad. Polonaise, Classe d'hist. et de philos., Kraków, 1936.

Следует отметить попытку Педерсена объединить в единую лингвистическую группу („анатолийскую") хеттский со всеми остальными языками древней Малой Азии, включая фригийский.[1] Однако решение это еще не может считаться окончательным ввиду скудости и слабой изученности самих языковых материалов и полной неясности этой проблемы в общеисторическом плане (неразрешенность вопроса о времени и путях переселения в Малую Азию племен, являвшихся носителями индоевропейской речи и об их генетических взаимосвязях).

Внимание ряда исследователей привлекает к себе проблема древнеиллирийских языков и их связей с языками италийскими, кельтскими, славянскими, балтийскими, германскими.[2] Однако вопрос этот, разрешение которого существенно важно для изучения языковых отношений древней Европы и вообще для более глубокого понимания генетического родства, объединяющего языки индоевропейской группы, продолжает в значительной мере оставаться загадочным. В этой связи следует заметить, что и положение албанского языка в составе индоевропейского лингвистического единства до сих пор не выяснено с полной определенностью. „Иллирийская" и „фракийская" гипотезы его происхождения не являются в сущности ни доказанными, ни опровергнутыми.

Ближайшие генетические связи армянского языка и вопрос о его доисторическом прошлом, также составляют одну из тех проблем, в разрешении которых компаративистика до сих пор оказывалась бессильной.

Серию интересных исследований, посвященных истории индоевропейских языков древнего Средиземноморья, предпринял известный болгарский лингвист Вл. Георгиев. Ему принадлежит открытие следов „догреческого" индоевропейского языка, распространенного в Эгейской области до прихода греческих племен. Анализируя балканскую и эгейскую топонимику, а также элементы древнегреческой лексики, обна-

---

[1] См.: H. Pedersen. Lykisch und Hittitisch. København. 1945, стр. 4—7. Таким образом, Педерсен отделяет фригийский язык от армянского, вступая в противоречие с показаниями Геродота о наличии особых фригийско-армянских связей.

[2] См.: J. Pokorny. Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Zeitschr. für keltische Philologie, Bd. XXI, 1, 1938; R. Pittioni. Die Urnenfelderkultur und ihre Bedeutung für die europäische Geschichte. Там же; P. Kretshmer. Die Herkunft der Umbrer. Glotta, Bd. XXI, 1/2, 1932, и др.

руживающие нарушение правил исторической фонетики и норм словообразования греческого языка, Вл. Георгиев пришел, пользуясь сравнительно-историческим методом, к реконструкции целых лексических пластов, заимствованных греческим из подвергшегося ассимиляции неизвестного до сих пор „догреческого" языка.[1] Этот язык, как убедительно показал Георгиев, также оказался индоевропейским. Георгиеву удалось наметить ряд закономерных звуковых соответствий „догреческого" с другими индоевропейскими языками, установить некоторое количество суффиксов словообразования и дать этимологию ряда загадочных прежде элементов древнегреческой лексики, которые до этого относились за счет неизвестного доиндоевропейского субстрата. Исследования Георгиева проливают новый свет и на иллирийскую проблему.

Исключительный интерес представляют исследования Георгиева, а также М. Вентриса и Дм. Чадвика в области дешифровки крито-микенских надписей. В результате этих исследований язык крито-микенских надписей линеарного письма определяется в настоящее время как один из архаических диалектов древнегреческого языка.[2] Таким образом, письменно документированная история греческого языка может быть теперь продлена во второе тысячелетие до н. э.

Такого рода открытия должны внести существенные изменения в трактовку вопроса о исторических соотношениях отдельных групп индоевропейских языков в древнейшие периоды их развития.

Следует отметить попытку Георгиева установить новую классификацию индоевропейских языков. Он предлагает деление их на три больших диалектных группы: северную, центральную и южную.[3] К северной группе он относит славянские, балтийские и германские языки, к центральной — италийские, греческий и индоиранские; кельтские он считает связующим звеном между германскими и италийскими; наконец, к южной группе Георгиев относит пелазгский („догреческий"), лувийский, клинописный хеттский (несийский) и „иероглифический хетт-

[1] Vl. Georgiev. 1) Vorgriechische Sprachwissenschaft. Sofia, I, 1941; II, 1945; 2) Etat actuel des études de linguistique préhellénique. Studia linguistica, 1948, № 2; — Вл. Георгиев. Вопросы родства средиземноморских языков. Вопр. языкозн., 1954, № 4, и др.

[2] См.: Акад. Вл. Георгиев. Нынешнее состояние толкования крито-микенских надписей. София, 1954; M. Ventris and J. Chadwick. Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives. Journal of Hellenic Studies, LXXVIII, 1953.

[3] Vl. Georgiev. Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 154 и сл.

ский“ языки; иллирийский, фракийский и тохарский также оказываются промежуточными между центральной и южной группами.

Классификация эта, однако, уязвима с чисто лингвистической стороны (как и все предлагавшиеся до сих пор классификации индоевропейских языков), так как она оставляет неучтенными несомненно наличествующие древние славяно-индоиранские, славяно-иллирийские, славяно-хеттские, итало-кельто-иллирийские, итало-хеттские и другие связи. Но сам факт выделения особой группы южных индоевропейских языков, куда включается целый ряд языков, прежде не известных, и постановка специальной задачи изучения этой группы говорят о значительном расширении материала, которое должно сыграть большую роль в дальнейшей разработке вопроса об индоевропейском языковом родстве.

Подлинно научная классификация индоевропейских языков может быть только исторической. Такая классификация сможет быть установлена лишь тогда, когда факты родства этих языков будут изучены в связи с древнейшей историей говоривших на них народов. Для этого еще необходима огромная исследовательская работа в области древней истории индоевропейских языков и говорящих на них народов. Необходимо значительно расширить количество конкретно-исторических фактов, на основе которых ученым предстоит строить свои обобщения.

В силу недостатка у проводившихся до сих пор сравнительно-лингвистических исследований должной общеисторической базы (и по отсутствию фактических сведений из области древнейшей истории народов, и по отсутствию у большинства авторов правильного понимания закономерностей общественного развития) все выдвигавшиеся по вопросам исторической классификации индоевропейских языков гипотезы носят, как правило, весьма предварительный характер и не привели еще к бесспорному разрешению поставленных проблем.

Это относится, в частности, и к разработке вопроса о хронологическом соотношении структур отдельных языков — вопроса, возникающего в связи с основательным предположением о том, что разделение индоевропейского лингвистического единства не могло являться единовременным актом, а должно было совершаться в течение длительных периодов. Отдельные звенья могли отделиться значительно ранее других, в то время как основная масса близко родственных племен могла еще какой-то период времени сохранять свою

историческую общность и языки их также могли сохранять единство своего развития, подвергаясь ряду совместных новообразований в области лексики, грамматики и фонетики.

По этому вопросу Бенвенист справедливо замечает, что проблема индоевропейской „диалектологии подчинена проблеме хронологии" и что абстрактной концепции диалектов, возникающих благодаря внезапному разрыву первоначального единства, следует противопоставить „более сложное и конечно более правильное представление о различных, последовательно развивавшихся состояниях индоевропейского языка, отражаемых различными диалектами в зависимости от времени их образования".[1]

Это положение, отнюдь не являющееся новым для сравнительного языкознания, было положено Педерсеном и Мейе в основу теории „окраинных" (Randsprachen) или „маргинальных" языков.

Х. Педерсен, в уже упоминавшейся работе,[2] заимствовав из романской диалектологии понятие „окраинных языков", сохраняющих наиболее архаические черты, пытался объяснить своеобразие и архаизм структуры объединявшихся им тогда в одну группу тохарского, хеттского и кельтского языков тем, что они, рано отделившись от остальной массы языков, составляют как бы „периферию" индоевропейского лингвистического единства.

Мейе в статье „Опыт хронологии индоевропейских языков"[3] пытался выделить критерии чисто лингвистического порядка для определения исторического соотношения между отдельными членами индоевропейской языковой семьи. В качестве основного критерия архаизма морфологической структуры он выдвигал наличие медио-пассивных форм с суффиксом *-r* и считал, что языки, обладающие этими формами (италийские, кельтские, тохарский, хеттский), являются наследниками наиболее древнего состояния индоевропейской речи.

Исходя из этого предположения, он развивал следующую концепцию: „окраинные" („маргинальные") языки, к которым он относил италийские, кельтские, тохарский и хеттский, „отделились от основной массы индоевропейской нации (?! *А. Д.*) в то время, когда общеиндоевропейский язык еще обладал

[1] D. Benveniste. Tokharien et Indo-Européen, стр. 228.
[2] H. Pedersen. Le groupement des dialectes indo-européens. København, 1925.
[3] A. Meillet. Essai de chronologie des langues indo-européennes. Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, v. 32, 1931.

некоторыми формами, которые в дальнейшем исчезли, вследствие чего группы, отделившиеся позднее, уже не могли унести с собою этих форм".[1]

Нет ничего удивительного в том, продолжал Мейе, что „группы, находящиеся на окраинах индоевропейской территории", благодаря своему более раннему отделению сохранили архаизмы, исчезнувшие в других языках.

Вторым признаком архаизма „окраинных" языков Мейе предлагал считать наблюдаемую в некоторых языках (в латинском и греческом) недостаточную четкость морфологического оформления грамматической категории женского рода и как еще более древнюю ступень — полное отсутствие морфологического противопоставления категорий мужского и женского рода, характерное для хеттского языка (в хеттском различаются только два рода — общий и средний).

Проводимый Мейе исторический анализ развития грамматических форм рода в древних индоевропейских языках сам по себе очень убедителен. Факты латинского и греческого языков (склонение основ на *-o-*, *-ā-*, *-i-*, *-u-*, на согласные звуки; прилагательные двух окончаний, типа лат. fortis, forte, не дающие формальной дифференциации мужского и женского рода), а также структура вопросительных местоимений в большинстве индоевропейских языков (лат. quis — quid, русск. **кто — что**, нем. wer — was и т. д.) ясно говорят о том, что противопоставление грамматических категорий мужского и женского рода развилось в индоевропейских языках сравнительно поздно и что ему предшествовало двучленное деление лексики на обозначения одушевленных и неодушевленных предметов. Хеттские материалы содействовали окончательному разрешению этого вопроса.

В этом отношении состояние латинского, греческого и хеттского языков безусловно более „архаично", чем состояние древнеиндийского, старославянского и германских языков, в которых остатки древнего деления на два грамматических класса (общий и средний, ср. русск. **кто — что**) сохранились гораздо более скупо.

Однако в какой мере правомерен вывод Мейе, считающего сохранение архаических черт в оформлении категории грамматического рода признаком „окраинных" языков, находящихся на периферии распространения индоевропейской речи?

Процесс закрепления за основами на *-o-* только мужского рода (не считая основ на *-o-* среднего рода), завершившийся

[1] Там же, стр. 5.

в древних индоиранских, старославянском и древнегерманских языках, и процесс закрепления за основами на *-ā-* только женского рода, завершившийся в древних индоиранских и германских, но не до конца проведенный славянскими языками, можно рассматривать как типичный пример параллелизма в развертывании унаследованных от древности общих элементов морфологической структуры, параллелизма, характерного для развития генетически родственных языков. Наблюдаемая в отдельных индоевропейских языках общность в оформлении целого ряда грамматических категорий отнюдь не во всех случаях непосредственно восходит к структуре единого общеиндоевропейского языка, хотя бы даже на различных этапах его развития (как это предполагает Мейе). Поэтому нет никаких оснований соглашаться с мнением Мейе и считать наличие архаических явлений в области категории грамматического рода признаком „окраинного" положения сохранивших эти явления языков, а проделанную остальными языками эволюцию относить за счет их более позднего выделения из состава продолжавшего свое развитие общеиндоевропейского языка.

Отметим также непоследовательность Мейе в отношении греческого языка. Хотя оформление категории грамматического рода в греческом не менее архаично, чем в латинском, Мейе, исходя из полного отсутствия в греческом глагольных образований на *-r* (которые он считает главным признаком „окраинного" положения), относит его тем не менее к числу наиболее „продвинутых в своем развитии" индоевропейских языков.

В целом изложенную в работе Мейе концепцию „окраинных" языков можно признать недостаточно обоснованной как в лингвистическом отношении, так и в общеисторическом.

Не говоря уже о невозможности доказать положение о том, что медио-пассивные формы на *-r* представляли собой некогда общеиндоевропейскую морфологическую категорию, лишь утерянную „менее архаическими" по своей структуре языками (сам по себе факт наличия этих форм в территориально сильно разобщенных между собой в исторические эпохи языках — итало-кельтских, хеттском, тохарском — еще не может служить доказательством), принципиальные возражения вызывает выдвижение одного-двух морфологических признаков в качестве критериев „архаичности" языка в целом. Ясно, что таким методом невозможно установить подлинно историческую перспективу соотношения сохраненных отдельными индоевропейскими языками элементов древней струк-

туры. Схема, построенная на двух произвольно отобранных и изолированных явлениях, конечно, не может служить основой для хронологической классификации языков.

Вряд ли может у кого-либо вызвать сомнение, что структура таких языков, как древнегреческий, древнеиндийский, старославянский, литовский, готский, обнаруживает множество очень древних черт. Однако Мейе без достаточных оснований противопоставляет им в качестве „особо архаических" несколько языков, относимых им по одному, в сущности не столь уже важному, признаку к числу „окраинных", якобы ранее всего отделившихся от общеиндоевропейского единства.

В развивающих теорию „периферийных" языков построениях неолингвистов субъективизм в подходе к анализу языковых фактов выступает, как мы увидим ниже, еще сильнее.

Одной из характерных черт развития грамматического строя индоевропейских языков является неравномерность развертывания отдельных элементов унаследованной ими от древности общей структуры. Каждый язык в той или иной мере сохраняет очень древние черты и наряду с этим подвергает сильнейшим преобразованиям целый ряд участков своей морфологической системы. Только в результате всестороннего анализа основных элементов структуры каждого языка с учетом исторического своеобразия их развертывания и развития может быть установлен, притом весьма относительно, „архаизм" того или иного языка, выражающийся в особенно устойчивом сохранении наиболее древних черт, отражающих различные этапы развития общеиндоевропейской речи.

Кроме того, даже в том случае, если бы теория „окраинных" языков была неизмеримо полнее оснащена фактами лингвистического порядка, этих фактов было бы, однако, все же недостаточно для обоснования тех выводов общеисторического характера, которые непосредственно связаны с этой теорией. Выводом из построения Мейе является положение о том, что некоторая часть древних племен, являвшихся носителями тех форм индоевропейской речи (италийские, кельтские, тохарский и хеттский языки), которые определяются им как более „архаические", должна была ранее других выделиться из общеиндоевропейского единства и, отойдя на некую „окраину" территории древнего расселения, ранее других начать период самостоятельного развития.

Теоретически такое предположение является вполне допустимым. Но какие доказательства конкретно-исторического порядка можно привести в пользу той, основанной на не-

скольких чисто лингвистических фактах, схемы, которую предлагает Мейе?

Ни Мейе, ни другие сторонники этой концепции не приводят и не могут привести таких доказательств прежде всего в силу отсутствия историко-археологического материала, который мог бы осветить темные вопросы древнейшей истории народов, носителей индоевропейской речи.

Если в отношении древнехеттских (несийских) племен скорее всего можно допустить относительио раннее выделение их из состава древнеиндоевропейской общности (в пользу такого предположения может говорить сам факт раннего появления их в Малой Азии, а также некоторое своеобразие всей структуры хеттского языка — целый ряд явных новообразований наряду с сохранением многих архаических черт),[1] то в отношении италийских и кельтских племен нет абсолютно никаких оснований считать, что они представляли собой некогда „окраинную часть“ той массы племен, которая, составила историческую основу для образования народностей, носителей индоевропейской речи. Что касается тохарской проблемы, то она до сих пор настолько еще темна, что конструирование тех или иных обобщающих гипотез на основе скудных и недостаточно изученных к тому же лингвистических данных является проявлением поверхностного подхода к решению сложных вопросов древней истории народов и их языков.

На примере теории „окраинных“ языков можно убедиться в том, что даже там, где исследователи пытаются опереться на конкретные лингвистические факты, фактов этих часто оказывается явно недостаточно, и поэтому взамен конкретно-исторического обоснования предлагаются умозрительные гипотезы.

Для современной компаративистики очень характерны попытки трактовать проблему образования отдельных языковых групп на основе теории смешения или скрещивания. Теория эта пронизывает значительную часть новейших работ, в которых в той или иной мере затрагиваются вопросы специфики исторического развития и качественного своеобразия различных языков индоевропейской группы.

С позиций учения о так называемом лингвистическом субстрате проблема образования специфических черт, харак-

---

[1] Характерно, что неолннгвнсты наперекор всем фактам лингвнстического н общенсторнческого порядка пытаются относнть хеттский язык к „центральной зоне ннлоевропейского ареала“.

теризующих структуру конкретных языков, сводится к вопросу о взаимодействии речи завоевателей с инородной по своему качеству речью населения покоренных областей, составляющей субстрат для последующего развития языка завоевателей и определяющей своеобразие его структуры.

Мы не будем здесь останавливаться на всех разновидностях этой теории, которая, будучи развита еще во второй половине XIX в. итальянским лингвистом Асколи и особенно применявшаяся в исследованиях по романской диалектологии, приобрела большое распространение в языкознании уже к началу XX в.

Популярности этой теории немало способствовали выступления Г. Шухардта, который, подвергая критике традиционные задачи и методы сравнительного языкознания, уже с давних пор подчеркивал значение смешения как одного из важнейших, по его мнению, факторов языкового развития. „Возможность языкового смешения, — писал он еще в 1884 г., — не знает никаких ограничений; она может привести как к максимальному, так и минимальному различию между языками“.[1]

„Несмешанных языков“, утверждал он, не существует. „Если у разноязычных групп при тесном общении их друг с другом неизбежно взаимовлияние их языков, то такое же языковое скрещение нужно предполагать и там, где доказано физическое скрещение, являющееся самым тесным из всех возможных видов общения. Таким образом, мы имеем полное право связать многие мнимые загадки индоевропейского языкознания с физической предисторией индоевропейцев“.[2]

В компаративистике XX в. теория субстрата стала излюбленным средством объяснения всех загадок языковой истории. Многие лингвисты охотно прибегали к предположениям о влиянии скрещивания с неизвестным (в огромном большинстве случаев) иноязычным субстратом, особенно когда дело касалось доисторических периодов развития языков.

В принципе у нас нет оснований отрицать вероятность взаимодействия индоевропейской речи с языками коренных жителей различных областей Европы и Азии, в которых совершалось расселение племен, носителей индоевропейского языка, в древние периоды их истории. Возможно, что это взаимодействие в ряде случаев действительно являлось существенным фактором в процессе образования специфических

---

[1] Hugo Schucharft-Brevier, 1928, стр. 154.
[2] Там же, стр. 153.

черт того или иного индоевропейского языка, в особенности, когда речь идет о явлениях фонетики, а также синтаксиса. Само собой разумеется, что загадочные, неэтимологизируемые элементы, устанавливаемые в словарном составе любого индоевропейского языка, тоже могут быть относимы за счет взаимодействия с иноязычным субстратом.

Однако следует заметить, что при отсутствии необходимых фактических данных для решения этого вопроса авторы различных теорий неиндоевропейского субстрата были в большинстве случаев вынуждены оперировать с величинами совершенно не известными, не определенными как в лингвистическом, так и в историческом отношениях.

Поэтому подобного рода теории нередко уводили исследователей от изучения конкретных исторически засвидетельствованных лингвистических фактов и открывали широкий простор для самых фантастических гипотез относительно предистории народов и их языков. Характерно, что гипотезы историко-археологического порядка обычно „скрещивались" с гипотезами языковедческими. Поэтому все предполагаемые в древней истории этнические смешения племен и народностей должны были, по мнению сторонников субстратной теории, иметь своим непременными результатом также смешивания языков, коренным образом преображавшие их первоначальный облик. Поиски разного рода неуловимых для строгого научного анализа доисторических субстратов уже в первые десятилетия XX в. составляли одно из излюбленных занятий для многих языковедов, искавших поверхностного, иллюзорного „разрешения" сложных вопросов языковой истории.[1]

---

[1] Выдвинутая Н. Я. Марром в 1920 г. теория „третьего этнического элемента", или, иначе говоря, учение о „яфетическом субстрате" и его разнообразных скрещиваниях, была органически связана с теориями зарубежной лингвистики, для которой идея о субстрате являлась в то время одним из банальных положений. Характерно, что „яфетическая теория" Н. Я. Марра в ее „субстратной стадии" (теория „третьего этнического элемента") встречала первое время благоприятный прием среди некоторых представителей зарубежного сравнительного языкознания. Но и тогда, когда Н. Я. Марр, развивая свое „новое учение", отказался от элементарных принципов научного подхода к исследованию языкового материала и увлекся фантастическим анализом по четырем элементам, провозглашавшееся им положение о скрещивании как якобы универсальном факторе в развитии языков сохраняло свою генетическую связь с концепциями некоторых зарубежных лингвистов (в частности, Г. Шухардта), так же как Марр, утверждавших, что „несмешанных языков" „не существует".

В применении к изучению вопросов родства индоевропейских языков теория субстрата чаще всего излагается следующим образом: расселяясь по различным областям Европы и Азии, отдельные части „индоевропейского пранарода“ должны были сталкиваться с чуждым по языку автотохтонным населением соответствующих областей. Покоряя это население, индоевропейские завоеватели составляли господствующую верхушку общества. При этом происходили скрещивания языков, в результате которых индоевропейская речь завоевателей, усваиваемая местным населением покоренных областей, должна была подвергаться сильным изменениям, отражавшим фонетические особенности и некоторые черты грамматической структуры исчезнувшего лингвистического субстрата.

Характерное для отдельных индоевропейских языков и языковых групп качественное своеобразие объясняется, согласно этой теории, различием субстратов, легших в основу их образования.

Эту точку зрения последовательно высказывал в течение многих лет Г. Хирт, начиная со своей работы об „индогерманцах“.[1] В изданной посмертно обобщающей работе мы находим следующую формулировку: „Глубокая пропасть, разделяющая отдельные индогерманские языки, не может быть объяснена только фактором расселения. Решающее значение имеет различие этнических основ: существующие языковые индивиды, хотя и выучили индогерманский язык, преобразовали его, однако, сообразно своим артикуляционным возможностям и языковому восприятию. Отдельные языки, таким образом, утеряли падежи, другие ограничили спряжение; чисто глагольному способу выражения был противопоставлен чисто именной, спирантной бедности — богатство щелевыми звуками, отсутствию словосложения — возможность выражать все что угодно с помощью сложных слов“.[2]

Этот процесс Хирт представлял себе следующим образом: сперва иноязычный этнический субстрат должен был еще сохранять свою речь, и имело место „взаимовлияние языка покорителей и языка покоренных“. С течением времени один из языков в большинстве случаев исчезал и тогда те, для кого новоприобретенный язык не являлся родным, приспосабливали его к своим произносительным навыкам и языковому ощу-

[1] H. Hirt. Die Indogermanen, ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur. Straßburg, 1905—1907.

[2] H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, стр. 208.

щению. „Только словарный запас, — утверждал Хирт, — часто остается индогерманским и вводит нас в заблуждение относительно гораздо более далеко зашедшей индогерманизации, чем это есть в действительности“.[1]

Было бы напрасной иллюзией предполагать, что Хирт хоть в какой-либо мере попытался обосновать выдвинутое им положение на конкретных лингвистических фактах. Все вышеизложенное носит чисто декларативный характер и не идет дальше высказываемых в самой общей форме гипотез.

К теориии скрещивания с неизвестными субстратами для объяснения качественного своеобразия отдельных индоевропейских языков пытался прибегать и виднейший представитель компаративистики XX в. А. Мейе. „Каждая группа индоевропейских языков, — писал он, — имеет свои особенности, которые предполагают влияние различных «субстратов»“.[2]

Однако на материале конкретных фактов языковой истории Мейе не удалось обосновать это выдвинутое им в общей форме положение. В изучении следов влияния языков доисторического эгейского населения на сложение древнегреческого языка Мейе не пошел дальше констатации некоторого числа лексических заимствований. Негреческое, средиземноморское происхождение слов с суффиксом *-intho-* (λαβύρινθος ʻлабиринтʼ, ἀσάμινθος ʻваннаʼ и др.), слов οἶνος ʻвиноʼ, ἐλαία ʻмаслинаʼ, κυπάρισσος ʻкипарисʼ, и т. п. является хорошо известным в лингвистической науке фактом и представляет собой обычный случай словарного обогащения языка с помощью заимствованных иноязычных терминов, обозначающих новые для носителей этого языка (в данном случае для греческих племен, переселившихся на Балканский полуостров из более северных областей) понятия.

Для обоснования теории субстрата факты подобного рода не дают в сущности ничего.

Наиболее развернутую попытку доказать гипотезу о скрещивании индоевропейской речи с неизвестным субстратом Мейе делает в применении к германским языкам: „Когда какая-нибудь народность меняет язык, она склонна более или менее сохранять в новом, принятом ею языке кое-что из своих прежних лингвистических навыков или модифицировать принятый ею тип. Германский язык, столь резко порвавший

---

[1] H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, стр. 208.

[2] Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, v. XXVI, 3, 1925, стр. 131.

с индоевропейскими навыками, является индоевропейским языком, на котором говорит новая народность, принявшая индоевропейский, но произносящая его на новый лад; завоеватели, принесшие с собой индоевропейский язык, не были ни достаточно многочисленны, ни достаточно могущественны, чтобы навязать свой способ произношения; население, покоренное ими и принявшее их язык, способствовало распространению типа произношеиия, отличного от старого, и новых тенденций".[1]

Своеобразные черты грамматической структуры германских языков Мейе также пытается объяснить, исходя из теории языковых смешений: „Глубокое измеиение грамматической системы связано, несомненно, и с тем, что новая народность, принявшая диалект, которому суждено было стать германским, не усвоила полностью грамматических принципов индоевропейского языка; эти принципы, необычайно своеобразные и сложные, были слишком трудны для усвоения, и во всех областях, занятых индоевропейским, они исчезают на наших глазах один за другим. Тенденция устранить из индоевропейского типа его наиболее своеобразные особенности нигде не была выражена более ярко, чем в германском, точно так же, как нигде индоевропейский тип произношения не подвергался столь полному изменению".[2]

Таким образом, качественное отличие грамматического строя германских языков от общеиндоевропейского типа Мейе связывает ие с внутренними закономерностями развертывания и развития унаследованных от древности элементов структуры, а приписывает „внешнему, механическому толчку со стороны, воздействию иноязычной системы".[3]

Гипотеза Мейе остается столь же фактически недоказуемой, как и вышеприведенные утверждения Хирта. К характеристике построения Мейе необходимо добавить, что само понятие „неиндоевропейского субстрата", которым оперирует Мейе, пытаясь объяснить особенности германской языковой группы, является совершенно не определенным как в лингвистическом, так и в историческом отношении.

Одним из основных доводов, приводимых Мейе в пользу теории влияния неизвестного субстрата на сложение герман-

---

[1] А. Мейе. Основные особенности германской группы языков. М., 1952, стр. 31—32.

[2] Там же, стр. 32.

[3] См. предисловие В. М. Жирмунского к работе А. Мейе „Основные особенности германской группы языков", стр. 9.

ских языков, является предположение о том, что германское передвижение согласных есть результат приспособления индоевропейской фонетики к артикуляционным навыкам неиндоевропейского населения. Идея эта является далеко не новой для языкознания. Многие исследователи тщетно пытались определить, влияние какого субстрата явилось причиной фонетического изменения, преобразившего уже в доисторическую эпоху характер германского консонантизма и частично повторившегося в последующей истории верхненемецких диалектов (второе передвижение согласных). Некоторые (например Фёрстеман, Пенка, Коссинна, Весселн) искали здесь действие финского субстрата,[1] некоторые (Бреаль) — этрусского. Выдвигалась и точка зрения о кельтском субстрате (Хирт, Гиннекен и др.). З. Фейст, один из наиболее ревностных сторонников теории смешений в трактовке вопросов „доистории" индоевропейских языков, приписывал германское передвижение согласных влиянию произносительных навыков „северноевропейской долихоцефальной расы" и т. д. и т. п.

Мейе не пытается уточнять этническую принадлежность своего загадочного субстрата. Однако он считает возможным определить характерные для него артикуляционные навыки,[2] проводя параллель с аналогичными германскому передвижению изменениями консонантизма, произошедшими в армянском языке. Не говоря уже о том, что с экспериментально-фонетической точки зрения выводы Мейе требуют существенной проверки, сам по себе факт изменения артикуляции еще не является признаком замены одной языковой системы другой.

Ни одна из теорий, пытавшихся объяснить явления германских передвижений согласных влиянием субстрата, пока не дала положительных результатов в решении этого вопроса. Несостоятельность этих теорий была убедительно показана в работах целого ряда германистов. Нам кажется, что наиболее надежным путем к разрешению данной проблемы может

---

[1] Интересную попытку доказать влияние финского субстрата при образовании германских языков сделал также выдающийся советский финноугровед Д. В. Бубрих. В статье „О языковых следах финских тевтонов-Чуди" (сб. „Язык и литература", т. I, вып. 1—2, Л., 1926) он подверг анализу древние общие элементы в лексике германских и финских языков (не относящиеся к числу германских заимствований в финском).

[2] А. Мейе. Основные особенности германской группы языков, стр. 39—45.

являться прежде всего углубленное исследование внутренних закономерностей исторического развития фонетической системы германских языков.

Мысль об особом „яфетическом субстрате", якобы явившемся подосновой для образования на территории древней Европы различных языков индоевропейской группы, пропагандировал известный германист Ф. Браун. Находясь под сильным влиянием идей Н. Я. Марра и полностью принимая его теорию вездесущего „третьего этнического элемента" (теорию, в лингвистическом отношении совершенно не обоснованную), Браун утверждал, что „индоевропеизация" Европы произошла в результате скрещивания „праиндоевропейцев" с исконным населением, говорившим на „яфетических языках".

В качестве материала для доказательства были избраны германские языки. Исходя из созвучной взглядам многих зарубежных компаративистов марровской теории „третьего этнического элемента", Браун определял „прагерманский язык" как „продукт скрещения прагерманско-яфетического (Vorgermanisch-Japhetitisch) с догерманско-индогерманским (Prägermanisch-Indogermanisch)",[1] как результат „взаимопроникновения этих двух элементов" в области фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса.

Основу фонетической аргументации составляли все те же явления передвижений согласных. Новым в концепции Брауна явилось сопоставление окончаний германского слабого прошедшего с окончаниями грузинского имперфекта (1-е л. ед. ч. v-deb-di, ср. нем. ich legte 'я положил').

Ясно, что на такого рода единичных, чисто случайных созвучиях отдельных формантов теорию исторической общности языков построить невозможно. Используя этот и аналогичные ему совершенно бездоказательные факты, Браун лишь повторил неудачный опыт Боппа, предполагавшего в свое время возможность включения кавказских языков в состав индоевропейской лингвистической группы.

Развивавшаяся Брауном на основе марровских идей теория „яфетического субстрата" явилась одной из многочисленных безуспешных попыток трактовать вопросы древней истории индоевропейских языков, исходя из концепции языковых скрещиваний.

---

[1] Fr. Braun. Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen. Berlin, 1922, стр. 69.

Одним из активных сторонников идеи о доисторическом скрещивании индоевропейской речи с неиндоевропейскими субстратами является также известный компаративист и кельтолог Ю. Покорный. Выступая на 1-м Международном лингвистическом конгрессе со специальным докладом на тему „Теория субстрата и возникновение индогерманских языков“,[1] он утверждал, что языковое смешение есть одна из важнейших причин языковых изменений и что отдельные индоевропейские языки в большинстве случаев возникали благодаря смешению с неиндоевропейскими языками.

Покорный посвятил специальное исследование доказательству своей гипотезы о том, что ирландский язык является продуктом скрещивания древней кельтской речи с неиндоевропейскими языками исконного населения Британских островов.[2] Используя некоторые данные антропологии, он пытался доказать наличие на этих островах североафриканских этнических элементов и в соответствии с этим строил свою лингвистическую аргументацию на сопоставлении древнеирландских синтаксических конструкций с конструкциями берберского и других хамитических языков.

Основная идея Покорного заключается в том, что по мере растворения кельто-индоевропейской прослойки в общей массе этнически чуждого населения грамматическая структура кельтского языка должна была подвергаться на протяжении веков все более и более сильным преобразованиям в устах людей, которые (таинственным образом!) продолжали сохранять синтаксические нормы своей давно утраченной родной, неиндоевропейской (хамитической) речи. Результатом такого рода ломки индоевропейской грамматической системы и явилась, по мнению Покорного, своеобразная грамматическая структура ирландского языка, со специфичным для нее употреблением отглагольных имен, обилием релятивных предложений и т. п.

Методом аргументации в работе Покорного является простое сопоставление сходного типа конструкций в ирландском и берберском языках. На основе такого сопоставления делается вывод о том, что ирландские конструкции предста-

---

[1] J. Pokorny. Die Theorie der Substrate und die Entstehung des Indogermanischen. Actes du Premier Congrès International des Linguistes, à la Haye, Leiden, 1928, стр. 175—176.

[2] J. Pokorny. Das nicht-indogermanische Substrat im Irischen. Zeitschr. für celtische Philologie, Bd. XVI, XVII, 1927, и сл.

вляют собой „перевод" на индоевропейский языковой материал синтаксических норм хамитической речи.

Покорный старается обосновать свою теорию с помощью большого количества фактов. Однако факты, привлекаемые Покорным, в сущности мало доказательны. Внешнее сопоставление синтаксических конструкций, при полном отсутствии у сравниваемых языков связей материального порядка (в области лексики и морфологии), а также при отсутствии уверенности в том, что носители этих языков в древности действительно находились в исторических связях друг с другом, не может убедить читателей в существовании какой-либо конкретно исторической зависимости между приводимыми автором примерами из генетически неродственных языков.

В то же время все анализируемые Покорным специфические для ирландского языка грамматические обороты исторически разъясняются как результат развертывания и развития основных элементов общей с другими индоевропейскими языками древней структуры.

Исследование Покорного представляет собой наиболее серьезную попытку обосновать теорию субстрата на материалах грамматики конкретного языка. В то время как большинство сторонников этой теории ограничивается общими утверждениями и чисто умозрительными гипотезами, Покорный предложил проведенный им анализ лингвистических фактов. Но ему не удалось, однако, доказать, что качественное своеобразие грамматического строя ирландского языка определяется скрещиванием индоевропейской морфологии и хамитического синтаксиса, хотя теоретически сама по себе идея о том, что специфические особенности некоторых синтаксических конструкций ирландского языка могли когда-то сложиться в результате влияния языковых навыков древнейшего населения Британских островов, для которого индоевропейская кельтская речь была чуждой, является вполне допустимой.

„Неиндоевропейский субстрат" ирландского языка остается и после изысканий Покорного лингвистически неопределенным и в историческом отношении весьма проблематичным, несмотря на наличие объективных данных в пользу того, что индоевропейские кельты явились отнюдь не первыми насельниками Британских островов.

Допуская, что ирландский народ сложился в результате смешения переселившихся с материка кельтов с неизвестными нам этническими элементами, составлявшими древнее населе-

ние Британских островов, лингвистически мы имеем дело только с ирландским языком, сохранившим свое качество языка индоевропейской группы и развивавшимся на протяжении веков по внутренним законам своего развития. Грамматический строй и словарный состав этого языка подлежат поэтому историческому изучению прежде всего на основе использования данных сравнительной грамматики кельтских, а также шире — сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Словарный состав ирландского языка может, конечно, включать в себя элементы, унаследованные от исчезнувшей речи древнего докельтского населения Британских островов. Изучение таких лексических элементов могло бы составить предмет историко-лингвистического исследования, хотя в данном случае исследование опять-таки затрудняется отсутствием конкретных сведений о языках исчезнувших обитателей древней Ирландии. Что касается хамитической гипотезы Покорного, то и в этом отношении она не принесла никаких положительных результатов.

Вопрос о возможности влияния скрещивания на развитие фонетической системы языка, сохранившего в результате скрещивания свою структуру, безусловно может быть предметом специальных разысканий при наличии, конечно, фактических данных для сравнения соответствующих фонетических систем. Но в случае с ирландским языком такие данные, к сожалению, отсутствуют.

Но даже там, где постановка вопроса о влиянии на развитие фонетической системы победившего языка артикуляционных навыков иноязычного населения могла бы быть реальной, исследования показывают такую сложность возникающих проблем, такое противоречие мнений, что положительное решение этого вопроса является далеко не таким простым, как это полагают сторонники теории субстрата. Так, например, обстоит дело с вопросом о происхождении церебральных согласных в индийских языках, которое многие исследователи приписывают влиянию дравидийского субстрата, некоторые же считают возможным объяснять специфическими закономерностями развития фонетической системы самих индийских языков.

Теория языковых скрещиваний была использована также некоторыми представителями реакционных направлений новейшего буржуазного языкознания. Гипотеза о „неиндоевро-

пейских субстратах" давно уже получила широкое распространение среди идеологов немецкого национализма, которые с ее помощью пытались доказывать „превосходство" германцев над другими народами. Заявляя, что все остальные народы возникли в результате смешения с „чуждыми расами" и что языки их благодаря скрещиванию с инородными языковыми субстратами утеряли многочисленные черты древней индогерманской структуры, некоторые немецкие лингвисты и археологи пытались утверждать, что только германцы, оставшись якобы жить на своей „северной индогерманской прародине" (каковой мыслилась, конечно, северная Германия), сохранили исконную „чистоту северной расы" и подлинно „индогерманский" характер речи.

Особенного расцвета подобного рода теории достигли в период фашистского господства в Германии. Вся история древнего расселения „индогерманцев" изображалась националистически настроенными археологами и лингвистами как последовательный ряд „завоевательных походов", составлявших как бы доисторический пролог к последующей экспансии германского империализма. Согласно нелепым домыслам фашистских „теоретиков", уделом тех частей „индогерманского народа", которые ушли из своей „северной прародины", явился постигший их в результате столкновений с различными автохтонными расами „кровно-расовый", культурный и языковой „упадок", преобразивший их физический и моральный облик, а также вызвавший коренные изменения в языке.

Голословно утверждая, что влияние „чуждых субстратов" исказило „индогерманский характер" всех остальных языков, представители фашизированной немецкой лингвистики прилагали все усилия для доказательства того, что якобы только германские языки представляют прямое и непосредственное развитие речи „индогерманского пранарода".

Так, например, Х. Арнц, утверждал: „Считаю, что я доказал, что германский язык, в противоположность всем остальным известным мне индогерманским языкам, не обнаруживает ни в фонетике, ни в морфологии, ни в синтаксисе ни одного явления, которое бы не выявилось как древнее или как унаследованное от индогерманского и что германский и индогерманский языки ни в одном пункте не разделены глубокой пропастью. Переходы между ними являются текучими и незаметными, как это характерно для языкового развития вообще. Нельзя опровергнуть того, что

именно германский язык, возможно, представляет собой результат закономерного развития индогерманского праязыка, в то время как все остальные индогерманские языки подверглись влиянию чуждых субстратов".[1]

Исходя из явно предвзятых установок, Арнц счел нужным устранить принятое в компаративистике понятие „прагерманского языка" как некоего промежуточного этапа между общеиндоевропейским состоянием и исторически засвидетельствованным развитием отдельных германских языков. Он объявил это понятие совершенно излишним, так как, по его мнению, именно „индогерманский язык" и ничто иное представляет собой ту ступень, которая непосредственно предшествовала исторически засвидетельствованным этапам истории германских языков. Подвергнув беглому обзору основные вопросы германской сравнительной грамматики, Арнц отождествил „прагерманское состояние" с „праиндогерманским", а все изменения отнес за счет позднейшего „внутригерманского" развития.

Обратной стороной этой примитивно националистической концепции является пренебрежительный взгляд на языки всех других народов, якобы исказивших первоначальный облик „индогерманской речи" в результате смешения с чуждой речью „расово инородных субстратов".

Подобного рода „теории" грубо искажают подлинную историю развития языков индоевропейской группы. Каждый из них на протяжении тысячелетий своего существования развертывал и совершенствовал основные элементы структуры, унаследованные от глубокой древности и генетически общие для всех языков, входящих в состав данной лингвистической семьи. Хотя одни языки в большей степени, другие в меньшей сохраняют отдельные черты архаической индоевропейской системы грамматических форм и древнего звукового состава, структура ни одного из исторически засвидетельствованных языков не является тождественной структуре общеиндоевропейского языка.

При сравнении грамматического строя и словарного состава существующих индоевропейских языков с теми элементами системы общеиндоевропейского языка, которые реконструируются с помощью сравнительно-исторического метода, не может не обнаруживаться качественное отличие, выра-

---

[1] H. Arntz. Gemeingermanisch. Festschr. für Hirt, т. II, 1936, стр. 447.

ботавшееся на протяжении тысячелетий исторического развития каждого из языков.

Качественные отличия исторически существующих индоевропейских языков от доисторического состояния общеиндоевропейской речи, так же как и значительные различия, характеризующие соотношение отдельных языков и языковых групп, нельзя рассматривать только как результат разного рода взаимодействия языков, скрещиваний с субстратами. Ведь скрещивание, как показывают известные до сих пор факты исторического развития языков, не создает существенных изменений в структуре победившего и тем самым продолжающего свою нить развития языка. Только изучение внутренних законов языкового развития, основанное на всестороннем учете фактов истории языков и истории говорящих на них народов, открывает возможность для решения этой сложной проблемы.

Нельзя забывать, что неправильная трактовка сущности и результатов языковых скрещиваний может иногда являться базой для создания разного рода реакционных, псевдонаучных концепций, искаженно представляющих процессы языкового развития. В частности, она заключает в себе известные предпосылки для ошибочного подхода к языковым фактам с точки зрения биологической теории „наследственности".

Наиболее последовательно биологическая концепция скрещивания языков была сформулирована известным голландским лингвистом Гиннекеном, выступившим на 3-м Международном лингвистическом конгрессе с официальным докладом на заданную организаторами конгресса тему: „Взаимовлияние языков как причина инноваций".[1]

Гиннекен предлагал различать „три этажа в здании языка: 1) подвальный этаж биологии и физиологии; 2) первый этаж психологии и социологии; 3) второй этаж культуры, стилистики, конкуренции и политики".[2]

Начиная с „подвального этажа", Гиннекен утверждал, что биология органов речи подлежит действию фактора наследственности. Поскольку каждый язык является, по его мнению, результатом скрещиваний, то позднейшая его эволюция зависит от комбинации двух наследственных факторов — „народа завоевателя" и „народа завоеванного". Комби-

[1] См.: Atti del III congresso internazionale dei linguisti. Firenze, 1935, стр. 29—47.

[2] Там же, стр. 29.

• свой путь развития

нацию этих факторов Гиниекен понимал весьма примитивно — как результат смешанных браков.

Критикуя „односторонний характер“ генеалогического древа романских языков, Гиниекен считал необходимым учитывать в каждом случае два фактора: „римского солдата и туземную женщину, на которой он женился. Каждый из них имел свою особую, данную от природы артикуляционную базу, которую они не могли видоизменить и комбинацию которых унаследовало их потомство, согласно законам биологии. От их потомства и произошли французский, испанский и румынский народы. В фонетической эволюции этих трех языков есть большое сходство, так как романская артикуляционная база являлась почти тождественной во всех трех случаях; но однако наблюдается и большое различие, потому что артикуляционные базы трех туземных женщин были совсем различны“.[1]

Пытаясь подвести „теоретическую основу“ под свою наивную и нелепую концепцию, не соответствующую научному пониманию специфики языка как общественного явления, Гиннекен взывал к законам Менделя, упрекал младограмматиков в том, что они „игнорировали различия между генотипом и фенотипом“ и поэтому сконструировали одностороннюю формулу языкового родства и т. д. и т. п. „Мы сознательно различаем, — утверждал он, — скрещения моногибридные, дигибридные, тригибридные и полигибридные в зависимости от количества наследственных факторов в артикуляционной базе двух скрещивающихся линий“.[2]

Соответственно с этим для каждого из индоевропейских языков он конструировал сложную генеалогию, пытаясь установить многократные скрещивания с разного рода субстратами.

Полная антинаучность этих расистских измышлений совершенно очевидна. Вызывает удивление лишь то, что подобные рассуждения могли быть преподнесены в 1933 г. Международному конгрессу лингвистов в качестве основного доклада по теме, занимавшей центральное место в работе конгресса!

Обратившись к следующему „этажу языкового здания“, управляемому законами „психологии и социологии“, Гиннекен использовал другой вариант теории скрещивания, заимство-

---

[1] Atti del III congresso internazionale dei linguisti, стр. 33.

[2] Там же, стр. 35.

ванный им у организаторов конгресса — итальянских неолингвистов.

Понятию „родства", которое должно быть, по мнению Гиннекена, ограничено областью „биологии речевых органов", противопоставляется понятие „сближения" или „сходства" (affinité), которое представляет собой „конвергенцию сходных языков двух или многих соседних стран, возникающую благодаря постоянному взаимообщению их обитателей, и основывается на психо-социологии традиции, передачи, подражания и аналогии".[1]

Принимая неолингвистическую концепцию „сближения языков", а также выдвинутую Трубецким идею „языковых союзов", Гиннекен решительно заявляет, что традиционная концепция генетического родства языков неприменима к фактам морфологии и синтаксиса и что „трансмиссия и диффузия слов, а также новообразований в области морфологии и синтаксиса, поступающих из многочисленных центров иррадиации, являются действиями психологического и социологического порядка, которые подлежат изучению с позицией волновой теории".[2]

Находя, что лингвистическая география „вывела языкознание из состояния „глубокого сна", Гиннекен произносит восторженный дифирамб „теории волн", возрожденной в трудах неолингвистов. „В этом новом возрождении теории волн старая генеалогия языков, к счастью, уже не играет более роли... Идеи сближения языков (affinité) и заимствования различаются между собой лишь в отношении степени... В этом новом возрождении теории волн каждое слово, каждая морфема, каждый оборот речи имеет свою собственную границу... Наконец, в этом новом возрождении теории волн понятия типологии и сближения языков почти что смешиваются и т. д."[3]

Обращаясь, наконец, к последнему „этажу" своей концепции, Гиннекен заканчивает доклад космополитическим утверждением о том, что наше время якобы характеризуется „массовыми и внезапными ассимиляциями партий и народов".[4]

Реакционная концепция Гиннекена представляет собой своеобразный концентрат целого ряда ошибочных идей, развиваемых некоторыми представителями современного бур-

---

[1] Там же, стр. 41.
[2] Там же, стр. 40.
[3] Там же, стр. 41.
[4] Там же, стр. 47.

жуазного языкознания. В его изложении эти идеи с полной отчетливостью обнаруживают свою порочную основу. Крайне примитивное в теоретическом отношении выступление Гиннекена, обнажившего антиисторическую сущность ряда популярных в зарубежной лингвистике концепций, само по себе не нуждается в серьезной критике. Однако некоторые из заимствованных им ошибочных идей глубоко укоренились в современном зарубежном языкознании и часто излагаются далеко не в той наивно откровенной и лишенной каких-либо попыток фактического обоснования форме, в какой сообщает их Гиннекен. Критика таких идей является весьма актуальной.

Это относится прежде всего к неолингвистической теории языковых схождений, которой, как мы видели, Гиннекен пытался заменить историко-генетическую трактовку вопросов сравнительной грамматики родственных языков.

В основу неолингвистической концепции, о которой нам уже приходилось говорить в начале данного раздела, были положены, с одной стороны, субъективно-идеалистические взгляды итальянского философа Б. Кроче, сводившего языковые явления к процессам „эстетического творчества" индивидов, а с другой — теория „лингвистической непрерывности", выдвинутая в свое время Шухардтом и И. Шмидтом и получившая развитие также в трудах ряда представителей французской лингвистической географии.

Прежде чем непосредственно перейти к разбору неолингвистической концепции, остановимся кратко на некоторых положениях Шухардта, представляющих ее теоретический первоисточник. Выше уже отмечалось, что Шухардт являлся одним из создателей теории языковых скрещиваний или смешиваний, утверждавшим, что „несмешанных языков не существует". Приведем еще некоторые его характерные высказывания по этому вопросу.

Так, например, уже в 1883 г. он подчеркивал, что „среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее время языкознание, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового смешения".[1] Считая возможности языкового смешения совершенно безграничными, он указывал, что смешение может иметь место и „при непрерывной территориальной смежности", но что в таком случае оно является „особенно интенсивным и сложным".[2]

[1] Hugo Schuchardt-Brevier, 1928, стр. 151.
[2] Там же, стр. 154.

И далее Шухардт делал очень характерный скачок к „индивидуальному языку“, беспредельно расширяя понятие „языкового смешения“ и фактически отождествляя с ним всякое общение людей, осуществляемое при помощи языка: „Но еще запутаннее и живее пересекаются линии, когда мы спускаемся к языковым единицам, к индивидуальным языкам. Каждый индивид выучивает и видоизменяет свой язык в общении с рядом других индивидов. Такое всестороннее и беспрерывное языковое смешение препятствует образованию значительных различий внутри группы, осуществляющей общение.

„Мы делаем последний шаг: даже внутри языка, воспринимаемого как нечто вполне единое, мы находим смешение. Им обусловлены так называемые явления аналогии...“.[1]

Непосредственным выводом из этого положения является отрицание понятия единства системы языка (или диалекта), пронизывающее все лингвистические исследования Шухардта. В каждом „индивидуальном языке“ всякое отдельное слово, всякая отдельная форма имеет свою особую историю, всякое новообразование в области фонетики, грамматики, лексики распространяется совершенно независимо от индивида к индивиду из центра своего первоначального зарождения путем непрерывных смешений, составляющих, согласно индивидуалистической концепции Шухардта, сущность процесса языкового общения.

На этой основе Шухардт развивает свою теорию „географического варьирования“, непрерывности переходов, переливов от языка к языку, от диалекта к диалекту, препятствующих установлению четких лингвистических границ. Уже в ранней своей работе („Вокализм вульгарной латыни“)[2] он замечал, что, обходя всю область романских диалектов, „мы найдем, что почти повсюду соседние диалекты, говоры, подговоры и т. д. не отграничиваются резко друг от друга, но сближаются, переходят один в другой“.[3] Одним из основных выводов Шухардта явилось его утверждение о невозможности „определить как область распространения отдельного диалекта, так и область распространения всех отдельных его фонетических особенностей“.[4]

---

1 Там же.

2 H. Schuchardt. Der Vokalismus des Vulgärlateins. Leipzig, 1866—1868.

3 Hugo Schuchardt-Brevier, стр. 164.

4 Там же, стр. 184.

Это положение Шухардта, развивавшееся им на материалах романских языков, легло в основу взглядов представителей французской „лингво-географической школы“, отрицающих наличие границ между отдельными диалектами, фактически снимающих само понятие диалекта как самостоятельной лингвистической единицы и изучающих независимые пути распространения отдельных языковых явлений, передающихся от индивида к индивиду непрерывной сетью незаметных переходов.

Неолингвистическое направление, возникшее в начале 20-х годов, заимствовало весь этот круг идей. В ряде выступлений рекламного порядка неолингвисты громогласно заявили о совершенном ими „перевороте“ в языкознании.

В начале нашего обзора основных направлений современной зарубежной компаративистики мы уже касались общетеоретических взглядов неолингвистов, резко противопоставивших свою откровенно идеалистическую позицию „материализму“ младограмматической школы. Поэтому мы остановимся сейчас лишь на их исследовательской практике.

В основу своей лингвистической концепции неолингвисты взяли положение о постепенной иррадиации отдельных языковых новообразований по смежной территории. Пространственное расположение языковых фактов было сочтено достаточным критерием для определения их хронологического соотношения. Поэтому неолингвисты именуют свою теорию „пространственной лингвистикой“ (linguistica spaziale или linguistica areale).

Предполагая, что новообразования всегда возникают в „центральной зоне“ лингвистического ареала, один из основателей направления, М. Бартоли, выдвинул целую серию „норм“ для определения архаичности языковых фактов.[1] Более древнее состояние может, по его мнению, сохраняться в областях „изоляции“, в областях „латеральных“ (т. е. „окраинных“), в областях „преобладания“ (aree maggiore) и в областях „запоздалых“ (aree seriore; имеются в виду области более позднего распространения данного языка). Путем довольно поверхностного анализа лексических соответствий между отдельными романскими языками конструируется ряд „пространственных“ („ареальных“) схем, долженствующих показать хронологическое соотношение соответствующих фактов.

[1] M. Bartoli. Introduzione alla neolinguistica. Genève, 1925, и другие работы.

Так, например, сохранение в Испании и Португалии глагола, восходящего к лат. comedere 'есть', в то время как в Каталонии употребляется глагол, восходящий к лат. manducare, объявляется нормой „области изоляции". Наличие в языках Пиренейского полуострова и в румынском слов, восходящих к лат. equa 'лошадь', рассматривается как „фаза, сохраненная в окраинных областях". Замена на территории Галлии во французском языке древнего латинского caput 'голова' словом testa 'черепок' — это пример „инновации", возникающей в „центральной зоне" романского ареала, в то время как преобладающая часть „лингвистической Романии" (area maggiore) все еще сохраняет более архаичное caput и т. д. и т. д.

Схемы эти конструируются вне какой-либо связи с историей народов, хотя неолингвисты упорно подчеркивают „историзм" своей концепции. Территория „лингвистической Романии" рассматривается ими как нечто абсолютно однородное, как „лингвистическая непрерывность", внутри которой из центральной области „инноваций" путем незаметных переходов распространяются передаваемые от индивида к индивиду отдельные слова и формы и пересекаются бесчисленные количества изоглосс.

Не удовлетворяясь областью романистики, неолингвисты перенесли свои „ареальные" схемы и на изучение фактов родства индоевропейских языков.

В работах Бартоли,[1] а также в многочисленных, повторяющих одна другую статьях Бонфанте[2] рисуется фантастическая картина распространения единого индоевропейского языка на огромной территории. Внутри этой территории в различных пунктах могли появляться очаги или центры возникновения отдельных языковых новообразований, распространявшихся независимо друг от друга по всем направлениям, не создавая каких-либо самостоятельных диалектных единств.

От старой „теории волн" этот новый ее вариант отличается тем, что если понятие диалектов все же в какой-то

---

[1] См.: M. B a r t o l i. 1) Introduzione alla neolinguistica. Genève, 1925; 2) Saggi di linguistica spaziale (сборник статей). Torino, 1945, и др.

[2] G. B o n f a n t e. 1) Note sur la chronologie de la langue hittite. Indogerm. Forsch., Bd. 52, 1934; 2) Encore de la place du hittite parmi les langues indo-européennes. Indogerm. Forsch., Bd. 55, 1937; 3) Les isoglosses gréco-arméniennes. Acta Jutlandica, IX, 1937; 4) „Indo-Hittite" and Areal Linguistics. Amer. Journ. of Philology, v. 67, 4, 1946, и др.

степени сохранялось в шмидтовской концепции непрерывных переходов от одной языковой группы к другой, то в неолингвистической схеме представление о диалектах как самостоятельных лингвистических единицах полностью заменяется представлением о беспорядочной сети взаимопересекающихся линий распространения отдельных, не связанных друг с другом явлений.

Основным методом и основной задачей исследования становится установление изоглосс для единичных фактов из области грамматики, фонетики и словаря индоевропейских языков. Древняя индоевропейская языковая общность, изображаемая по образцу и подобию лингвистической карты исчезающих диалектов современной Франции, предстает в виде сплошной сети изоглосс, как „лингвистическая непрерывность", в которой стерты все реальные черты исторической действительности, лежавшей в основе образования отдельных самостоятельных языковых групп. При этом неолингвисты пытаются, произвольно интерпретируя небольшое число случайно выделенных изолированных фактов, устанавливать „зоны инновации", „зоны изоляции", „центральные" и „латеральные (периферийные) ареалы", выдавая это за последнее достижение „исторического метода" в сравнительном языкознании. Так, например, Бонфанте, построив на основе сопоставления некоторого количества единичных явлений из области словаря, морфологии и фонетики отдельных языков целый ряд изоглосс, пересекающих по разным направлениям всю территорию распространения индоевропейской речи, выделяет в качестве „центрального ареала" древнегреческий и хеттский языки. Этот „центральный ареал" он объявляет главной „зоной инновации", тем очагом, из которого, по его мнению, распространялись языковые „новшества" по всей „индоевропейской территории".

Критерии, согласно которым Бонфанте определяет „архаизм" или „новизну" того или иного явления, весьма субъективны. Опираясь на необоснованное предположение Мейе о том, что в индоевропейской лексике можно выделить „сакральные" и „светские" (profanes) обозначения для целого ряда понятий, Бонфанте утверждает, что „сакральные" термины для понятий „огонь" (лат. ignis, др.-инд. agniḥ, ст.-слав. **огнь**) и „вода" (лат. aqua и т. д.) якобы „архаичнее", чем „светские" (греч. πῦρ, хетт. paḫḫur, умбр. pir, др.-в.-нем. fuir 'огонь', греч. ὕδωρ, хетт. watar, ст.-слав. **вода** и т. д.).

Отсюда делается вывод о том, что языки, обнаруживающие в своей лексике слова типа греч. πῦρ и ὕδωρ (неолингвисты обычно предпочитают оперировать обобщенными „типами“, мало заботясь о конкретной исторической реальности изучаемых явлений) относятся к „центральному ареалу“, откуда распространяются „новшества“, а языки, в которых понятия „огонь“ и „вода“ передаются с помощью „сакральных“ слов типа лат. ignis и aqua, принадлежат к „периферийному ареалу“, составляя „зоны консервации“, „зоны изоляции“ и т. п.

Гипотезу о „сакральном“ характере слов ignis и aqua Мейе попытался обосновать тем, что слова эти относятся к классу „одушевленных“ (animés), в то время как „светские“ слова типа греч. πῦρ и ὕδωρ принадлежат к классу „неодушевленных“ (inanimés — грамматический средний род). В наличии мужского и женского рода у слов, обозначающих „огонь“ и „воду“ в ряде индоевропейских языков, он усматривал отражение анимистических представлений;[1] соответственно этому средний род отразил, по мнению Мейе, „светское“, „мирское“ восприятие „огня“ и „воды“ как материальных предметов.

На основе этой отнюдь не доказанной гипотезы Бонфанте строит свои выводы относительно индоевропейской хронологии и утверждает, что наличие слов типа ignis и aqua свидетельствует якобы о более архаическом состоянии, а слова типа πῦρ и ὕδωρ представляют собой „новшества“, возникшие в „центральной зоне“ индоевропейского ареала.[2]

Между тем, с точки зрения сравнительной грамматики индоевропейских языков, вполне очевидно, что слова греч. πῦρ, πυρός 'огонь' (ср. хетт. paḫḫur, paḫḫwenaš; гот. fōn, funins; др.-в.-нем. fuir, умбр. pir, ирл. ūr, тох. por, арм. hur) и греч. ὕδωρ, ὕδατος 'вода' (ср. хетт. watar, wetenaš; др.-инд. род. п. udnáḥ, местн. udán; др.-сакс. watar, др.-исл. vatn и т. д.) относятся к числу наиболее архаических по своей структуре индоевропейских именных образований (остатки так называемых гетероклитических основ).

Бонфанте недостаточно заботится о последовательности своей аргументации. Непонятно, как с точки зрения „ареаль-

[1] A. Meillet. La catégorie du genre et les conceptions indo-européennes. Linguistique historique et linguistique générale, v. I, Paris, 1926.

[2] Характерно, что излюбленный неолингвистамя пример с πυρ и ignis является, видимо, самым главным „фактом“, на основе которого они пытаются строить свои выводы. Этот пример фигурирует уже в „Introduzione“ Бартоли и бесконечно повторяется во всех статьях Бонфанте как опора всей его аргументации.

ной схемы“ надлежит определять положение славянских языков, обладающих „архаическим“ названием „огня“, но в то же время в названии „воды“ обнаруживающих „новшество центрального ареала“? „Непоследовательно“ ведут себя, с точки зрения ареальной лингвистики, также германские языки, обладающие наряду со словом „типа ὕδωρ“ (др.-сакс. watar) также словом „типа aqua“ (гот. ahwa).

Излагая свою схему, Бонфанте не упоминает об этом.[1] Реальная полнота исторически засвидетельствованных фактов его не интересует. Утверждая, что „тип πῦρ обычно сопровождается типом ὕδωρ“, он пытается односторонне подобрать примеры, якобы подтверждающие его положение об исключительном „архаизме“ латинского языка, имеющего ignis и aqua (хотя ближайше родственный ему умбрский обнаруживает pir и utur), и о „новшествах“ языков „центрального ареала“, обладающих парой πῦρ и ὕδωρ. При этом он упорно стремится доказать, что именно греческий и хеттский языки являются главным центром распространения разного рода „новшеств“. Для подкрепления этого в сущности ни на чем не основанного положения подбираются и другие аргументы; в качестве одного из них, например, используется факт наличия в хеттском местоименного форманта *-k* (ср. amuk 'мне', 'меня'), которому в греческом языке, возможно, соответствует присоединяемая иногда к местоимениям частица -γε (ср. греч. ἐμέγε 'меня').

Вся теория Бартоли и Бонфанте строится на такого рода произвольно выбранных примерах, в историческом отношении ничего не говорящих.

Одной из характерных особенностей неолингвистической концепции является отсутствие интереса к изучению языковой структуры. Все содержание неолингвистических изысканий сводится к поискам границ распространения единичных, изолированных фактов и к поверхностному начертанию изоглоссных линий, без внимания к реальным языковым границам, к реальным хронологическим различиям в грамматической структуре, словаре и фонетике отдельных языков.

Вопрос о качественном своеобразии отдельных языков для неолингвистики не существует. Проблема исторического развития основных элементов структуры того или иного языка не только не ставится, но само понятие границ между кон-

---

[1] См.: G. Bonfante. „Indo-Hittite“ and Areal Linguistics, стр. 304—305.

кретными языками стирается в этой концепции, основанной на идеалистическом понимании языка, как продукта „эстетического творчества“ индивида.

Характерное для многих представителей зарубежной лингвистической географии пренебрежение к структуре отдельных местных диалектов, являющихся исторически сложившимися языковыми единицами и обладающих собственным грамматическим строем и словарным фондом, с особенной остротой выступает как серьезный теоретический порок при переносе объекта исследования с диалектов на языки.

Сведя понятие самостоятельных романских языков к „центральным“ и „периферийным ареалам“ единой „лингвистической Романии“, неолингвисты пытаются далее изобразить доисторическое прошлое индоевропейских языков также в виде обезличенной „лингвистической непрерывности“, во всех направлениях пересекаемой бесконечным количеством изоглосс. Понятие диалектов, положивших начало дальнейшему развитию языков отдельных групп племен и далее народностей, при такой постановке вопроса фактически устраняется.

Практикуемый неолингвистами перенос метода изучения диалектов современного языка на исследование проблемы родства индоевропейских языков совершенно не оправдан в научном отношении.

Поиски „индоевропейских изоглосс“ сводятся к составлению поверхностных схем, игнорирующих разновременный характер сопоставляемых явлений и внутренние закономерности развития структуры отдельных языков. Кроме того, сама ограниченность материала сравнения по далеко отстоящим друг от друга в исторические эпохи языкам не дает оснований для выведения изоглосс, хотя бы в какой-то мере претендующих на историческую реальность.

Однако неолингвисты не ограничивают поле применения своей теории только группой родственных языков. Так, например, Бартоли пытается распространить „пространственные нормы“ (norme spaziale) на отношения индоевропейских языков с неиндоевропейскими. Базируясь на теории лингвистического моногенеза Тромбетти, он беспредельно расширяет понятие непрерывной лингвистической территории (area). Распределение одних и тех же „типов“ — лат. nomen и греч. ὄνομα ‘имя’, отрицаний лат. nē и греч. μή, местоимений ст.-слав. **мы** и лат. nōs ‘мы’, окончаний множественного числа *-i* и *-s* — он усматривает в отношениях между арио-европей-

скими, уральскими и семитическими языками, устанавливая „центральные“, „периферийные зоны“, „зоны изоляции“ и т. п.[1]

С помощью „пространственных норм“ Бартоли на десяти страницах решает и такую проблему, как происхождение индейских языков Северной и Южной Америки, находя в них типы pur 'огонь', mos и nos 'мы', duo 'два' и т. п.[2] Научная „ценность“ такого рода изысканий вряд ли нуждается в специальном обсуждении.

В своем нигилистическом „новаторстве“ неолингвисты часто проявляют поразительное пренебрежение к достижениям предшествующей науки в области сравнительно-исторического изучения морфологической структуры, словарного состава и фонетики индоевропейских языков. Обрушиваясь с ожесточенными нападками на представителей младограмматического направления, неолингвисты обнаруживают в своих трудах явное снижение уровня научно-исследовательской работы в области компаративистики.

В особенности это относится к работам Бартоли и Бонфанте.

Следует заметить, что недостатки, присущие работам этих двух самых крайних представителей неолингвистики, далеко не в равной мере присущи работам остальных сторонников этого направления. Среди них есть языковеды, не порвавшие связей с традициями компаративистики и продолжающие изучать конкретные лингвистические материалы. Однако ошибочность теоретических основ, обусловленная субъективно-идеалистическим пониманием сущности языковых явлений, отчетливо дает себя знать и в этих исследованиях, что заставляет нас отнестись с особенным вниманием к их критическому рассмотрению.

В этом отношении обращают на себя внимание многочисленные труды В. Пизани, посвященные вопросам родства индоевропейских языков. В этих трудах мы не найдем тех примитивных „ареальных“ схем, которыми пестрят изыскания Бартоли и Бонфанте и псевдонаучный характер которых виден невооруженным глазом. Более того, Пизани нередко критикует подобного рода схемы. Так, например, он показывает полную неосновательность проводимого Бартоли хронологи-

[1] M. Bartoli. Ario-europeo, uralico, semitico. Scritti in onore di Alfredo Trombetti, Milano, 1938.

[2] M. Bartoli. Ancora delle origini dei linguagi precolombiani alla luce delle norme spaziale. Mélang. de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken, Paris, 1937.

ческого противопоставления слов типа лат. dies и греч. ἦμαρ 'день',[1] а также, критикует Бонфанте, не учитывающего реальные хронологические различия между сопоставляемыми явлениями.[2]

В статье Пизани, озаглавленной „Реконструкция индоевропейского языка",[3] содержится целый ряд интересных и правильных замечаний относительно недостатков предшествующей работы и возможностей дальнейших исследований в этой области.

Интерес представляют соображения Пизани по вопросу об отношениях между славянскими и балтийскими языками, о проблеме иллирийского языка, а также по вопросу о племенах, являвшихся носителями древней индоевропейской речи (в связи с проблемой так называемой „лингвистической палеонтологии").

Однако, признавая правильность и научную ценность многих положений, высказываемых Пизани, мы не можем согласиться с теоретическими основами его лингвистической концепции. Расходясь с Бартоли и Бонфанте в методике научного исследования, не порывая в такой мере, как они, с традициями компаративистики, в отношении коренных вопросов языкознания Пизани разделяет все основные установки неолингвистов.

Так, например, определяя сущность языка, Пизани пишет: „Реальными фактами, лежащими в основе нашего понятия о языке, являются единичные лингвистические акты отдельных индивидов".[4] И далее: „Называя изоглоссами (с расширением этого первоначального географического понятия) элементы, находящиеся в обладании членов определенной лингвистической общности в определенный момент времени, мы можем определить язык как систему изоглосс, соединяющих индивидуальные лингвистические акты".[5]

Субъективно-идеалистическая сущность этих утверждений совершенно очевидна. На ней основывается характерное для

---

[1] V. Pisani. Linguistica generale e indeuropea (сборник статей). Milano, 1947, стр. 49.
[2] Там же, стр. 71.
[3] V. Pisani. La ricostruzione dell'Indeuropeo. Сб. „Linguistica generale e indeuropea", стр. 27—53.
[4] V. Pisani. La lingua e la sua storia. Сб. „Linguistica generale e indeuropea", стр. 11.
[5] Там же, стр. 13.

неолингвистического направления отрицание реальности таких понятий, как „диалект“, „язык“. „Реальны для нас, — утверждает Пизани, — только изоглоссы, т. е. территориальное распространение каждого отдельного лингвистического явления“.[1]

Понятие таких языков, как итальянский или латинский, он определяет следующим образом: „Под итальянским или латинским языком, существовавшим в течение стольких столетий, мы понимаем систему изоглосс, соединяющих лингвистические акты всех людей, которые в какой-то промежуток времени говорили, следуя итальянской, или соответственно латинской, лингвистической традиции“.[2]

В своих последующих работах Пизани продолжает развивать теоретические положения неолингвистической концепции. Языки представляют собой, утверждает он, „непрерывное творчество индивидов, употребляющих в этом творчестве в качестве моделей формы уже существующие (т. е. употреблявшиеся ими самими или же другими в предшествующих актах творчества), которые могут принадлежать данной лингвистической традиции или же исходить от какой-либо иной традиции“.[3] Говоря об „иной традиции“, Пизани имеет в виду языковое смешение, которому он придает исключительно большое значение.

Полагая, что понятие языкового родства должно быть „подвергнуто полному пересмотру“, он выдвигает, ссылаясь на точку зрения Трубецкого, теорию „языкового союза“ (ligue linguistique), возникающего благодаря „взаимоассимиляции ряда соседних языков“. Говоря об „индоевропейском лингвистическом союзе“, он отрицает генетическое единство индоевропейских языков и готов объяснять факты родства их как результат схождения первоначально разнородных элементов. Иными словами, Пизани приходит к точке зрения, очень напоминающей псевдоисторические построения Н. Я. Марра, считавшего скрещивание основным и единственным фактором, обусловливающим возникновение связей между языками, и полностью отрицавшего понятие языкового родства.

---

1 V. Pisani. Sull'imprestito linguistico. Сб. „Linguistica generale e indeuropea“, стр. 62.

2 V. Pisani. La lingua e la sua storia, стр. 14.

3 V. Pisani. La question de l'indo-hittite, et le concept de parenté linguistique. Arch. Orientální, v. XVII, 2, Praha, 1949, стр. 259.

Сочувственно относясь к фантастической гипотезе Уленбека, усматривавшего в индоевропейском языке результат смешения „двух различных лингвистических типов“ (типа „аналогизирующего“ и типа „аномалистического“),[1] Пизани развивает следующую концепцию: „Различные языки, из которых образовался индоевропейский, могли иметь связи с другими языками, оставшимися за пределами индоевропейского лингвистического союза, или же в еще более ранние эпохи могли составлять часть других лингвистических союзов; отсюда могут быть объяснены доисторические связи между индоевропейскими или, вернее, между индоевропейскими языками и семитическими или финноугорскими, без обращения к понятию родословных древ ... Родство между всеми языками мира есть недоказуемый и в основе своей абсурдный миф, если исходить из генеалогической точки зрения; но оно становится реальностью, если его рассматривать с точки зрения тех разнородных элементов, которые тысячами способов так или иначе сочетаются друг с другом, приводя к созданию лингвистических союзов, т. е. к взаимовлиянию многих языков, всякий раз, когда они вступают в контакт через посредство двуязычных индивидов“.[2]

Концепция эта, как мы видим, очень близка марровской теории универсальных языковых скрещиваний.

Неолингвисты, сводя понятия языка к сумме изоглосс, игнорируя единство и национальное своеобразие структуры, присущей каждому языку, и заменяя понятие языкового родства понятием „схождения“ языков, порывают с принципом историзма в изучении языковых фактов. Выводы, к которым пришел Пизани в статье 1949 г., представляют собой фактический отказ от основных положений сравнительно-исторического языкознания, достигнутых в свое время путем тщательного изучения огромного фактического материала. Выводы эти органически связаны со всей суммой ошибочных взглядов на сущность языка и процессы его развития, излагавшихся в течение ряда лет представителями неолингвистического направления. Первоначальным источником их является теоретическая позиция, занятая еще много лет тому назад Шухардтом, который считал „языковое смешение“ одной из важнейших лингвистических проблем,

[1] См.: C. Uhlenbeck. Oer-indogermaansch en Oer-indogermanen. Meded. der Konink. Nederl. Akad. van Wetensch., Afd. Letterkunde, D. 77, Ser. A, № 6, 1935.

[2] V. Pisani. La question. . ., стр. 261—262.

развивал теорию непрерывности языковых переходов и резко нападал на положения и методы сравнительного языкознания.

В настоящее время, когда принцип историзма стал неприемлем для представителей реакционной буржуазной идеологии, подобного рода идеи приобрели необычайную популярность. Генетическое родство языков, объясняющее историческую общность унаследованных от древности основных элементов их структуры и помогающее понять внутренние законы их развития, теперь все чаще и чаще объявляется фактом несущественным или же полностью отрицается. Взамен выдвигается лингвистически крайне неопределенное понятие „языковых союзов", якобы возникающих путем сближения, схождения разнородных лингвистических компонентов.

Эта теория выдвигается как применительно к древним эпохам языковой истории, так и в отношении современных языков. В зарубежном языкознании уже давно фигурирует идея о „языковом единстве" западноевропейских стран. Так, например, еще в 1924 г. немецкий лингвист В. Порциг, основываясь на признаке наличия конструкций аналитического типа в английском, французском и немецком языках, утверждал, что „с синтаксической точки зрения эти языки являются лишь диалектами одного единственного языка Запада (der Sprache des Abendlandes)".[1]

Нас не должно, замечал он при этом, „смущать различие внешней формы, наблюдаемое между романскими и германскими языками". „Самой насущной и благодарной задачей индогерманистики, — объявлял далее Порциг, — было бы написать синтаксис языка Запада".[2]

Как известно, аналитические конструкции весьма широко представлены не только в германских и романских, но и во многих других современных языках индоевропейской группы. Поэтому вряд ли есть основания говорить здесь об особом синтаксисе „языка Запада".

В общетеоретическом плане понятие „языкового союза" было особенно четко сформулировано в 1928 г. Н. Трубецким в его выступлении на 1-м Международном лингвистическом конгрессе.[3] Но тогда еще Трубецкой противопоставлял „язы-

---

[1] W. Porzig. Aufgaben der indogermanischen Syntax. Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für W. Streitberg, Heidelberg, 1924, стр. 150.

[2] Там же.

[3] Actes du premier Congrès International de linguistes à la Haye, Leiden, 1928, стр. 18.

ковому союзу“ (Sprachbund), возникающему благодаря схождению генетически не связанных языков, понятие „языковой семьи“.

Позднее в небольшой статье, озаглавленной „Мысли по поводу индогерманской проблемы“,[1] Трубецкой решительно порвал с принципами сравнительно-исторического языкознания, отказавшись от положения об историческом единстве происхождения индоевропейских языков и заменив понятие „языковой семьи“ понятием „языкового союза“. „Предки индогерманских языковых ветвей“ могли, по его мнению, будучи первоначально непохожими друг на друга, постепенно сблизиться между собой „путем постоянного контакта, обоюдосторонних влияний и заимствований“.[2]

Иными словами, в основе образования родственных языковых структур Трубецкой ищет процессы смешения, схождения первоначально разнородных лингвистических компонентов.

Характерно, что структуралист Трубецкой сходится с неолингвистами в выдвижении этой точки зрения, резко противоречащей принципам сравнительно исторического языкознания.

В статье Трубецкого содержится очень своеобразное и спорное понимание сущности языковой структуры. Анализируя „индогерманскую проблему“, Трубецкой считает необходимым выделить основные структурные признаки, согласно которым определяется принадлежность языка к индоевропейской группе. С точки зрения сравнительно-исторического языкознания такие признаки состоят в наличии материально общих древних элементов грамматического строя и словаря. Однако Трубецкой не соглашается с этим давно установленным научным критерием. Он считает, что при решении вопроса о том, является ли тот или иной язык индоевропейским или не является, не следует придавать слишком большое значение „материальным соответствиям“. Хотя он и допускает, что такие соответствия должны существовать, но он считает их недостаточно показательными. Взамен признака материальных соответствий он предлагает следующие шесть „структурных признаков“, наличие которых он считает абсолютно необходимым для определения принадлежности языка к индоевропейской группе: 1) отсутствие гармонии гласных; 2) консонантизм начала слова не беднее, чем консонантизм середины и конца слова; 3) слово

[1] N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem. Acta Linguistica, Bd. I, 2, 1939.

[2] Там же, стр. 82.

не обязательно должно начинаться с корня; 4) формообразование совершается не только с помощью аффиксов, но также и с помощью чередований гласных внутри основы; 5) помимо чередований гласных, свободные консонантные чередования также играют морфологическую роль; 6) субъект переходного глагола оформляется так же, как субъект непереходного глагола.

„Каждый из этих структурных признаков, — продолжает Трубецкой, — встречается также в неиндогерманских языках, но все шесть вместе только в индогерманских. Язык, не обладающий всеми названными структурными признаками, не может считаться индогерманским, даже если он обнаруживает в своем словаре много соответствий с индогерманскими языками. И наоборот, язык, заимствовавший из неиндогерманских языков большую часть своего словаря и формативных элементов, все же является индогерманским, если он обладает шестью названными структурными признаками, и это даже в том случае, если он обнаруживает совсем мало лексических и морфологических соответствий с другими индогерманскими языками“.[1]

Не составляет особенного труда убедиться в том, что выделенные Трубецким „структурные признаки“ далеко не существенны при определении того общего, что составляет специфические особенности индоевропейской языковой структуры. Большинство из них имеет скорее внешний, отнюдь не определяющий структуру языка характер. Такие моменты чисто негативного порядка, как, например, отсутствие гармонии гласных, вообще вряд ли могут быть сочтены за признаки, годные при определении принадлежности языка к определенной лингвистической группе.

Одним из основных элементов языковой структуры является определенная система грамматических средств, с помощью которой словарный состав языка используется для выражения мыслей в процессе речи. В языках, в которых выражение грамматических отношений и создание новых слов осуществляется путем изменения формы отдельного слова, единство структуры материально воплощается в наличии определенного количества словоизменительных и словообразовательных формантов. Эти форманты генетически связаны с лексическим составом языка, и в историческом их развитии (образовании, видоизменении, переосмыслении, исчезновении) находит себе выражение развитие структуры языков данного типа.

[1] N. S. Trubetzkoy, ук. соч., стр. 85.

Понятие родства индоевропейских языков основывается прежде всего именно на материальной общности унаследованной от древности системы средств морфологического выражения и основных элементов словарного фонда, составляющих также в свою очередь постоянный источник для новообразований в области морфологии.

Поэтому при определении принадлежности того или иного языка к индоевропейскому лингвистическому единству решающую роль всегда играло и играет установление таких структурных признаков, которые связаны со специфическим именно для индоевропейских языков материальным оформлением. Полуторовековая история сравнительного изучения индоевропейских языков показала, что материальные соответствия древнейших элементов грамматического строя и словаря являются необходимым критерием при выделении этих языков в особую группу.

Успехи в лингвистическом определении хеттского и других неизвестных прежде языков древней Малой Азии убедительно показывают, что критерий этот не только не устарел, но, наоборот, блестяще оправдывает себя в применении к новым для науки материалам. В то же время можно усомниться в том, насколько предлагаемые Трубецким структурные признаки были бы практически применимы в определении принадлежности хеттского или любого другого языка к индоевропейской лингвистической группе.

Для исторического изучения вопросов родства индоевропейских языков предлагаемая Трубецким схема в сущности бесполезна. Однако самому Трубецкому она дает возможность утверждать, что, приобретя все шесть „структурных признаков“, любой язык может стать индоевропейским, или наоборот, утратив какой-либо из них, потерять право на это название.

Происхождение индоевропейской лингвистической общности объясняется, по мнению Трубецкого, тем, что ряд языков, находясь в состоянии „географического контакта“, приобрел индоевропейские „структурные признаки“.

Вспоминая шмидтовскую „теорию волн“, Трубецкой, так же как неолингвисты, вводит понятие непрерывности переходов от языка к языку. Каждый язык соединяется с соседними с помощью тех или иных „структурных признаков“. Так, например, индоевропейские языки составляют, по его мнению, промежуточное звено между урало-алтайскими, с одной стороны, и „средиземноморскими“ (кавказские и семитические) —

с другой. С первыми они объединяются по шестому, а частью и по пятому „структурным признакам“, а с другими — по первому, второму, третьему и четвертому признакам.

Отношение между всеми существующими в мире языками Трубецкой мыслит как сплошную лингвистическую непрерывность, на основе которой могут возникать и распадаться те или иные „языковые союзы“.

Из приведенного обзора популярных среди некоторой части современных зарубежных лингвистов мнений по вопросу об отношениях между отдельными группами индоевропейских языков и о процессах их развития можно убедиться в том, какая теоретическая путаница царит в трактовке этой важной исторической проблемы, для решения которой буржуазная наука не в состоянии найти правильного пути.

В этом отношении характерны также разделяемые многими буржуазными языковедами и археологами взгляды по вопросам древнейшей истории носителей индоевропейской речи.

Если мы обратимся к большинству лингвистических исследований, посвященных проблеме происхождения родства индоевропейских языков, мы увидим, что на всем протяжении развития сравнительного языкознания решение ее обычно определялось гипотезой о существовании некоего единого индоевропейского „пранарода“, распавшегося затем на ряд отдельных, самостоятельных народов.

Главный недостаток этой теории состоит в метафизическом подходе к процессам общественного развития, в непонимании его закономерностей, в стремлении механически перенести в доисторические эпохи отношения классового общества.

Процесс сложения народностей начинается, как известно, лишь в эпоху разложения первобытно-общинного строя и осуществляется на основе длительных процессов объединения и слияния родственных племен и закрепления территориальных связей, сопровождающихся процессом концентрации племенных языков или диалектов в единый язык народности. Для народностей, говорящих на индоевропейских языках, например для древних греков, римлян, славян, германцев и других, этот процесс совершался уже на глазах истории. В то же время достаточное количество исторических и лингвистических данных говорит о том, что состояние, предшествовавшее образованию греческой, римской и отдельных славянских и германских народностей, характеризовалось наличием боль-

шого количества родственных по происхождению племен со своими собственными, хотя и очень близкими друг к другу, родственными между собой языками. Первобытно-общинный строй естественно не мог знать тех скроенных по образцу современных буржуазных наций призраков мифического „пранарода“, которые до сего времени фигурируют в концепциях многих зарубежных лингвистов и археологов.

В работах националистически настроенных немецких лингвистов и археологов с конца XIX в. широкое распространение получила идея о том, что германцы являются непосредственными „наследниками“ индоевропейского „пранарода“, оставшимися жить на исконной „северной прародине“. Немецкие националисты фактически отождествили „индогерманскую проблему“, с „германской“ и пытались рассматривать доисторическое расселение „индогерманцев“ (т. е. „индоевропейцев“) как своего рода „первый этап“ мировой экспансии германского империализма. Подобного рода антинаучные, необоснованные фантазии, тесно переплетаясь с кровавыми бреднями о пресловутой чистоте „арийской расы“, достигли своего апогея в пору господства гитлеровского режима в Германии. Именно в эту пору некоторые немецкие лингвисты особенно настойчиво пытались модернизировать общественный строй „индогерманских предков“, уверяя, что они „не были варварами“, что „они обладали хорошо организованным государством (ein wohlorganisiertes Reich)“ [1] и т. п. Характерна уверенность Хирта в том, что „индогерманцы“ уже якобы обладали „государственной и сословной организацией“.[2] Идеи эти не являлись, однако, новыми ни для Хирта, ни для других представителей немецкой националистической лингвистики и археологии.

Яркий пример антиисторического решения вопроса о происхождении индоевропейской лингвистической общности представляет также (в этой ее части) концепция одного из виднейших представителей новейшей компаративистики А. Мейе.

Выше нам уже неоднократно приходилось излагать его взгляды в связи с рассмотрением различных аспектов проблемы родства индоевропейских языков.

Мейе являлся автором классических трудов в области сравнительно-исторического языкознания, продолжая в них лучшие традиции предшествующей науки. Наиболее сильной

[1] См. H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, стр. 31.

[2] Там же, стр. 207. См. также: H. Arntz. H. Hirt und die Heimat der Indogermanen. Festschrift für Hirt, Bd. II, Heidelberg, 1936.

стороной его исследований была трактовка вопросов исторической грамматики, исторической фонетики, а также теоретическое обоснование сущности сравнительно-исторического метода и попытки вскрыть некоторые общие закономерности, характерные для развития грамматического строя отдельных индоевропейских языковых групп.

Однако, обращаясь к вопросам языковой истории, непосредственно связанным с историей народов, Мейе часто оказывался во власти чуждых подлинному пониманию сущности исторического процесса концепций буржуазной социологии. И эта сторона исследований Мейе содержит много ошибочных положений.

Особенно ярко неприемлемость „социологической" позиции Мейе выступает при постановке им вопроса об общественно-исторических условиях возникновения индоевропейской лингвистической общности.

Пытаясь конкретизировать ставшее традиционным для сравнительного языкознания XIX в. представление об индоевропейском „пранароде", Мейе обнаруживает непонимание реальных закономерностей развития доклассового общества, в недрах которого некогда возникли и существовали группы родственных индоевропейских племенных диалектов.

Мейе говорит об особой индоевропейской „нации", которую он изображает в виде „нации завоевателей", с „аристократическим укладом", посылавшей из единого центра „экспедиции предприимчивых людей, устанавливавших все в новых и новых областях господство вождей, пользовавшихся индоевропейскими наречиями".[1] Особым „социальным" укладом „пранарода" Мейе объясняет длительность сохранения индоевропейских языковых традиций. „Если единство индоевропейских языков, — пишет он, — сохранило свою очевидность, то это лишь потому, что индоевропейские вожди глубоко ощущали единство своей нации и в общем употребляли сходную речь. Единство индоевропейских языков отражает единство аристократии".[2]

Развивая лишенную научных оснований теорию классовости языка, Мейе усматривает внутри общеиндоевропейского языка „социальные различия", отражавшие, по его мнению, сущест-

---

[1] A. Meillet. Sur l'état actuel de la grammaire comparée. Linguistique historique et linguistique générale, v. II, 1938, стр. 163.

[2] Там же, стр. 164—165.

вование социальных различий между аристократической верхушкой „индоевропейской нации“ и народной массой. При анализе индоевропейской лексики он резко противопоставляет друг другу „аристократический“, „благородный словарь“, которым должны были пользоваться „вожди“ и „старейшины“, и „вульгарный“, „просторечный“ словарь, который принадлежал „низшим слоям“ индоевропейского „народа“.[1]

Между этими двумя словарями Мейе пытается установить структурные различия. Относя к первому основную массу слов и корней, обозначающих наиболее важные понятия, он считает признаком „языка индоевропейской аристократии“ строгую регулярность морфологических типов словообразования и наличие закономерных чередований гласных *e*/*o* с нулевой ступенью огласовки.

К области „вульгарной лексики“ Мейе относит разного рода „экспрессивные“ образования с помощью удвоения согласных, „аномальной“ префиксации и т. п. Значительную часть слов, причисляемых им к числу „народных“ или „вульгарных“, составляют слова, содержащие древний гласный *a*, который (до разработки так называемой „ларингальной теории“) плохо укладывался в систему закономерных вокалических чередований. Отсюда Мейе заключает, что слова с этим гласным, обозначающие телесные недостатки, например лат. claudus ʽхромойʼ, обозначающие понятие „левый“, например лат. laeuus, греч. λαιός, ст.-слав. лѣвъ или лат. scaeuus, греч. σκαιός и т. п., должны были принадлежать „народному словарю“. Стада овец были, по мнению Мейе, достоянием „старейшин и вождей“, поэтому название „овцы“, содержащее древний гласный о (лат. ouis, греч. οἶς, ст.-слав. **овьца** и т. д.) относится к „благородному словарю“. Название же „более скромного животного“ — „козы“ — содержит *a* (греч. αἴξ, арм. ayc и т. д.), следовательно, оно должно было входить в состав „простонародной лексики“.[2]

Ошибочная формула „классовости языка“, применяемая Мейе при анализе древней индоевропейской лексики, нашла себе место даже в таком солидном труде, как „Этимологический словарь латинского языка“.[3] В своей попытке „социологической“ трактовки индоевропейской проблемы Мейе на-

---

[1] Там же, стр. 165—166.

[2] См.: А. Мейе. Введение. . ., стр. 414—415.

[3] A. Ernout et A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1932.

ходился целиком во власти псевдоисторических схем буржуазной науки.

Характерно, что ошибочное учение о „классовости языка" приобрело известную популярность среди некоторой части представителей современной зарубежной лингвистики, возможно считающих, что деление общества на антагонистические классы, на угнетателей и угнетенных, является извечным и необходимым. Так, например, Хирт утверждал, что „в языке повсюду образуются слои, поскольку существует различие сословий".[1]

В концепции неолингвистов формула классовости языка также получила применение и развитие. На основе ее некоторые из них пытаются строить вслед за Мейе свои изыскания в области индоевропейской доистории. В уже упоминавшейся нами выше статье Пизани мы находим следующее характерное высказывание: „Я все более и более убеждаюсь в том, что наиболее распространенные элементы реконструируемого индоевропейского языка в значительной своей части принадлежали языку особой касты, соответствовавшей касте брахманов в Индии и организации друидов у кельтов. Это была каста, члены которой, находясь в различных областях, сохраняли контакт между собой, несколько наподобие аристократии различных эллинских стран после окончания персидских войн. В противоположность этому язык низших классов (воинов, земледельцев, ремесленников, не говоря уже о рабах) должен был сильно различаться от области к области, и эти различия должны были естественно отражаться и в языке высшей касты различных областей".[2] Поэтому, заключает Пизани, наряду с „горизонтальной дифференциацией" по отдельным территориям, внутри индоевропейского языка следует учитывать также „вертикальную дифференциацию" — по „классам".

Совершенно ясно, что эта концепция противоречит марксистскому пониманию сущности языка как общественного явления. На всех этапах развития язык, пишет И. В. Сталин, „как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения".[3]

---

[1] H. Hirt. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, стр. 196.
[2] V. Pisani. La question. . ., стр. 255.
[3] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 12.

Как об этом свидетельствуют непреложные факты, языки у племен и народностей древнего мира были не классовые, а общенародные, общие для племен и народностей и понятные для них.

Документальные данные говорят о том, что народы, носители индоевропейских языков, находились в начальный период своего появления в истории еще в состоянии разложения первобытно-общинного строя (славяне, германцы, ведийские индийцы, кельты и др.) или проходили лишь первые шаги по пути образования классового общества (древние греки, древние италийцы). Исключение составляют лишь хетты, которые, видимо, очень рано включились в развитие рабовладельческих обществ Древнего Востока.

Что касается периода существования индоевропейской лингвистической общности, то, не предрешая еще вопроса о ее характере, можно отнести этот период с полной определенностью к эпохе первобытно-общинного строя. Следовательно, ни о какой классовой дифференциации в обществе носителей древней индоевропейской речи говорить не приходится. Не приходится говорить также ни о каких „социальных различиях" в их языке, который, как всегда в истории, был общенародным и единым для всех членов общества.

Вульгарный социологизм составляет одну из характерных черт неолингвистической концепции и ярко проявляется в некоторых изысканиях по вопросам индоевропейской этимологии. Так, например, Бартоли пытался связать различие огласовок в словах греч. πατήρ и μήτηρ, лат. pater и māter, др.-инд. pitár и mātár с явлением полигамии (!).[1]

Другой представитель этого направления, Дж. Девото, сопоставляя „сакральное" значение корня *sak в латинском языке (лат. sacer 'священный', 'проклятый', sacerdōs 'жрец', sancio 'освящаю', но и 'постановляю'! *А. Д.*) с „юридическим" значением того же корня в древнеисландском (sœt < *sātt-, *sahti- 'договор', 'примирение'), пытается усмотреть в этом различии одно из проявлений резкой и глубокой „социальной революции", которая, разрушив единство „религиозной и политической касты", составлявшей верхушку „индоевропейской нации", вынесла на поверхность „материалистически" настроенные народные массы. Эта внезапная и „разрушительная"

[1] M. Bartoli. Il ritmo dei tipi πατήρ e μήτηρ e la poligamia degli Arioeuropei. Saggi di linguistica spaziale, Torino, 1945, стр. 170—176.

революция явилась, по мнению Девото, причиной распадения „индоевропейского народа“.[1]

Вряд ли необходимо говорить о том, что никаких реальных исторических оснований эта гипотеза о „революции“, якобы разрушившей древнее индоевропейское единство, конечно, не имеет.

Итак, мы видим, что при попытках постановки вопроса о происхождении индоевропейской языковой общности, о древнейших этапах истории ее носителей особенно ярко проявляются теоретические пороки буржуазной науки. Вульгарно-социологические схемы, идущие вразрез с фактами реальной истории, запоздалые мечты об „аристократической касте“, якобы создавшей некогда языковое и культурное единство индоевропейцев, необоснованные гипотезы о наличии „классов“ в праиндоевропейскую эпоху и о внезапной „революции“, якобы разрушившей идиллическое единство индоевропейского общества, сведение языка к сумме изоглосс и стирающая национально-историческую специфику конкретных языков теория „лингвистической непрерывности“ — таков арсенал идей, с помощью которых многие современные лингвисты пытаются разрешить эту коренную для исторического языкознания проблему. Наряду с этим продолжают еще существовать и откровенно расистские концепции в области лингвистики и археологии, вскормленные буржуазным национализмом.

Мы кратко ознакомились с основными линиями, по которым производится изучение вопросов родства индоевропейских языков в современном зарубежном языкознании. Из существующих исследований положительное значение в основном имеют труды, посвященные изучению вопросов сравнительной грамматики, как индоевропейской в целом, так и отдельных лингвистических групп. Значительная работа проделана по изучению новых для языкознания материалов хеттского (несийского) языка, а также по лингвистическому определению других, прежде не известных членов индоевропейской лингвистической группы (древние языки Малой Азии, тохарский язык).

---

[1] G. Devoto. I problemi dell'etimologia indoeuropea. Scritti in onore di Alfredo Trombetti, Milano, 1938, стр. 375—383.

Особый интерес привлекла к себе проблема структуры древнейших элементов индоевропейской морфологической системы. В этой области за последние десятилетия был проделан ряд интересных исследований, значительно продвинувших вперед изучение вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Однако на исследование такого рода проблематики частично оказал влияние отвлеченный схематизм, характерный для популярного в современном зарубежном языкознании структуралистского направления. Кроме того, среди новейших изысканий по вопросам сравнительной грамматики известное место занимают научно необоснованные, фантастические построения некоторых лингвистов, пытающихся без опоры на конкретные факты истории языков, решить проблему происхождения грамматического строя индоевропейских языков.

Характерно, что многие представители таких популярных в современном буржуазном языкознании направлений, как структурализм и неолингвистика, сходятся в ожесточенных нападках, которым они подвергают сложившиеся в XIX в. принципы сравнительно-исторических исследований. Борясь с „материализмом" младограмматического направления, упрекая в анахронизме языковедов, которые в разработке конкретных лингвистических материалов продолжают еще следовать классическим традициям компаративистики, многие из современных буржуазных лингвистов-теоретиков открыто провозглашают реакционно-идеалистические взгляды и пытаются увести лингвистическую науку от изучения фактов реальной истории языков в туманы универсальных схем и фантастических гипотез. Отказ от принципа историзма является одной из наиболее характерных черт, определяющих эволюцию взглядов целого ряда представителей современной буржуазной лингвистики.

„Новизна" некоторых концепций, выдвигаемых новейшими зарубежными компаративистами, в ряде случаев является весьма относительной. Так, например, широко распространенные в настоящее время различные варианты теории языковых скрещиваний, восходят к взглядам, развивавшимся отдельными языковедами (например Шухардтом) еще в начале 70-х годов прошлого века. Однако в настоящее время популярность этой теории, дающей простор для разного рода универсалистских построений, значительно возросла.

Строго критическое отношение к концепциям, господствующим в современной компаративистике, особенно к „но-

ваторству" тех ее представителей, которые в той или иной мере порывают с традициями сравнительно-исторического языкознания, является одним из необходимых условий преодоления недостатков работы в этой области и развития правильной марксистской точки зрения по конкретным вопросам родства языков.

Глава IV

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА ОБ ИЗУЧЕНИИ РОДСТВА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Вопрос о происхождении родства индоевропейских языков является одной из тех лингвистических проблем, с разрешением которых связано освещение целого ряда конкретных вопросов древнейшей истории языков и народов, их носителей. Вопрос этот не может не привлекать к себе внимание советских языковедов и историков.

Известно, что научная разработка его в течение ряда лет была затруднена господством в советском языкознании немарксистской марровской теории. Н. Я. Марр выдвинул собственную схему образования языковых семей, в первую очередь индоевропейской, — схему, полностью идущую вразрез с реальными фактами языковой истории и отреза́вшую всякие пути для подлинно научной постановки вопроса о происхождении языкового родства. Схему эту Н. Я. Марр впервые предложил еще в 1923 г., объявив, что индоевропейская языковая семья (или „система“, как он ее называл) есть „порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызванной переворотом в общественности в зависимости от новых форм производства... создание новых хозяйственно общественных условий, по материалам же, а пережиточно и по многим конструктивным частям, это дальнейшее состояние тех же яфетических языков“.[1]

Нашедшие себе яркое выражение в этой схеме немарксистские формулы о стадиальности и о движущей роли скрещения в формировании языков бесконечно повторялись затем самим Н. Я. Марром и его последователями в качестве ответа

[1] Н. Я. Марр, Избранные работы, т. I, стр. 185.

на вопрос о происхождении индоевропейской и других языковых семей. Никакие конкретные исследования не подтверждали и не могли подтверждать эту научно бесплодную, идущую вразрез с реальными языковыми фактами концепцию.[1]

В рассмотрении вопросов языкового родства последователи Н. Я. Марра редко шли дальше повторения этих общих положений. Характерно, что изучение этих вопросов даже с позиций марровской теории встречало резкие нападки со стороны наиболее „последовательных“ учеников Н. Я. Марра, в своей борьбе со сравнительно-историческим языкознанием пытавшихся отрицать даже очевидное для всякого подготовленного языковеда понятие родства языков.

Производившиеся некоторыми сторонниками „нового учения“ попытки исследовать факты родства языков с учетом достижений сравнительно-исторического языкознания и в то же время с искренним стремлением „перестроить“ сравнительную грамматику на основе марровских взглядов с самого начала были непоследовательны и глубоко противоречивы. Такие попытки не могли не приводить к тупику в практике лингвистического исследования.

Естественно, что подобного рода работы вносили немало путаницы в изучение вопросов языкового родства. С одной стороны, авторы их исходили из признания неоспоримого факта существования тесных, исторически обусловленных, восходящих к глубокой древности связей между языками, иначе говоря, родства языков, и считали, что изучение сравнительной грамматики групп родственных языков является необходимым элементом изучения истории этих языков. Но с другой стороны, идя вслед за Н. Я. Марром, эти языковеды пытались отрицать генетический характер языкового родства, продолжали марровскую критику теории „праязыка“ и говорили о пороках „формально-генетического“ сравнительного метода в языкознании, хотя сами пользовались сравнительно-историческим методом в исследовании конкретных вопросов истории языка.

К числу языковедов, пытавшихся решать вопрос о происхождении родства индоевропейских языков на основе ошибочных положений марровской теории, принадлежал и автор

[1] Разаернутую критику азглядов Н. Я. Марра по этому вопросу см. в статье П. С. Кузиецоаа „Ошибки Н. Я. Марра а его азглядах на родстао и историческое разаитие языкоа“ (Сб. „Протиа аульгаризации и изаращения марксизма в языкознании“, ч. II, изд. АН СССР, М., 1952).

данной работы. В статье, специально посвященной этой проблеме,[1] утверждалось, что для постановки вопроса о происхождении „индоевропейской языковой системы" основополагающим должен являться тезис Н. Я. Марра о том, что „индоевропейские языки представляют собой „порождение сложной степени скрещения". Возникновение „индоевропейской языковой системы" рассматривалось как результат схождения на определенном этапе разного рода этнических элементов, сходных и несходных, и их длительного контактного развития на достаточно определенной территории („средняя полоса Европы и Азии от Атлантического Океана до Алтайских гор").

Подобные утверждения не могли не носить чисто декларативного характера, так как никакие конкретные языковые факты не могли подтвердить необоснованную гипотезу о том, что языковое родство могло возникнуть путем схождения, скрещивания разнородных лингвистических элементов. Все факты истории индоевропейских языков говорят о генетическом родстве этих языков, о единстве их происхождения в далеком прошлом. Сложная морфологическая структура, составляющая специфику грамматического строя древних индоевропейских языков, не могла возникнуть путем интеграции разнородных частей.

Конкретные пути для обоснования этого выдвинутого на основе марровских положений ошибочного тезиса представлялись нам в усилении внимания к тем элементам древнего словарного состава индоевропейских языков, которые находят себе соответствия за пределами индоевропейской языковой семьи, а также к различиям, существующим между отдельными родственными языками.

При этом нам казалось, что вопрос о лексических заимствованиях из языка в язык перерастает в вопрос о формировании лексического фонда того или иного языка, происходившего в условиях конкретно-исторического, хотя в большинстве случаев нам и не известного, взаимодействия определенных языковых единиц, отражающего процессы взаимодействия соответствующих единиц этнических. Флективный строй, характерный для древних индоевропейских языков, мы также пытались рассматривать как результат конкретно-

---

[1] А. В. Десницкая. К проблеме исторической общности индоевропейских языков. Изв. Отд. лит. и яз. АН СССР, 1948, вып. 3.

исторических условий языковых смешений, обусловивших пестроту грамматических показателей, а также их фонетическую редуцированность, соединяющуюся с утратой, затемнением их некогда самостоятельного грамматического значения.

В свете положений марксистской теории языка (устойчивость грамматического строя и основного словарного фонда, составляющих основу языка, сущность его специфики) ясна ошибочность приведенных выше точек зрения, основанных на марровской теории языковых скрещиваний.

Особенный интерес к проблеме происхождения индоевропейской лингвистической общности проявляли также некоторые наши историки и археологи, развивавшие свои этногенетические построения на основе немарксистских положений марровского учения. Антиисторическая теория стадиальности и учение о языковых скрещиваниях составляли стержень марристской концепции этногенеза. Характерно, что и фантастический анализ по четырем элементам, отвергнутый большинством языковедов из числа учеников и последователей Н. Я. Марра, нередко продолжал использоваться этими историками и археологами для обоснования разного рода этногенетических гипотез.

Одним из определяющих моментов для исследований, посвящавшихся археологами, стоявшими на ошибочных позициях марровской теории, проблеме происхождения индоевропейской лингвистической общности (так же как и вопросу о происхождении славянской общности и др.), было в известной мере пренебрежительное отношение к фактам истории языков, изученным с помощью сравнительно-исторического метода. Широко пользуясь самим понятием „индоевропейской лингвистической общности", археологи, последователи Н. Я. Марра, как правило, не считались с тем, что это понятие основано на конкретном языковом материале и неразрывно связано с достижениями сравнительно-исторического языкознания. Обвиняя „индоевропеистов" в „расизме" и „формализме", авторы такого рода этногенетических построений свободно оперировали термином „индоевропейцы", выхолащивая из него всякое конкретно-лингвистическое содержание. При этом, игнорируя результаты лингвистических исследований, построенных на основе изучения фактов истории языков с применением сравнительно-исторического метода, некоторые археологи охотно ссылались для подкрепления своих этногенетических концепций на сомнительные в научном отношении

труды зарубежных лингвистов, из числа представителей так называемой „этнографической лингвистики".

Одну из первых попыток трактовки происхождения индоевропейской языковой общности с позиций марровской теории стадиальности представляла статья Е. Ю. Кричевского „Индогерманский вопрос, археологически разрешенный".[1] В дальнейшем эту ошибочную линию изысканий продолжил М. И. Артамонов, опубликовав статью „Археологические теории происхождения индоевропейцев в свете учения Н. Я. Марра".[2]

Правильно подвергнув острой критике расистские построения Г. Косинна, К. Шухардта и других представителей немецкой реакционно-националистической археологии, при попытке положительного разрешения вопроса М. И. Артамонов оказался целиком во власти псевдоисторической марровской концепции. Теорию генетического родства индоевропейских языков М. И. Артамонов категорически отвергал и считал вполне возможным обосновать мысль о происхождении индоевропейской лингвистической семьи „в порядке скрещений и взаимосвязей соседних племен и народов".[3]

Характерные для каждой лингвистической семьи „общность словаря, сходство фонетик и тождество категорий и типов структурного оформления" М. И. Артамонов объяснял „сходством отображаемого языком исторически обусловленного общественного сознания". „Это сходство, — писал он далее, — предполагает, кроме взаимодействия конструирующихся в особую лингвистическую систему или семью обществ, еще и единство стадии их социально-экономического развития, т. е. известную однородность их хозяйственного и социального состояния".[4]

Ошибочные концепции по вопросу о „происхождении индоевропейцев" развивали также А. Д. Удальцов и С. П. Толстов.

Так, например, А. Д. Удальцов утверждал, что процесс образования индоевропейских народов и языков шел „на основе оживленных культурных межплеменных взаимосвязей и скрещений, чем и объясняется наличие индоевропейской

---

[1] Изв. ГАИМК, вып. 100, 1933.
[2] Вести. Лен. унив., 1947, № 2.
[3] М. И. Артамонов. Археологические теории происхождения индоевропейцев в свете учения Н. Я. Марра. Вестн. Лен. унив., 1947, № 2, стр. 103.
[4] Там же.

общности".[1] Область первичного „протоиндоевропейского этногенеза" являлась, согласно точке зрения А. Д. Удальцова, „территорией культурных сближений и скрещений ряда первоначально яфетических племен и народностей, переживавших аналогичные стадии общественного развития".[2]

В работах С. П. Толстова настойчиво проводилась мысль о том, что установление Н. Я. Марром „того факта, что индоевропейские языки представляют продукт скрещения древних яфетических языков Средиземноморья (в широком смысле этого слова), а также установление им стадиального характера процесса индоевропеизации создали предпосылки для разрешения конкретных проблем глотто- и этногенеза отдельных групп индоевропейцев".[3]

В статье „Проблема происхождения индоевропейцев и современная этнография и этнографическая лингвистика"[4] С. П. Толстов, опираясь на выдвинутую некоторыми зарубежными лингвистами схематичную классификацию всех языков мира на „префиксирующие" и „суффиксирующие", предлагал рассматривать индоевропейские языки как продукт различных путей скрещения языков „юго-западного" (префиксация) и „северо-восточного" (суффиксация) ареалов.

Эта гипотеза не имела никакой опоры ни в данных сравнительно-исторического языкознания, ни в данных истории народов, говорящих на индоевропейских языках.

Что касается самой классификации языков мира на „префиксирующие" и „суффиксирующие", то она весьма поверхностна, условна и ни в какой мере не может служить базой для выводов историко-лингвистического порядка. Само наличие в индоевропейских языках как префиксации, так и суффиксации отнюдь не свидетельствует об их скрещенном характере, но говорит лишь о научной несостоятельности этой классификационной схемы.

Уже после лингвистической дискуссии 1950 г. С. П. Толстов опубликовал статью,[5] в которой нашел возможным сохранить основные положения своей прежней концепции происхождения

---

[1] А. Д. Удальцов. К вопросу о происхождении индоевропейцев. Кратк. сообщ. Инст. этнограф. АН СССР, I, 1946, стр. 16.

[2] Там же.

[3] С. П. Толстов. „Нарцы" и „Волхи" на Дунае. Сов. этнограф., 1948, № 2, стр. 20.

[4] Кратк. сообщ. Инст. этнограф. АН СССР, I, 1946.

[5] С. П. Толстов. Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии. Сов. этнограф., 1950, № 4.

языковых групп (семей). В указанной статье Толстов, сообщая о своем отказе от навеянной влиянием Н. Я. Марра трактовки „переходной полосы“ (к которой он относил индоевропейские, кавказские и сино-тибетские языки), как „зоны скрещения обоих крайних типов“ („префиксация“ и „суффиксация“), предложил рассматривать существующие языковые семьи как наследие „первобытной лингвистической непрерывности“, объединявшей некогда (в период существования родовых языков) все языки тогдашней эйкумены непрерывной сетью незаметных переходов. В свете излагавшегося ранее должно быть ясно, что теория „первобытной лингвистической непрерывности“, перекликаясь с давно уже развиваемой итальянскими неолингвистами теорией „непрерывности“ языковых переходов, представляет собой новую попытку трактовать происхождение языковых семей как результат интеграции, схождения множества самостоятельных мелких языков и фактически отрицает понятие языкового родства.

Неудачные попытки последователей марровской теории из числа как языковедов, так и историков решить проблему происхождения родства индоевропейских языков лишний раз убеждают в том, что постановка и решение вопросов происхождения языковых групп (семей) могут быть плодотворны лишь при условии опоры на конкретные лингвистические данные, полученные в результате сравнительно-исторического изучения материала соответствующих языков. Универсальные же схемы, как бы они ни казались заманчивы на первый взгляд, не могут заменить исследования вопросов, имеющих конкретно-исторический характер.

Вопросы языкового родства занимают в настоящее время важное место в тематике исследований, проводимых советскими языковедами на основе марксистского учения о языке и законах его развития. Опубликован ряд статей, в которых всестороннему рассмотрению подвергается вопрос о сущности сравнительно-исторического метода, о возможностях плодотворного его применения при изучении истории конкретных языков, а также вопрос о серьезных недостатках, присущих этому методу.

Проблема образования языковых групп (семей), существенно важная не только для языковедов, но и для историков, также

привлекает к себе пристальное внимание представителей различных отраслей советской науки (языковедов, историков, археологов, этнографов).

При изучении этой проблемы определяющее значение имеет марксистское положение о том, что „язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка".[1]

Это исключительное по своей важности положение относится не только к тем сравнительно небольшим отрезкам многотысячелетнего развития языков, которые освещены ярким светом истории, но также и к тем его периодам, которые восстанавливаются лишь с помощью сравнительно-исторического метода. Закономерности общественного развития в эпоху первобытно-общинного строя, раскрытые в трудах классиков марксизма-ленинизма, составляют твердую теоретическую опору для правильной постановки вопроса о тех общественных коллективах, которые в эпоху глубокой древности создавали и развивали основы грамматического строя и основного словарного фонда современных языков.

Конкретно-историческое исследование вопроса о происхождении отдельных языковых семей, в частности такой древней по своему образованию, какой несомненно является индоевропейская, требует глубокого и всестороннего изучения огромного количества фактов из области сравнительного языкознания, истории, археологии. Такая работа может быть проведена лишь в результате творческого содружества представителей различных смежных специальностей. Предпосылкой будущих плодотворных исследований в этой области явилось проведение в конце 1951 г. институтами языкознания, этнографии, истории и истории материальной культуры АН СССР объединенного совещания по вопросам методологии этногенетических исследований в свете марксистского учения о нации и языке.[2] В результате творческой дискуссии участники совещания пришли к теоретически правильной постановке вопроса об образовании и развитии групп (семей) языков, отвергнув антиисторическую концепцию о движущей роли языковых скрещиваний и подчеркнув понятие единства происхождения

---

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22.

[2] См. сообщение о работе этого совещания в журнале „Вопросы языкознания", 1952, № 1.

как фактора, определяющего родство языков и историческую общность основных элементов их структуры.

Однако основная работа, связанная с конкретным изучением лингвистических и исторических материалов, еще предстоит впереди.

Для правильной организации плодотворной совместной работы языковедов и археологов необходимо четкое понимание того, в какой мере данные сравнительного языкознания и археологии могут использоваться в качестве опорного материала для выводов исторического порядка.

Нельзя забывать о том, что при освещении вопросов языкового родства именно язык, а отнюдь не типы орнаментов на керамических изделиях или способы погребений является основным и самым надежным этническим показателем. Зарубежные археологи, а также и некоторые советские археологи марровской школы, оперируя таким понятием, как „индоевропейская общность“, часто забывали, что это конкретно-историческое понятие имеет прежде всего лингвистический характер и что данные сравнительно-исторического языкознания представляют в этом случае основной материал, на который должны ориентироваться не только языковеды, но и историки. Не считаясь с этим материалом и жонглируя на все лады лишь оголенным от языковых фактов понятием „индоевропейской общности“, многие археологи сводили всю „индоевропейскую проблему“ к нескончаемым спорам о столкновениях, напластованиях, трансформациях культур „шнуровой керамики“, „ленточно-линейной керамики“, „ямочно-гребенчатой керамики“, „культуры боевых топоров“ и т. п.

К языковым фактам при этом обращались лишь от случая к случаю, с целью добавочного подкрепления той или иной гипотезы; к тому же наибольший интерес со стороны археологов вызывали обычно такие сравнительно мало показательные для языковой структуры и исторически мало надежные факты, как этнические названия.

Отнюдь не отрицая важного значения изучения археологических данных, следует, однако, заметить, что подобного рода труды часто носят очень односторонний характер, так как в них несправедливо оставляется без должного внимания такое важнейшее, устойчиво сохраняемое и развиваемое на протяжении многих эпох достояние народов, как язык, — при этом даже в тех случаях, когда предметом исследования специально является вопрос о происхождении определенной лингвистической группы (семьи).

Но с другой стороны, тщательно изучая древнейшие элементы словарного состава родственных языков, с выявлением того круга понятий, который отражал непосредственную реальность производства и общественного строя носителей данной речи в эпоху древнего языкового единства, нельзя ограничиваться только лингвистическими материалами при воссоздании картины доисторического прошлого. Иначе говоря, необходимо избегать тех ошибок, которые были присущи представителям „лингвистической палеонтологии" в середине XIX в. (А. Пиктэ и др.), пытавшимся на основе произвольного истолкования одних только лексических соответствий между индоевропейскими языками реконструировать совершенно фантастическую картину жизни индоевропейского „пранарода".[1]

Еще Н. Г. Чернышевский, критикуя подход к изучению первобытной жизни человечества с точки зрения данных „исторической филологии", подчеркивал значение материалов этнографии, которая сообщает нам „в живых, простых, ясных рассказах", все, что „с неимоверными усилиями соображения успевает добыть историческая филология".[2] Этнография говорит „совершенно то же, что историческая филология. Но есть и огромное различие между этими очень важными в наше время науками. Историческая филология отгадывает, строит гипотезы, основанные на скудных и часто бледных фактах, потому дает картины не полные, не довольно подробные и живые, иногда не совсем точные. Совершенно не таково положение этнографии: она видит и передает факты народной жизни во всей их жизненной полноте и точности; этнограф видит своими глазами то, что при помощи исследований языка можно только предчувствовать. И верность и полнота на стороне этнографии. Потому-то она должна быть главнейшею путеводительницею при восстановлении древнейших периодов развития народов, ставших ныне так высоко, но прошедших через те самые периоды жизни, в которых доныне остаются различные племена, живущие звериною ловлею, собиранием плодов или пастушеством".[3]

В трудах классиков марксизма-ленинизма содержатся непревзойденные образцы использования данных этнографии при исследовании закономерностей развития доклассового

[1] Изложение, а частично и критика подобного рода изысканий содержится в труде О. Шрадера: O. Schrader. Sprachvergleichung und Urgeschichte. 3-te Ausg., Jena, 1906, стр. 22 и сл.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, 1906, стр. 225.

[3] Там же, стр. 226.

общества. Труды эти дают языковедам и историкам твердую теоретическую основу для изучения вопроса о том, как в эпоху первобытно-общинного строя происходило образование и развитие групп родственных языков, отражавших в своем развитии конкретно-исторические условия существования родственных племен и народностей.

При исследовании проблемы происхождения какой-либо определенной языковой семьи лингвистическим фактам принадлежит решающее значение, так как язык является основным показателем восходящей к далекому прошлому этнической общности той или иной группы народов. Однако без привлечения данных археологии и этнографии невозможно воссоздать реальную картину этого доисторического прошлого.

Односторонняя ориентация на данные археологии ведет к ошибочному отождествлению языка с культурой, которое лежит в основе целого ряда антиисторических построений в области этногенеза. Использование одних только этнографических материалов, без обращения к данным сравнительного языкознания, истории и археологии, само по себе также недостаточно для решения конкретно-исторического вопроса об образовании и развитии той или иной лингвистической семьи.

Только всестороннее изучение всей полноты имеющихся в распоряжении представителей ряда смежных наук материалов, произведенное на основе положений марксистской теории, даст подлинно научное разрешение проблемы образования и развития отдельных языковых семей, исключительно важной для понимания древних этапов истории языков и народов.

В опубликованной за последнее время советской лингвистической литературе содержатся первые опыты трактовки вопроса о происхождении языкового родства с позиций марксистского учения о нации и языке.[1]

В этих, пока еще немногочисленных и имеющих общий постановочный характер работах мы находим в основном пра-

[1] См. Б. В. Горнунг, В. Д. Левин и В. Н. Сидоров. Проблема образования и развития языковых семей. Вопр. языкозн., 1952, № 1. — Р. И. Аванесов. Учение о языке и диалекте в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, М., 1952. — Б. А. Серебренников. Проблемы сравнительно-исторического изучения языков и вопросы молдавского языкознания. Вопросы молдавского языкознания, М., 1953. — Б. В. Горнунг. К постановке вопроса об исторической общности индоевропейских языков. Изв. Отд. лит. и яз. АН СССР, 1950, вып. 5. — Г. Д. Санжеев. К некоторым вопросам исторического развития языков. Изв. Отд. лит. и яз. АН СССР, 1951, вып. 1 и др.

вильное общетеоретическое освещение проблемы образования и развития языковых семей в условиях доклассового и раннего классового общества. Одним из недостатков их является некоторая абстрактность постановки вопроса о „языке-основе“.

В целом работы эти значительно уточняют понимание проблемы происхождения и развития языковых семей, в трактовку которой было внесено столько путаницы представителями „нового учения“ о языке.

Следует надеяться, что развертывающиеся исследования вопросов языкового родства по материалам самых различных лингвистических групп (семей) будут иметь своим результатом более углубленное понимание закономерностей образования и развития языковых общностей, возникающих в различных исторических условиях. Конкретные особенности типа морфологической структуры, характерные для тех или иных групп родственных языков, также необходимо должны учитываться при такого рода исследованиях.

Как же возникло родство индоевропейских языков? Дать полный ответ на этот вопрос можно лишь на основе длительного и углубленного изучения лингвистических и историко-археологических данных. В настоящее время могут быть высказаны лишь некоторые предварительные соображения в связи с постановкой этой проблемы.

Происхождение индоевропейского языкового родства восходит к эпохе первобытно-общинного строя. Никаких конкретных исторических данных, хотя бы даже порядка этногонических легенд, относящихся к периоду древней общности, не сохранилось ни в письменной, ни в фольклорной традиции народов, говорящих на индоевропейских языках. Археологические исследования также еще не создали твердых точек опоры для исторической конкретизации проблемы происхождения индоевропейской лингвистической общности. Попытки отождествить культуру „древних индоевропейцев“ с теми или иными культурами эпохи неолита и датировать период индоевропейской общности на основе археологических данных до сих пор еще не дали положительных результатов. Следует надеяться, что будущие успехи археологии обогатят науку фактами древней истории, которые прольют свет и на эту область прошлого. Однако в постановке этой проблемы существует непреодоленный разрыв между лингвистическими фактами и материалами археологии, до сих пор чисто умозрительно соотносимыми с абстрагированным от языкового материала понятием индоевропейского единства.

Исключительно большое значение для изучения вопроса о происхождении родства индоевропейских языков имеет сравнительно-исторический анализ их словаря. Значительная часть древнейших элементов основного словарного фонда отдельных языков индоевропейской группы обнаруживает материальную (общие корни и формативы) и структурную (типы словообразования и словоизменения) общность. Местоимения, глаголы, обозначающие простейшие и в то же время существенно важные для жизни людей действия и состояния (сидеть, стоять, идти, лежать, есть, пить, жить, знать, умирать, быть, спать, видеть, слышать и т. п.), важнейшие качественные прилагательные, обозначения частей тела, различных явлений природы, названия животных, растений, термины родства, числительные, предлоги и т. п. — таков характер словарной близости, характеризующей индоевропейские языки, особенно в их древнейшем состоянии. В то же время общность целого ряда основных элементов словаря не составляет полного единства для всех языков, входящих в состав данной группы. Частичный характер черт сходства и различий в области как лексики, так и грамматики говорит о сложности исторических процессов развития индоевропейской языковой общности.

Для освещения историко-археологического аспекта данной проблемы анализ древних частей словаря индоевропейских языков имеет особенно большой интерес. Обозначения явлений природы, позволяющие наметить определенную картину географического ландшафта, характерную для периода древней исторической общности племен, носителей индоевропейских языков, названия растений, металлов, названия процессов и орудий производства, термины, связанные с родовым и племенным бытом, и т. п. — все это дает необходимую опору при использовании данных археологического порядка, которые сами по себе молчат об этнической принадлежности создателей определенных типов материальной культуры. Подобного рода лингвистический материал несомненно должен быть в полной мере разработан и учтен при совместной работе языковедов и историков над разрешением проблемы происхождения языковых семей.

В этом отношении может быть использован богатый лексический материал, собранный уже в лингвистической литературе под углом зрения реконструкции основных черт быта и культуры древнейших носителей индоевропейской речи.[1]

[1] В числе других работ можно назвать известный труд О. Шрадера „Сравнительное языкознание и древняя история" (O. Schrader.

Однако используя материал, собранный предшествующими исследователями данной проблемы, необходимо сохранять строго критическое отношение к их обобщениям и выводам, так как исследователи эти, не будучи марксистами, разделяли целый ряд ошибочных точек зрения по вопросам истории доклассового общества, характерных для представителей буржуазной социологии.

Использование словарных материалов для решения вопросов, связанных с проблемой происхождения и древних этапов развития индоевропейской группы языков, представляет значительную сложность. Необходимо тщательно учитывать все факторы, определяющие развитие словарного состава языка на базе его основного, заложенного еще в древности, словарного фонда. Прежде всего необходимо помнить о том, что словарный состав языка, как наиболее чувствительный к изменениям, находится в состоянии почти непрерывного изменения. Существующий словарь непрерывно пополняется новыми словами, возникающими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п.

Имея дело с фактами общности элементов основного словарного фонда отдельных индоевропейских языков, восходя-

---

Sprachvergleichung und Urgeschichte. 3-te Ausg., Jena, 1906), частично преодолевшего наивные заблуждения „лингвистической палеонтологии“ XIX в. и не разделявшего националистических установок Хирта и других немецких исследователей, отождествивших „индоевропейскую проблему“ с „германской“. Обширный материал собран также в работе Фейста (S. Feist. Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen. Berlin, 1913). Помимо этих работ, назовем также исследование ученика О. Шрадера — А. Неринга (A. Nehring. Studien zur indogermanischen Kultur und Urheimat. Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik, Bd. IV, 1936, стр. 10—229), в котором содержится интересная попытка определения территории первичного расселения носителей индоевропейской речи. Развивая мысли Шрадера, Неринг предполагает, что древние „индоевропейцы“ являлись создателями трипольской культуры и что область распространения этой культуры (правобережная Украина и непосредственно прилегающие к ней области юго-восточной Европы) была основным центром расселения индоевропейских племен. Гипотеза эта заслуживает внимания и нуждается в специальном изучении. Конечно, возможны и другие точки зрения по этому вопросу. См. также напечатанную в том же издании, что и работа Неринга, статью В. Бранденштейна, содержащую попытку реконструировать формы производства древних индоевропейцев на основе анализа лексических материалов (W. Brandenstein. Die Lebensformen der „Indogermanen“. Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik, Bd. IV, 1936, стр. 231—277).

щей к глубокой древности, нельзя забывать о том, что эти основные словарные элементы в течение многих тысячелетий служили базой для непрерывного роста и пополнения словарного состава как путем образования новых слов, так и путем развития значений слов, унаследованных от предшествующих эпох.

Со времени восстанавливаемой на основе языковых фактов индоевропейской общности каждая отдельная языковая группа и каждый отдельный язык прошли длительный путь самостоятельного развития, отразившего историю соответствующих народов, начиная от эпохи первобытно-общинного строя, через ряд последовательных этапов развития классового общества. Не может быть сомнений в том, что словарный состав индоевропейских языков претерпел за это время очень большие изменения. Поэтому исследование основных элементов древнего индоевропейского словарного фонда и использование соответствующих фактов для выводов общеисторического порядка должно считаться с теми изменениями значений слов, которые могли происходить в процессе исторического развития каждого отдельного языка. Лишь при соблюдении этого условия, а также при учете относительной хронологии типов словообразования факты словарной общности могут быть использованы как база для выводов исторического порядка.

Вопрос об относительной хронологии отдельных типов словообразования, существенно важный для исторического анализа древнего словарного фонда индоевропейских языков, непосредственно подводит нас к проблеме основных элементов грамматического строя, характеризующих индоевропейскую языковую общность.

При рассмотрении конкретных особенностей грамматического строя, составляющих определяющие признаки данной лингвистической группы, нам представляется целесообразным подразделить языковые факты на три разряда.

К первому и основному разряду (первому в отношении удельного веса входящих сюда фактов, но не с точки зрения хронологии) мы отнесем преобладающую массу грамматического материала (формы словообразования и словоизменения), которая, собственно, и определяет унаследованную общность морфологической структуры, характерную для древних индоевропейских языков. Несмотря на значительное число различий в образовании отдельных форм, а также во многих случаях при лишь частичном характере соответствий между

индоевропейскими языками, в целом этот разряд фактов свидетельствует о несомненной общности основных элементов их грамматического строя. К данному разряду принадлежат: древняя система именного основообразования (включая систему основообразующих суффиксов в ее развитом виде), древняя система глагольного основообразования, преобладающая масса форм склонения (падежные окончания единственного, двойственного и множественного числа для различных типов именных основ), древние формы спряжения глаголов (система первичных и вторичных личных окончаний, противопоставление основ настоящего времени, аориста и перфекта, формы активного и медиального залогов), местоимения (личные, указательные, вопросительные), некоторые предлоги, а также основные типы структуры простого предложения.

Хотя отдельные древние индоевропейские языки и различаются между собой по целому ряду моментов, однако эти различия имеют частный (разумеется, существенный для истории каждого из языков) характер в сравнении с общей массой фактов материальной и структурной близости. Это позволяет говорить о грамматической структуре, общей в своих основных чертах для всех индоевропейских языков в их древнейшем состоянии. Путем развертывания, переоформления, переосмысления основных структурных элементов, унаследованных от древности, совершается развитие грамматического строя отдельных языков индоевропейской группы на протяжении многих эпох.

Выделяемая в этот разряд обширная сумма фактов и составляет ту специфическую для индоевропейских языков флексию, на основе изучения которой выросла сравнительно-историческая грамматика данной языковой семьи. Главные достижения классического сравнительного языкознания XIX в. связаны со всесторонним описанием богатой системы общих грамматических категорий и флективных форм отдельных индоевропейских языков, объединяемых древним тождеством как материала, так и структуры.

При определении принадлежности того или иного языка к индоевропейской группе специфическая для нее флексия словоизменения является первым и основным критерием.

Однако упорные попытки языковедов реконструировать на базе подобных фактов абсолютно единую структуру так называемого „праязыка“ не завершились успехом, так как в образовании отдельных форм по различным языкам уже в древности существовали очень значительные различия.

К следующему разряду (который хронологически займет, однако, первое место) мы отнесем наиболее древние пласты индоевропейской морфологии, вскрываемые лишь с помощью анализа архаичной структуры основообразования. Этой области фактов посвящены новейшие исследования состава корневых элементов в их соотношении с первичными суффиксами и „распространителями“, а также исследования древнейших закономерностей чередования гласных (аблаута). В результате работы над материалами подобного рода вырисовывается картина еще более далекого прошлого грамматического строя индоевропейских языков, для которого было характерно отсутствие той выработанной системы флексий, которая составляет историческую специфику данной языковой группы. С этим непосредственно связан коренной для индоевропейской сравнительной грамматики вопрос о конкретных путях, по которым совершалось развитие грамматического строя этих языков от первоначально примитивного состояния.

На современном уровне сравнительно-грамматического изучения индоевропейских языковых материалов вырисовываются пока лишь самые общие моменты морфологической структуры, предшествовавшей выработке флективных форм словоизменения и основных типов словообразования. Речь пока может идти лишь о некоторых структурных схемах образования основ.

Однако, хотя добываемые путем морфологического анализа схемы и не дают возможности реконструировать древнейший индоевропейский грамматический строй во всем его конкретном своеобразии, исследования подобного рода важны как существенная предпосылка, необходимая для изучения флективной морфологии, которая составляет непосредственную основу исторического развития грамматического строя отдельных индоевропейских языков.

Обратимся теперь к третьему (и в хронологическом отношении) разряду фактов общности этих языков в области грамматики. В числе сходных черт, характерных для грамматического строя языков индоевропейской группы, особое место занимают факты параллельного развития аналогичных грамматических категорий и форм путем развертывания материально тождественных элементов на основе общих внутренних закономерностей.

Некоторая часть фактов этого рода непосредственно восходит к периоду существования исторической общности пле-

менных языков (см. ниже), к которой мы относим основную часть материалов, говорящих о единстве древней индоевропейской флективной морфологии. Такие факты трудно отграничить от множества явлений, общих для ряда индоевропейских языков, но обязанных своим происхождением последующему самостоятельному развитию каждого из них на основе развертывания унаследованных от периода общности элементов.

К этому разряду мы отнесем тенденцию к закреплению отдельных групп именных основ за определенным грамматическим родом (например основ на *-ā-* — только за женским, основ на *-o-* — только за мужским и средним, полностью осуществленную уже в древнеиндийском и древних германских языках), образование глагольных форм будущего времени, инфинитивов, развитие сходных для ряда языков описательных глагольных конструкций, образование местоименного типа склонения прилагательных (в славянских и германских языках) и множество других фактов как частного, так и более общего характера.

Характерное для исторических периодов существования индоевропейских языков сходство в развитии целого ряда синтаксических конструкций (например абсолютных причастных конструкций с различными падежами — родительным, отложительным, дательным, местным) также можно отнести за счет параллельного развития на базе общности основных элементов грамматического строя и связанных с ними конкретных закономерностей внутреннего развития.

При анализе сходных грамматических категорий и форм, развившихся в отдельных индоевропейских языках в позднейшие эпохи, наряду с исторически обусловленными чертами сходства отчетливо выступают и существенные различия. Существование различий несомненно уже для того периода древней общности, к которой восходит основная масса флективных форм словообразования и словоизменения. Но с ходом последующего исторического развития отдельных индоевропейских языков расхождения в использовании исходно общего грамматического материала становятся более значительными.

Факты параллельного развития аналогичных грамматических форм составляют уже область истории каждого конкретного языка. При изучении их сравнение со сходными новообразованиями в родственных языках имеет очень большое значение. Но необходимой предпосылкой такого сравнения

является обращение к тому грамматическому материалу, который при всех различиях частного порядка составляет общую, исходную для исторического развития этих языков структуру. Так, например, изучая развитие категории причастий в отдельных индоевропейских языках и сопоставляя сходные типы образования описательных глагольных времен, мы не можем исторически решать эту проблему, игнорируя вопрос о морфологическом строении и семантике древних индоевропейских причастных форм, которые для ряда языков засвидетельствованы уже в сильно измененном виде и реконструируются лишь с помощью сравнительно-исторического анализа.

Этим самым мы возвращаемся к тем фактам, которые были выделены нами в первый и основной разряд общеиндоевропейских явлений в области грамматики, к той системе флективных форм словообразования и словоизменения, которые составляют непосредственную основу исторического развития грамматического строя отдельных языков индоевропейской группы.

При попытках разрешения вопроса об исторических условиях существования индоевропейской языковой общности представляется целесообразным ориентироваться прежде всего именно на этот основной разряд фактов индоевропейской сравнительной грамматики, так как именно они имеют первоочередное значение для изучения истории конкретных языков, которая собственно и составляет предмет языковедной науки.

Кроме того, обилие материалов и относительно более достоверный исторический характер реконструкции основных элементов древнего грамматического строя, непосредственно предшествовавшего развитию грамматического строя отдельных индоевропейских языков в последующие периоды, представляет более твердую опору для выяснения исторических условий существования языковой общности и ее характера, чем результаты морфологического анализа корневых элементов. Правда, анализ строения древних индоевропейских основ и корней уводит в еще более далекие глубины истории; но, однако, реконструкции в этой области по необходимости имеют характер довольно абстрактных формул, на основании которых трудно представить себе конкретные очертания индоевропейского языка в древнейший период его развития.

Мы уже говорили о том, что при всей общности основных элементов грамматической структуры многие формы, восстанавливаемые путем исторического сравнения материала

индоевропейских языков, не поддаются сведению к полному единству морфологической системы одного языка. Можно привести целый ряд конкретных примеров расхождений и частичных схождений между отдельными языками и группами языков.

При несомненной материальной общности основных элементов, составляющих систему местоимений в индоевропейских языках, различия в образовании отдельных форм и в их изменении по падежам очень велики. Относительно форм личных местоимений Мейе прямо заявлял, что они „настолько различны в различных языках, что нет возможности восстановить индоевропейское состояние".[1]

Сравним формы именительного падежа первого лица в единственном числе: совпадение в фонетическом составе и морфологическом строении обнаруживают только лат. ego, греч. ἐγώ, гот. ik, арм. es (< *ec), лит. àš (èš); славянские формы (ст.-слав. **азъ**), а также хеттское uk отличаются огласовкой начального элемента; древние индоиранские языки имеют специфическую форму с придыхательным согласным (*gh* и развившиеся из него звуки) — санскр. ahám, авест. azəm, др.-перс. adam. Для остальных лиц и чисел также характерны значительные расхождения в образовании форм по отдельным языкам.

Однако, несмотря на все различия, в склонении личных местоимений во всех индоевропейских языках отчетливо выступает противопоставление одних и тех же самостоятельных основ для именительного и для косвенных падежей. Рядом с вышеприведенными формами именительного падежа первого лица в единственном числе повсеместно стоят образования от корня *em-, *m-. Ср., например, формы винительного падежа: греч. ἐμέ, др.-инд. mā, mām, авест. mā, mąm, ст.-слав. **мѧ**, др.-англ. mē и т. д.; так же с тождественной по различным языкам энклитической частицей: греч. ἐμέγε, хетт. amuk, гот. mik и т. д., в латинском с частицей *-d*: mēd и. д. Аналогична картина и для первого лица множественного числа, которое для именительного падежа обнаруживает значительные расхождения по языкам (др.-инд. vayam, авест. vaēm, хетт. weš, гот. weis, с другой стороны — лит. mẽs, ст.-слав. **мы**, арм. mekh, и т. д.); в косвенных же падежах повсеместно используются, хотя и с сильными структурными различиями, образования от корня *nō(s)-, *n̥(s)-. В греческом и латинском языках

---

[1] А. Мейе. Введение. . ., стр. 338.

формы именительного падежа образованы также от этой косвеннопадежной основы (ср. лесб. ἄμμες из *n̥s-mes и др., лат. nōs).

При всем различии форм склонения личных местоимений по отдельным языкам обнаруживаются, однако, отчетливые совпадения, которые несомненно имеют древнее происхождение и вряд ли могут быть отнесены за счет параллельных новообразований. Ср. формы родительного падежа первого лица: авест. mana, ст.-слав. **мене**; формы дательного падежа второго лица единственного числа: авест. taibyā, ст.-слав. **тебѣ**, др.-прусск. tebbei, лат. tibī, умбр. tefe и т. д.

Значительную близость и в то же время существенные различия имеют формы возвратного местоимения, образующиеся по всем индоевропейским языкам от общего корневого элемента *sew-, *sw-(*s-).

Системы указательных местоимений в отдельных древних индоевропейских языках построены на основе развертывания материально тождественных элементов; некоторые группы языков обнаруживают в этом отношении поразительное сходство всей парадигмы склонения, что никак не может быть объяснено независимым параллельным развитием. Ср., например, склонение единственного числа мужского рода: имен. п. — др.-инд. sa, греч. ὁ (< *so), гот. sa; род. п. — др.-инд. tá-sya, греч. гомер. τοῖο (< *tosio), гот. þis; вин. п. — др.-инд. tám, греч. τὸν, гот. þana и т. д. Но в целом, хотя все местоименные основы отдельных языков имеют несомненные этимологические связи в пределах индоевропейской общности, каждый из языков отличается своеобразием в составе и образовании употребляемых в нем местоименных форм.

Аналогичную картину близкого сходства и существенных различий дает именное склонение. При единстве системы образования именных основ для древних индоевропейских языков характерно наличие одних и тех же типов склонения. Что касается образования отдельных падежных форм единственного, двойственного и множественного числа, то здесь, несмотря на возможность установить этимологические связи почти для любой формы, существование сильных различий не дает оснований для реконструкции единой во всех своих элементах системы форм.

Наибольшую общность по отдельным индоевропейским языкам в их древнейшем состоянии обнаруживают образования форм именительного падежа единственного числа для различных основ, в особенности форма на -s; общность обнаружи-

вают также формы винительного падежа единственного числа с окончанием на носовой согласный, формы винительного падежа множественного числа с окончанием *-ns*, формы родительного падежа единственного числа с согласным *-s* в окончании и т. д. Для некоторых языков эти формы исторически уже не засвидетельствованы, а восстанавливаются лишь путем сравнительно-грамматического анализа, так, например, окончание именительного падежа *-s* для славянских языков.

Формы именительного, винительного, а частично и родительного падежей составляют наиболее единообразную часть индоевропейской падежной системы. Зато формы таких падежей, как дательный, творительный, местный, дают наибольшее число расхождений по отдельным языкам, затрудняя реконструкцию единой исходной схемы. Напомним о таком разительном различии, как образование форм косвенных падежей множественного числа при помощи форманта *-bh-* в одной части индоевропейских языков (индийских, иранских, италийских, кельтских, армянском) и форманта *-m-* в другой (славянских, балтийских, германских). Стоящая вне регулярной парадигмы древнегреческого склонения гомеровская форма на -φι(ν), служащая и для единственного и для множественного числа, притом с различными падежными значениями, подтверждает точку зрения о наречном происхождении падежных образований на *-bh-*.

Кроме этого, в образовании форм косвенных падежей различных чисел, особенно для творительного падежа единственного числа, существуют настолько сильные расхождения между отдельными языками, что исследователи в ряде случаев отказываются от реконструкции общего исходного состояния.[1]

Наряду с различиями в образовании форм косвенных падежей древние индоевропейские языки сильно расходятся между собой в отношении количества этих падежей и их значения. Многопадежным языкам типа древнеиндийского, славянских, литовского противостоят языки, в которых число падежей колеблется от четырех до пяти (в древнегерманских языках) или равняется четырем, не считая звательного (древнегреческий язык). При этом значения таких падежей, как греческий или германский дательный, греческий родительный, очень многообразны.

---

[1] Ср.: А. Мейе. Введение..., стр. 304.

В известной мере это явление можно объяснить исчезновением отдельных падежных форм и соответственно переносом их значений на другие формы. Но этим не до конца объясняется реальное своеобразие падежных систем отдельных индоевропейских языков, не объясняются те различия грамматического строя, которые наряду с единством основных элементов структуры восходят к эпохе исторической общности.

Не будем далее увеличивать число примеров, говорящих о том, что близкое морфологическое сходство, характерное для древних индоевропейских языков и объяснимое только с точки зрения их общего происхождения, не исключает существования значительного числа различий, касающихся конкретного оформления отдельных грамматических категорий.

Аналогичную картину тождества целого ряда важнейших элементов и вместе с тем многочисленных расхождений дает также сравнение восходящего к древности основного словарного фонда отдельных индоевропейских языков.

Сравнительный анализ древних элементов грамматического строя индоевропейских языков и их словарного фонда приводит нас к установлению исходного для их исторического развития состояния, которое характеризовалось богатой и разнообразной системой флективных форм словообразования и словоизменения и довольно богатым и развитым словарем. Однако общность значительной части грамматических форм и словарных элементов не дает все же основания восстанавливать для периода, непосредственно предшествовавшего историческому развитию отдельных индоевропейских языковых групп и самостоятельных языков, структуру одного языка в качестве исходного состояния. Различия, составлявшие уже в древности наряду со сходством своеобразие отношений между языками внутри индоевропейской группы, заставляют нас исходить, в качестве отправной точки для изучения проблемы индоевропейского лингвистического единства на основе конкретных языковых фактов, от предположения о существовании группы очень близко родственных, но тем не менее самостоятельных языков. Каждый из этих языков, несомненно объединяемых единством происхождения от общей основы, обладал в период общности, восстанавливаемой с помощью сравнительно-исторического анализа, своим собственным самостоятельным грамматическим строем и основным словарным фондом. Этим и объясняются

расхождения в языковой структуре, унаследованной каждым индоевропейским языком от древности, не заслоняющие, однако, близкого их родства.

Каковы же были исторические условия существования этой лингвистической общности? Такие древние памятники, как индийские Веды (в их наиболее архаических частях) и иранская Авеста, свидетельствуют об эпохе первобытнообщинного строя, переживавшейся индоиранскими племенами в период создания этих ритуальных песнопений. Анализ ведийских гимнов, проведенный на основе марксистского учения об обществе, показал, что древний ритуал так называемой „яджны" непосредственно отражал коллективный способ производства и потребления, существовавший в первобытной общине ариев.[1] Ритуальные действия и слова первоначально служили для передачи опыта в организации трудового процесса, доставлявшего общине материальные блага.

Древнейшие сведения о большинстве других народов, носителей индоевропейской речи, говорят уже о периоде разложения первобытно-общинного строя.

Есть основания полагать, что на близко родственных индоевропейских языках, восстанавливаемых с помощью сравнительно-исторического метода, говорили родственные племена. Эти племена жили в условиях первобытно-общинного строя и не успели еще в то время расселиться по тем отдаленным друг от друга областям Европы и Азии, где исторически засвидетельствовано существование народов, явившихся их потомками. Конечно, период существования этих племен мог длиться не одну тысячу лет, в течение которых генетически связанные между собой племенные языки непрерывно развивались и мало-помалу расходились.

Состояние речи, реконструируемое путем сопоставления материалов исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, отнюдь не являлось примитивным.

Основная масса фактов грамматики и словаря, на которые опирается сравнительно-историческое их исследование, свидетельствует о значительном уровне развития грамматического строя и словарного состава. Об этом говорит богатство общих для индоевропейских языков древних грамматических форм, богатство и разнообразие общих лексических элементов.

---

[1] См.: С. А. Данге. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. Перевод. М., 1950.

Индоевропейские языки уже в период своего древнего единства обладали выработанной системой выражения видо-временных категорий (длительное настоящее время, аорист, перфект), целым рядом образований причастного характера, большим числом формантов, служивших для образования абстрактных существительных. К глубокой древности относятся, по всей вероятности, основы создания таких структурно единых лексических гнезд, как широко представленные в различных индоевропейских языках производные от корня *men- ‘думать’: лит. mìni, ст.-слав. **мьнитъ**, др.-инд. mányate ‘думает’, греч. μαίνεται ‘безумствует’, перфектные формы лат. meminī ‘помню’, греч. гомер. μέμονα ‘имею намерение’, др.-инд. вед. mamné ‘думаю’, гот. man ‘думаю’, лат. mēns, mentis ‘разум’, ‘дух’, др.-инд. matiḥ ‘мысль’, ст.-слав. **па-мѧть**, лит. at-mintìs, гот. ga-munds ‘память’; производные от корня *g^{w}eyə-, *g^{w}yē/ō- ‘жить’: др.-инд. jīváti, ст.-слав. **живетъ**, лат. uīuit ‘живет’, др.прусск. giwa ‘живу’, греч. аорист ἐβίων ‘жил’, прилагательные — др.-инд. jīvaḥ, ст.-слав. **живъ**, лит. gývas, валлийск. byw, лат. uīuus ‘живой’, абстрактные существительные — греч. βίος ‘жизнь’, βίοτος ‘средства к жизни’, ‘жизнь’, ср. ст.-слав. **животъ**, лит. gyvatà, валлийск. bywyd ‘жизнь’; производные от корня *mer- ‘умирать’: др.-инд. mriyáte и márate, авест. miryeite ‘умирает’, ст.-слав. **мьрѫ**, лит. miršťu, арм. meřanim, лат. morior ‘умираю’, прилагательные — др.-инд. mṛtáḥ, лат. mortuus, ст.-слав. **мрътвъ** ‘мертвый’, греч. βροτός ‘смертный’, существительные — др.-инд. mṛtiḥ, ст.-слав. **съ-мрьть**, лат. mors, mortis ‘смерть’, и. т. д.

Можно предполагать, что для устанавливаемого на основе лингвистического материала периода индоевропейской общности было характерно существование уже не примитивных по уровню своего развития родовых языков, но целого ряда племенных языков, объединенных единством происхождения.

„На североамериканских индейцах, — пишет Ф. Энгельс, — мы видим, как первоначально единое племя постепенно распространяется по огромному материку; как племена, расчленяясь, превращаются в народы, в целые группы племен, как изменяются языки, становясь не только непонятными один для другого, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства. . .“.[1]

---

[1] Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, М., 1948, стр. 238.

В приведенном высказывании Ф. Энгельса термин „народ“ употребляется, как мы видим, в значении группы племен, объединенных единством происхождения и говорящих на генетически родственных языках, развившихся из одного общего языка-предка. В этом смысле, т. е. в смысле общности происхождения, Энгельс пользуется и термином „диалект“, говоря о языках родственных племен.

Совершенно ясно, что в эпоху первобытно-общинного строя, к которой относится существование родственных индоевропейских племен, не могло существовать сложившихся народностей; следовательно не могло существовать и единого индоевропейского „народа“ в том значении, которое придавало этому термину буржуазное языкознание, антиисторически переносившее в далекое прошлое отношения классового общества.[1]

Что касается племенных диалектов, то отношение их можно мыслить, вслед за Энгельсом, только как генетическое родство, основанное на общем происхождении от одного и того же языка, но отнюдь не по образцу и подобию диалектов, существующих позднее в классовом обществе наряду с единым общим языком народности, нации. С разделением племени на ряд родственных племен образовывался и ряд новых родственных, но самостоятельных племенных языков, общность которых определялась лишь общностью происхождения, ибо народностей в эту историческую эпоху еще не существовало.

---

[1] В этом отношении очень интересно разъяснение употребления термииа „народ“ (имеется в виду „народность“), сделанное Л. Морганом, которое привел К. Маркс в своем конспекте книги Л. Моргана „Древнее общество“, подчеркнув наиболее важные положения: „Термин «*народ*» применяется ко многим индейским племенам, несмотря на их незначительную численность, из-за *исключительного обладания определенным диалектом и территорией*. «*Племя*» и «*народ*» не являются эквивалентами в строгом смысле; при *родовых учреждениях* народ возникает только тогда, когда *племена*, объединенные одним управлением, *сливаются в единое целое*, как четыре афинских племени в Аттике, три дорийских племени в Спарте, три латинских и сабинских племени в Риме. *Союз* предполагает *наличие независимых племен, занимающих отдельные территории*; *слияние* же, представляя собою более высокий процесс, *объединяет племена на одной общей территории*, хотя бы *тенденция к локальному разделению по родам и племенам* продолжала существовать. *Союз* племен является ближайшим подобием *народа*“ (Архив Маркса и Энгельса, т. IX, 1941, стр. 78—79).

Во избежание недоразумений с употреблением лингвистического термина „диалект" в двояком значении следует, как нам кажется, пользоваться, говоря о племенной эпохе первобытно-общинного строя, в основном термином „племенной язык". Этот термин совершенно четко выражает отношения эпохи, когда основным общественным объединением было племя. Энгельс, анализируя родовой строй у североамериканских индейцев, указывает, что дальше объединения в племя большинство их не пошло, за исключением создания ирокезского племенного союза, который означал уже начало подрыва родовой организации. „Племя оставалось границей человека как по отношению к чужаку из другого племени, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны".[1] „Все, что было вне племени, было вне закона".[2]

И. В. Сталин, говоря об общенародном характере языка во все эпохи общественного развития, пользуется, в применении к эпохе первобытно-общинного строя, только терминами „языки родовые" и „языки племенные". При этом он дает четкую марксистскую периодизацию развития языков: „Что касается дальнейшего развития от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным, — то везде на всех этапах развития язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения".[3]

Конечно, как зародыш образования новых племенных языков могли и должны были развиваться диалектные различия в пределах единого языка племени. Но эти различия носили диалектный характер только до образования новых самостоятельных племен, каждое из которых обладало уже своим собственным особым языком, хотя различия в грамматическом строе и словарном составе этих близко родственных языков могли быть и незначительны.

Итак, для периода индоевропейской языковой общности, восстанавливаемой на основе сравнения исторически засвидетельствованного грамматического строя и словарного фонда

---

[1] Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 240.

[2] Там же.

[3] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 12.

отдельных индоевропейских языков в их древнейшем состоянии, мы можем предполагать наличие целого ряда близко родственных языков, на которых говорили племена, связанные общностью происхождения и еще не успевшие разойтись по обширной территории позднейшего расселения народов, говорящих на индоевропейских языках.

Сложность и пестрота частичных схождений и расхождений в области грамматики, фонетики и словаря, характеризующие соотношение отдельных лингвистических групп в составе индоевропейской семьи языков, говорят о том, что уже в предполагаемую нами эпоху связи между отдельными племенными языками и группами племенных языков не были равнозначны по степени родства. Процессы новообразования племен и племенных языков путем разделения не имели, конечно, характера единовременного акта, а совершались на протяжении не одного тысячелетия, что имело своим результатом сложность отношений родства между отдельными звеньями индоевропейской языковой общности. Имели, конечно, место и случаи слияния ослабевших племен с очень близко родственными языками, аналогичные отмечаемым Морганом и Энгельсом для североамериканских индейцев. Образование союзов родственных племен, знаменующее уже начало разложения первобытно-общинного строя, вряд ли можно считать характерным для той отдаленной эпохи, к которой относилось существование племен, носителей древнего индоевропейского языкового состояния, хотя в отдельных случаях эта возможность не исключается. Во всяком случае нет никаких оснований говорить о племенном союзе как исторической основе родства индоевропейских языков, ибо процессы образования племенных союзов у ряда славянских, германских, греческих и т. д. племен совершаются уже фактически на глазах истории.

При современном уровне наших лингвистических и археологических сведений относительно эпохи древней индоевропейской языковой общности материалов для конкретно-исторического решения всех подобного рода вопросов еще недостаточно.

Итак, сравнительно-историческое изучение древнего родства индоевропейских языков подводит нас к длившейся не одно тысячелетие эпохе, в течение которой совершались процессы новообразования родственных племенных языков и языковых групп путем разделения, а в некоторых случаях и путем соединения близко родственных племен.

Хотя конкретные этапы и особенности этого процесса в настоящее время не могут быть уточнены ввиду отсутствия необходимых исторических данных, можно, однако, предполагать, что первоначальная область, где происходило образование и развитие племен с индоевропейской речью и откуда они впоследствии расселялись, представляла собой ограниченную территорию, обладавшую благоприятными условиями для развития производства и роста народонаселения. Конспектируя труд Л. Моргана „Древнее общество“, К. Маркс подчеркнул следующее положение: „Для того чтобы какая-либо область сделалась исходным пунктом расселения вследствие постепенного образования избытка народонаселения, требовались особо благоприятные условия для добывания средств к существованию“.[1] Морган устанавливает для Северной Америки всего три таких „естественных центра“. В частности, говоря о долине реки Колумбии, которая явилась „колыбелью ганованской семьи племен“, он указывает, что это „самая замечательная страна на земле по разнообразию и обилию средств существования, до того как стало известно возделывание маиса и других растений. Благодаря соединению леса и прерии страна была необыкновенно богата дичью. Хлебный корень — камаш — рос в большом количестве в прерии; однако в этом отношении эта страна не имела преимуществ перед другими областями. Что было ее отличительной особенностью, — это неисчерпаемый запас лососей в р. Колумбии и других реках побережья“.[2]

Решение вопроса относительно первоначальной территории, на которой совершались длительные процессы образования племен, носителей древней индоевропейской речи, может составить особенно благоприятное поле для применения совместных усилий языковедов и археологов. Тщательное исследование древних общих элементов в лексике индоевропейских языков, охватывающих обозначения явлений природы, особенностей географического ландшафта, растений, животных (диких и домашних), орудий труда, предметов питания и т. п., с опорой на изучение памятников древней материальной культуры даст возможность определить ту область, где в тече-

---

[1] Архив Маркса и Энгельса, т. IX, 1941, стр 82.
[2] Там же.

ние длительного периода развивались племена, говорившие на близко родственных друг другу древних индоевропейских языках, и откуда они постепенно расселялись по обширным пространствам Европы и Азии. Эта область должна была, повидимому, обладать достаточно благоприятными условиями для образования большой группы родственных племен.

Следует пожелать, чтобы при дальнейшей совместной работе археологов и языковедов над изучением вопроса об исторических условиях возникновения индоевропейской лингвистической общности, больше внимания уделялось показаниям древних частей словарного состава индоевропейских языков. В этом отношении особенно большое значение имеют такие факты, как общность названий для родового поселения, ср. авест. vīs-, вед. viç, ст.-слав. **вьсь**, а также др.-инд. veçaḥ, греч. ϝοῖκος 'дом', лат. vīcus 'деревня', 'квартал (родовой) в городе', гот. weihs 'деревня'; ср. также др.-инд. viçpátiḥ, авест. vīspaitiš 'родовой старейшина'; очевидно, таково было и первоначальное значение лит. vẽšpats 'господин'. Характерна также гомеровская форма τριχαί(ϝ)ικες 'разделенные на три рода'.

Интерес вызывает наличие в ряде индоевропейских языков общих названий для понятия „род", образованных от корня *gen- 'рождать': с основой на -s- — греч. γένος, лат. genus, др.-инд. jánaḥ (род. jánasaḥ), с основой на *-io-* (*-ja-*) — гот. kuni и т. д.

Для выяснения вопроса о характере родовых отношений у древних индоевропейских племен большой интерес имеет анализ терминов родства, обнаруживающих значительную общность по всем индоевропейским языкам. Ср. др.-инд. pitár- 'отец', греч. πατήρ, лат. pater, др.-ирл. athir, гот. fadar, арм. hayr, тох. **A** pācar, **B** pātar.

Др.-инд. mātár- 'мать', греч. дор. μᾱ́τηρ, лат. māter, ст.-слав. **мати (матер-е)**, др.-ирл. māthir, др.-исл. móđer, арм. mayr, тох. **A** mācar, **B** mātar (но алб. motër 'сестра').

Др.-инд. bhrātar- 'брат', ст.-слав. **братръ, братъ**, лат. frāter, др.-ирл. brāthir, гот. brōþar, арм. ełbayr, тох. **A** pracar, **B** procer, греч. φρᾱ́τωρ, φρᾱ́τηρ 'член фратрии'.

Др.-инд. svásar- 'сестра', ст.-слав. **сестра**, лит. seser-, лат. soror, др.-ирл. siur, гот. swistar, арм. khoyr.

Др.-инд. sūnúḥ 'сын', ст.-слав. **сынъ**, лит. sūnùs, гот. sunus, греч. υἱύς, υἱός, тох. **A** se, **B** soyä.

Др.-инд. duhitár- 'дочь', греч. θυγάτηρ, ст.-слав. **дъшти (дъштер-е)**, лит. dukter-, арм. dustr, гот. dauhtar, тох. **A** ckācar, **B** tkācer.

Греч. νυός 'сноха', арм. nu, др.-инд. snuṣā́, ст.-слав. **снъха**, англосакс. snoru, лат. nora, nurus.

Др.-инд. çváçuraḥ 'свекор', авест. xvasurō, лит. šẽšuras, греч. гомер '(Ϝ)εκυρός, русск. **свекор**, лат. socer 'тесть', алб. vjerr 'свекор', 'тесть', др.-в.-нем. swehur 'свекор', swāgur 'деверь'.

Др.-инд. çvaçrū́ḥ 'свекровь' ст.-слав. **свекры**, лат. socrus, др.-в.-нем. swigar-, греч. '(Ϝ)εκυρᾱ́, арм. skesur, гот. swaihro, валлийск. chwegr, алб. vjérrë.

Др.-инд. devár- 'деверь', ст.-слав. **дѣверь**, лит. dẽveris, греч. δᾱήρ, лат. leuir, арм. taygr.

Греч. γάλως 'золовка', лат. glōs, др.-русск. **золва, золовка**.

Др.-инд. yā́tar- 'жена брата мужа', ст.-слав. **ıатры**, лит. jenter-, гомер. множ. ч. εἰνάτερες, лат. ianitrīcēs.

Др.-инд. vidhávā 'вдова', авест. viδava, ст.-слав. **въдова**, др.-прусск. widdewū, лат. uidua, ирл. fedb, гот. widuwo, алб. ve.

Термины эти в основном свидетельствуют о наличии патриархального рода в период древнего исторического единства индоевропейских племен. Однако в некоторых языках сохранились также термины, связанные с материнским родом: ст.-слав. **оуи**, др.-прусск. awis 'брат матери', ирл. níae 'сын сестры', necht 'дочь сестры', др.-исл. systrungar 'дети сестер', swiljar 'мужья сестер' и т. д. С такого рода фактами интересно сопоставить исторические свидетельства относительно пережитков материнского рода у древних индийцев, германцев и кельтов. Все это говорит о том, что процессы образования и развития родственных племен, носителей древней индоевропейской речи, совершались на протяжении длительного периода, охватывавшего как эпоху матриархальных, так и эпоху патриархальных родовых отношений.

Первостепенную важность имеет вопрос о древних производственных терминах, в частности о терминах, связанных с земледелием, общих для значительной части индоевропейских языков, например, общий корень в глаголах, означающих „пахать": ст.-слав. **орıж**, лит. ariù, гот. arja, ирл. airim, лат. arō, греч. ἀρόω 'я пашу'; также образованные от этого корня названия „сохи", „плуга": ст.-слав. **рало** (< *ordlo), чеш. radlo, лит. árklas, греч. ἄροτρον, лат. arātrum, ирл. arathar; ср. также греч. ἄρουρα, лат. aruum 'пашня'.

От корня *mel- с древних пор существуют глаголы со значением „молоть при помощи жернова" (др.-инд. grā́van-, ст.-слав. **жръны**, лит. girnos, ирл. brō, арм. erkan 'жернов'; ср. также

гот. qairnus 'мельница'): ст.-слав. мелѭ, ирл. melim, лит. malù, лат. molō, гот. mala (инф. malan); ср. хетт. malanzi 'мелют'. Арм. malem имеет значение „раздавливаю", видимо более древнее; это же более общее древнее значение присуще и образованному от того же корня, но с нулевой ступенью огласовки санскр. mṛṇāti 'он раздавливает'; ср. также гот. gamalwjan 'растирать', 'раздроблять'. В древнегреческом языке единственное образование, связанное с корнем *mel-, — это существительное μύλη (нулевая огласовка корня) 'мельница'; в значении же „молоть" в греческом выступает образованное от другого корня ἀλέω, ср. арм. ałam 'мелю' (с помощью жернова).

Подобного рода семантические различия, характерные для образований от общего корня по отдельным индоевропейским языкам, а также отсутствие тех или иных лексических элементов в некоторых из них (так, например, в индоиранских языках не представлены образования, соответствующие ст.-слав. **орѭ**, лат. arō и т. п. 'пахать') имеют несомненный интерес для исследования вопроса о конкретных условиях исторического развития и путях расселения древних индоевропейских племен, о тех связях, которые существовали в эпоху предполагаемой общности между их отдельными группами.

В ряде индоевропейских языков существуют обозначения понятия „сеять" от общего корня *sē-: ст.-слав. **сѣѭ**, лит. séju, гот. saia, лат. serō (с удвоением); также производные существительные с основой на *-n-*: ст.-слав. **сѣмѧ**, ст.-прусск. semen, лат. sēmen 'семя'; ср. лит. sémenes 'посев', ирл. (с другим суффиксом) síl, и т. д. Общим для ряда языков является обозначение „зерна": ст.-слав. **зрьно**, лат. grānum, ирл. gran, гот. kaurn.

Древние названия хлебных злаков дают частичные совпадения по индоевропейским языкам. Ср. др.-инд. yávaḥ, авест. yavō 'ячмень' (но и другие хлебные растения), лит. javaĩ 'зерновой хлеб', греч. гомер. ζειαί 'полба'; греч. πυροί, лит. pūrai 'пшеница', ст.-слав. **пыро** 'полба' и 'просо', и т. п.

Факты такого рода представляют ценный материал для исторического исследования проблемы индоевропейской языковой общности, но для использования их, конечно, нужны дополнительные свидетельства со стороны археологии и исторической геоботаники.

Обилие общеиндоевропейских терминов, связанных со скотоводством, также дает необходимую лингвистическую опору для изучения этого вопроса.

Остановимся еще на одном вопросе, который не может не возникать в связи с изложенной выше трактовкой родства индоевропейских языков.

Основная масса материалов сравнительной грамматики заставляет нас предполагать в качестве исходного для исторического развития индоевропейских языков состояния существование целого ряда близко родственных племенных языков, которые при общности значительной части элементов своей структуры, отличались, однако, друг от друга некоторыми своеобразными чертами в области грамматического строя, словарного состава и фонетики. Близкое родство этих племенных языков не может быть объяснено иначе, как общностью их происхождения от общего еще более древнего языка.

В связи с этим естественно встает вопрос о языке-предке, который явился отправной точкой для развития всей группы племенных языков эпохи индоевропейской общности. Этот вопрос в свою очередь имеет как лингвистический аспект (характер языковой структуры), так и общеисторический.

Однако освещение его наталкивается на трудности, которые вряд ли могут быть преодолены.

Если теоретически допустить мысль о некоем исходном племени, в результате процессов дробления которого постепенно образовалась целая обширная группа родственных племен, то практически едва ли можно ожидать, чтобы археологической науке когда-либо удалось обнаружить памятники материальной культуры, которые принадлежали этому сравнительно небольшому общественному коллективу. Постановка подобного рода задачи мало реальна.

В то же время археологическое изучение территории первоначального расселения древних индоевропейских племен, существование которых подтверждается языковыми данными, может иметь, как уже было замечено выше, конкретный исторический характер, конечно, при необходимой опоре на лингвистические факты.

Опыты реконструкции древнейшего индоевропейского языка, являвшегося первоосновой для развития группы близко родственных племенных языков, также дают результаты ограниченные и значительно менее достоверные, чем исследования присущей этим языкам общей структуры.

Эта общая структура, для которой было характерно флективное оформление категорий словообразования и словоизменения и которая не исключала целого ряда конкретных различий между отдельными языками — в отношении грам-

матики, словарного состава и фонетики, явилась реальной исторической основой последующего развития отдельных индоевропейских языков. Поэтому изучение подобного рода фактов имеет непосредственное значение для изучения конкретной языковой истории. Когда же речь идет об отборе таких материалов, которые обнаруживают безусловное тождество по всем индоевропейским языкам и, следовательно, могут рассматриваться как единое для всех них наследие общего языка-предка, то этих материалов оказывается сравнительно немного. При сведении их в единое целое теряются черты реальной языковой структуры, которые так ярко выступают, когда на основе обильных фактов производится реконструкция состояния, которое мы выше характеризовали как ряд близко родственных систем отдельных племенных языков.

В области лексики можно выделить целый ряд общих для всех или почти всех индоевропейских языков корней, которые бесспорно являются наследием исходного единства общеиндоевропейского языка. Но что касается морфологически оформленных словарных единиц, то здесь значительно труднее установить конкретные критерии для относительной хронологизации фактов, восходящих к различным периодам индоевропейской общности. Выделение древнейших элементов в основных словарных фондах отдельных языков не дает (за исключением корней) в большинстве случаев полного единства, которое позволило бы безоговорочно отнести эти слова к словарному фонду общеиндоевропейского языка-предка.

Грамматический строй в силу своей устойчивости дает больше оснований для периодизации отдельных слоев индоевропейской морфологической структуры. Можно возвести к исходному единству общеиндоевропейского языка древнейшие элементы в системе основообразования, некоторые падежные формы, некоторые формы глагольного спряжения. В частности, спряжение настоящего времени глагола *es- 'быть', идущее по атематическому типу, обнаруживает полное совпадение почти для всех индоевропейских языков. Факты такого рода есть основания относить к общему для всех индоевропейских языков непосредственному наследию от общеиндоевропейского языка.

Заметим, что если приведенный глагол действительно существовал в гипотетическом языке-предке с присущим ему абстрактным значением „бытия", то этот язык был уже далек от примитивного состояния. Характерно, что наряду с корнем *es- в индоевропейских языках употребляются в значении „бытия"

и другие корни, которые, однако, при этимологическом анализе обнаруживают связи с более конкретными значениями (так, например, корень таких образований, как русск. **быть**, санскр. ábhūt 'он был', лат. fuī 'я был', др.-в.-нем. bim 'я есмь', и т. д., в греческом языке сохранял конкретное значение „расти", ср. ἔφυ 'вырос'); др.-в.-нем. wesan 'быть', прош. вр. was 'был', собственно означало „жить", ср. гот. wisan 'быть', 'пребывать', 'жить', санскр. vasati 'живет', и т. д. Между тем, корень *es- ни в одном из языков не обнаруживает иных значений, кроме значения „бытия".

Однако в целом реконструкции подобного рода охватывают лишь отдельные явления из области грамматики и словаря. Подбор ограниченного количества материалов, производимый под углом зрения восстановления действительной исходной структуры единого общеиндоевропейского языка, существовавшего намного раньше тех близко родственных племенных языков, к которым приводит обзор основной массы фактов языкового родства, не дает значительных результатов для изучения истории индоевропейских языков. Хотя положение о существовании в далеком прошлом исходного языка-предка является логической предпосылкой для постановки вопроса о происхождении языкового родства, структуру единого исходного общеиндоевропейского языка во всех ее аспектах восстановить в сущности невозможно.

Этим отнюдь не снимается важность изучения наиболее архаических слоев индоевропейской морфологии, выявление структурных типов, предшествовавших развитию той системы флексий, которая выступает как характерная черта грамматического строя древних индоевропейских языков, непосредственно унаследованная от грамматического строя племенных языков предшествующих исторических периодов. Исследование структуры древнейших основ и корневых элементов, установление закономерностей чередования гласных и древней акцентуации — все это значительно углубляет историю отдельных участков индоевропейской морфологии. Изучение подобного рода проблематики имеет существенную важность для освещения предистории той языковой структуры, которая в своем единстве и в своих различиях составляет непосредственную основу исторического развития индоевропейских языков.

Особенно большой интерес может представить изучение проблемы образования грамматических категорий глагола и имени, которые в структуре, восстанавливаемой путем исто-

рического сравнения морфологических систем отдельных индоевропейских языков, предстают уже сложившимися. Связанные с этим исследования древнейших элементов индоевропейской языковой структуры, проводимые путем анализа архаических типов основообразования, путем анализа морфологического строения и семантики отдельных форм и этимологии формативов, должны в конечном счете осветить более примитивное состояние языка. Но в этом примитивном состоянии были уже заложены элементы современных языков, которые затем развивались на протяжении многих эпох.

В исследовании вопросов индоевропейской сравнительной грамматики большую сложность составляет необходимость учета различных хронологических слоев в структуре и семантике как словоизменения, так и словообразования. Доисторическое развитие грамматического строя и словарных элементов, лежащих в основе развития индоевропейских языков, совершалось на протяжении очень длительных периодов.

Языки племен, обитавших на территории первичного расселения, находились между собой в различных степенях родства; при этом пути и результаты развертывания генетически общих структурных элементов, конечно, не были тождественны. Каждый язык обладал собственными специфическими особенностями в грамматике и словаре, хотя общий тип структуры, обусловленный общностью происхождения, обнаруживал несомненное единство, определившее на многие тысячелетия своеобразие индоевропейской языковой семьи.

Уже в глубокой древности различия между отдельными родственными языками были связаны с конкретными особенностями и внутренними закономерностями развития каждого из них. Различная степень устойчивости в сохранении древних элементов морфологической структуры, различные темпы и характер изменений в области фонетики, характерное для системы каждого конкретного языка преобладание тех или иных типов словообразования, различные типы образования описательных конструкций, грамматическое использование различных лексических элементов, особенности семантического развития отдельных слов и форм, неисчислимые возможности различий в сфере действия грамматической аналогии, многообразие случаев переразложения основ и т. п. — такова была, по всей вероятности, реальная картина развития основных элементов структуры индоевропейских языков еще в эпоху совместного пребывания племен, носителей индоевропейской речи на территории первичного расселения.

Индоевропейские племенные языки в своем доисторическом развитии несомненно должны были отразить сложные процессы разделения племен, а в некоторых случаях, вероятно, и слияния племен с близко сходной речью, — процессы, в значительной мере определившие то многообразие частичных схождений и расхождений, которое характеризует отношение отдельных языковых групп. Однако в силу недостатков исторического материала при современном уровне изучения проблемы родства индоевропейских языков еще нет возможности установить конкретные особенности этих процессов.

Расселение отдельных групп племен за пределы территории, на которой первоначально протекало их совместное развитие, конечно, не могло представлять собой единовременного акта „расставания членов единой семьи"; оно должно было совершаться на протяжении длительного периода времени и было связано с конкретными историческими условиями существования племен, определить которые в настоящее время также не представляется возможным.

Многие языковеды связывают образование различий между отдельными группами индоевропейских языков с влиянием иноязычных субстратов, скрещивание с которыми должно было определять специфические пути дальнейшего развития каждой из этих групп.

Постановка этого вопроса является теоретически вполне закономерной. Однако необходимо определить, в какой мере скрещивание могло действительно оказывать влияние на последующее развитие языков, сохранявших в результате скрещивания основные элементы своей структуры.

История развития грамматического строя и словарного состава всех индоевропейских языков подтверждает сформулированное И. В. Сталиным марксистское положение о том, что скрещивание не ведет к образованию нового языка, но сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам его развития.[1]

На протяжении ряда тысячелетий грамматический строй этих языков развивался путем развертывания и совершенствования основных элементов, унаследованных от эпохи доисторической общности. Вот почему до сих пор, несмотря на глубокие различия, образовавшиеся между ними на протяжении многих сотен лет, языки эти объединяются в одну

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 29—30.

лингвистическую группу. Вот почему изучение сравнительно-исторической грамматики, построенной на основе учета общих всем этим языкам элементов грамматики и словаря, а также закономерных звуковых соответствий, существовавших между ними (языками) в различные периоды их развития, составляет одну из важнейших предпосылок понимания внутренних законов исторического развития структуры каждого из них.

Развитие родственных индоевропейских языков, образование своеобразных особенностей их структуры, все более углубляющее с течением веков различия между ними, совершалось и совершается на базе общего, заложенного еще в глубокой древности лингвистического материала путем постепенного и длительного накопления элементов нового качества, новой структуры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества.

Нет сомнения, что в процессе этого развития индоевропейские языки не раз скрещивались, как между собой, так и с языками других групп. В тех случаях, когда они оказывались победителями (а это, конечно, происходило далеко не всегда, нередко носители индоевропейской речи оказывались ассимилированными иноязычным населением), они сохраняли свой грамматический строй и основной словарный фонд и, обогащая свой словарный состав за счет иноязычных элементов, продолжали оставаться в силу общности основных, исходных элементов своей структуры языками индоевропейской группы.

Что касается периода существования группы родственных индоевропейских племенных языков на территории первоначального расселения в эпоху первобытно-общинного строя, то в этот период, в основном должны были иметь место лишь случаи различного рода скрещиваний этих языков между собой. Это могло происходить при слиянии двух ослабевших племен с близко родственными, но все же различными языками (на подобные факты из истории североамериканских индейцев указывают Морган и Энгельс). Процессы взаимодействия родственных племенных языков могли иметь место также при образовании союзов племен. Близкое родство племенных языков, различия которых не исключали возможности общения в пределах создававшихся союзов племен, являвшихся общественными объединениями высшего порядка, было одним из необходимых условий для образования подобных объединений. В этих случаях скрещивание языков имело несомненно свои специфические закономерности. Од-

нако историческая общность основных элементов структуры языков близко родственных племен с самого начала определяла пути их концентрации и в дальнейшем постепенного слияния в едином языке складывающейся народности.

Возможности взаимодействия между языками, родственными и неродственными, должны были значительно увеличиваться в связи с переселением отдельных групп индоевропейских племен за пределы той территории, где первоначально слагалась индоевропейская лингвистическая общность.

Как указывает Маркс, способ производства пастушеских племен требовал обширного пространства земли. С увеличением населения площадь производства сокращалась и „избыточное население было вынуждено пускаться в те великие сказочные странствия, которые положили начало образованию народов в древней и новой Европе“.[1]

В процессе переселений могли иметь место разного рода перегруппировки племен; в непосредственном контакте могли оказываться племена, находившиеся между собой в сравнительно более отдаленных степенях родства. Взаимодействие их языков, сохранявших еще в той или иной мере генетически обусловленное сходство, создавало базу для образования новых лингвистических единств в пределах более или менее длительных и прочных племенных союзов. Многообразие возможностей подобного рода необходимо учитывать при изучении вопросов, связанных с исторической классификацией индоевропейских языков, при определении характера и происхождения тех сложных взаимосвязей, которые объединяют между собой отдельные языковые группы.

В связи с переходом целых групп племен в различные, отдаленные от первоначальных центров расселения области Европы и Азии, появлялись и реальные возможности для взаимодействия с иноязычной этнической средой.

Правда, отдельные лексические заимствования, связанные с распространением различных явлений из области материальной культуры, могли проникать из языка в язык, несмотря на отсутствие родства между ними, начиная уже с древнейшей поры, иногда преодолевая в своем продвижении огромные пространства и охватывая обширные области генетически не связанных языковых групп. Языковедной наукой зафиксированы случаи подобного распространения отдельных слов

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IX, стр. 278—279.

в доисторические эпохи (например др.-инд. paraçú, греч. πέλεκυς 'секира', еще в глубокой древности заимствованные из языков Междуречья, ср. вавил.-ассир. pilaqqu, шумер. balag 'топор'). Характерны также связи у генетически неродственных языков в обозначении металлов, например шумер. urud 'медь' и индоевропейские: ст.-слав. **руда,** лат. raudus 'слиток металла', др.-исл. rauðe 'железная руда', др.-в.-нем. aruzzi, erizzi 'руда', др.-инд. loha 'красноватый металл', 'медь', 'железо', и т. д.).

Однако процессы более тесного взаимодействия с генетически неродственными языками могли иметь место в основном лишь в связи с продвижением отдельных групп племен в области их позднейшего поселения. Образование крупных племенных союзов в эпоху военной демократии и вторжение на территории, где обитали чуждые им по языку племена и народности, создавало условия для скрещивания языков, которое происходило в порядке борьбы за господство одного из языков и оканчивалось ассимиляцией одних и победой других языков.

В эту эпоху многие индоевропейские языки исчезли бесследно, постепенно растворившись в языках уже сложившихся народностей древнего мира. Так было с языками многих племен, переселившихся в III-II тысячелетиях до н. э. в восточное Средиземноморье. Одним из достижений языкознания XX в. явилось установление индоевропейского характера хеттского (несийского) языка — открытие, принадлежащее чешскому ученому Б. Грозному. В настоящее время продолжаются плодотворные изыскания по дешифровке целого ряда древних языков восточного Средиземноморья. Обнаружилось, что хеттский являлся не единственным индоевропейским языком древней Малой Азии и что волны расселения племен с индоевропейской речью по территории восточной части Средиземноморского бассейна распространялись еще задолго до прихода греческих племен.[1]

Одним из последствий бурных процессов сложения восточносредиземноморских народностей в эпоху рабовладельческого строя явилось исчезновение, ассимиляция всех древнейших языков индоевропейской группы в Малой Азии и на островах Эгейского моря, не исключая и клинописного хеттского, ко-

[1] См.: В. Георгиев. Вопросы родства средиземноморских языков. Вопр. языкозн., 1954, № 4; А. Десницкая. Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика индоевропейских языков. Вопр. языкозн., 1952, № 4.

торые, при длительном скрещивании с языками других лингвистических групп, а также и с индоевропейской речью позднее переселившихся в область эгейской культуры греческих племен, оказались побежденными.

В других случаях отдельные группы индоевропейских языков одерживали победу в процессе взаимодействия с другими языками, сохраняли свой грамматический строй и основной словарный фонд и продолжали далее непрерывно развиваться на протяжении многих веков вплоть до настоящего времени. При этом влияние иноязычных субстратов сказывалось прежде всего в обогащении словарного состава победивших языков. Оно могло также иметь своим результатом некоторые фонетические явления, видоизменявшие облик звуковой системы этих языков, может быть также известное своеобразие синтаксических конструкций, повторявших в течение некоторого времени привычные для ассимилированного населения способы соединения слов в предложении. Что касается морфологической структуры языка, грамматического строя в его основных, определяющих элементах, основного словарного фонда, то все индоевропейские языки, сохранявшие свою самобытность в процессе скрещивания, продолжали и далее развивать их и развертывать.

Возможность скрещивания с иноязычными субстратами можно с большой степенью вероятности предполагать для индоарийских языков, ибо племена, носители индоевропейской речи, некогда заняли области Индостана, населенные племенами и народностями, говорившими на языках других лингвистических семей (дравидийские, мунда). Существует предположение относительно влияния скрещивания с неиндоевропейскими субстратами, сказавшегося в развитии некоторых кельтских языков, в частности ирландского. Довольно распространено также мнение о роли скрещивания с неизвестным субстратом в доисторическом развитии германских языков и т. п.

Однако все подобного рода предположения неизбежно носят в большей или меньшей степени гипотетический характер, ибо сами процессы скрещивания, о которых может идти речь, относятся к давно прошедшим эпохам и конкретные детали их исторически не зафиксированы. Письменные памятники доносят до нас в основном лишь состояние языка, победившего в процессе скрещивания и сохранившего свои основные элементы; ассимилированные же языки бесследно исчезли. Что касается сравнения с существующими языками, связанными с ассимилированными генетическим родством, то такое

сравнение дает лишь свидетельства косвенного порядка. Таким образом, почти во всех подобных случаях чрезвычайно трудно, даже невозможно, восстановить ту обстановку двуязычия, в которой в действительности только и мог протекать процесс взаимодействия победившего языка с исчезнувшим субстратом. Без этого же любые гипотезы относительно влияния субстрата неизбежно останутся недоказуемыми.

Но даже независимо от трудности обоснования теории субстрата, не следует, как нам кажется, преувеличивать возможность влияния тех или иных субстратов на развитие индоевропейских языков. Влияние это не касалось основных элементов их структуры. Сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков показывает, что специфическое развитие каждого из них основано на развертывании и совершенствовании общего для всей данной лингвистической семьи в значительной своей части исходного материала грамматики и словаря. В различиях же, все углублявшихся и углублявшихся, начиная еще с эпохи существования племенных языков, выявляются прежде всего конкретные исторические закономерности их развития.

В этом отношении характерен даже такой язык, как клинописный хеттский, существовавший некоторое время в окружении неиндоевропейских языков Малой Азии и исчезнувший уже задолго до начала нашей эры в связи с распадом хеттского рабовладельческого государства. Довольно большая часть элементов его словарного состава имеет повидимому неиндоевропейский характер. В фонетике влияние скрещивания могло отразиться в специфическом развитии смычных звуков и т. п. В области синтаксиса может быть есть основания (хотя это и не обязательно!) связывать некоторые особенности употребления местоимений с влиянием иноязычных оборотов.

Однако в то же время такая опорная часть грамматической структуры языка, как морфология, имеет полностью индоевропейский характер, несмотря на все своеобразные особенности в сочетании и употреблении отдельных формантов. В составе хеттских формантов словоизменения и словообразования почти невозможно выделить такие, которые бы в конечном счете не обнаружили этимологических связей с материалом других языков индоевропейской группы. Даже форма родительного падежа единственного числа на *-l* в местоименном склонении (kel 'этого', apel 'того', kuel 'кого', и т. д.), несмотря на то, что ни в одном из индоевропейских языков нельзя обнаружить соответствующие ей падежные образования, может

быть объяснена по связи с широко представленными в них прилагательными, образованными с помощью форманта *-l-*; ср. лат. talis 'такой', греч. τηλίκος 'столь великий', ст.-слав. **толикъ**, нареч. **толь** и т. д. Педерсен предполагает, что в основе создания хеттской местоименной формы родительного падежа на *-l* лежало употребление притяжательного прилагательного; ср. лат. erīlis filius 'хозяйский сын', и т. п.[1]

Хеттская морфологическая структура несомненно отличается целым рядом только ей присущих своеобразных черт. Исследователи хеттского языка, признавая бесспорно индоевропейскую принадлежность его грамматического материала, давно уже спорят о том, являются ли отклонения хеттской системы флексий от типа, характерного для большинства древних индоевропейских языков, признаком глубокого архаизма, или же, наоборот, являются результатом специфических для хеттского языка новообразований.

В целом ряде своих черт хеттский обнаруживает несомненно более древнее состояние грамматической структуры, чем то, которое восстанавливается на основе сравнения большинства индоевропейских языков. К этим чертам следует отнести невыработанность грамматического деления имен по трем родам (отсутствие категории женского рода), слабую дифференцированность падежей во множественном числе, некоторые глагольные формы (спряжение на *-ḫi*). В области фонетики архаичной чертой является наличие ларингальных согласных.

Возможно в этом сказалось более раннее выделение хеттского (несийского) и других древних индоевропейских языков восточного Средиземноморья из круга родственных языков, существовавших на территории первоначального расселения индоевропейских племен.

Но чертами „архаизма“, конечно, не исчерпывается своеобразие морфологической структуры хеттского языка. На примере хеттского ярко обнаруживается, как при исходной общности грамматического материала развертывание основных элементов структуры совершалось согласно внутренним закономерностям, характерным для развития данного конкретного языка во всей его специфике. Состав морфологических формантов, основные грамматические категории, общий тип построения предложений — все бесспорно свидетельствует о принадлежно-

---

[1] H. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938, стр. 54—55.

сти хеттского к индоевропейской семье языков. В то же время расстановка целого ряда морфологических элементов, сочетания их и особенности в употреблении, наличие своеобразных путей развития отдельных грамматических категорий (залоги, виды и др.) — все это создает неповторимые черты развития данного языка. Клинописный хеттский был языком письменным. Известно, какое большое значение имели изменения, вносившиеся в развитие языка развитием производства, появлением классов, появлением письменности, зарождением государства, нуждавшегося для управления в более или менее упорядоченной переписке. Все эти факторы играли большую роль в истории хеттского языка, на котором во II тысячелетии до н. э. велась обширная переписка одного из древних рабовладельческих государств, составлялись своды законов, исторические хроники и т. п. Это не могло не отразиться прежде всего в пополнении словарного состава языка не только за счет широко развитых в хеттском суффиксальных новообразований на базе собственного словарного фонда, но также и за счет заимствования лексических элементов из других малоазийских языков, а также из шумерского и аккадского. Для грамматического строя хеттского языка было характерно развитие сложноподчиненного предложения и различного рода описательных конструкций со вспомогательными глаголами, которые создавали разнообразие возможностей для выражения сложных оттенков мысли. Все эти особенности хеттской грамматической структуры, конкретные пути ее усовершенствования и обогащения также усиливают впечатление своеобразия, складывающееся при сравнении хеттского с другими древними языками индоевропейской семьи. Однако все изменения, характеризующие общее направление развития хеттского грамматического строя, объясняются как результат развертывания основных элементов, унаследованных от общего с другими индоевропейскими языками древнего состояния.

Пример с хеттским ярко показывает недостаточность теории субстрата для объяснения исторических закономерностей развития языка, даже тогда, когда изучаемый язык сильно отличается от общей структуры родственных ему языков и когда процессы скрещивания несомненно могли иметь место в силу конкретных исторических условий.

Мы остановились на некоторых вопросах, связанных с теоретической постановкой проблемы родства индоевропейских

языков. Изучение данной проблемы имеет большое значение для исследования процессов их исторического развития.

Перед языковедами, работающими над этой проблемой, стоит сейчас большая и сложная задача: заново пересмотреть и правильно оценить основные выводы предшествующего сравнительно-исторического языкознания и на основе марксистской теории вести далее изучение вопросов языкового родства, решение которых существенно важно для понимания законов развития каждого языка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Утверждено к печати
Институтом языкознания Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *Г. М. Ибрагимова*
Техническнй редактор *Р. С. Певзнер*
Корректоры *О. Б. Билинкис* н *Э. А. Кацман*

РИСО АН СССР № 6—88В. М-38894. Подписано к печати 14 VI 1955 г.
Бумага $60 \times 92/_{16}$. Бум. л. $10^{3}/_{8}$. Печ. л. $20^{3}/_{4}$. Уч.-изд. л. 20.53.
Тнраж 4000. Зак. № 13. Цеиа 13 р. 80 к.

Лениигpад В. О. 9 линия, дом 12. 1-я типография Изд-ва АН СССР

Исправления и опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
25	12 сверху	(др.-русск. **есть**)	(др.-русск. **естъ**)
25	17 »	**ѣмь**	**юмь**
25	10 снизу	dadárça	dadárça
28	13 сверху	*weid-/*wid-	*weid-/*woid-/*wid-
48	7—6 снизу	большей	большой
107	19 »	подежные	падежные
148	11 сверху	**ржкамь**	**ржкамъ**
208	18 снизу	*ὕδγ̥τος	*ὕδγ̯τος
259	12 сверху	свою нить развития	свой путь развития

А. В. Десницкая. Вопросы изучения индоевропейских языков.